

ГРАНИ

GRANI

166

1992

Verlagsort: Frankfurt/M., Oktober-Dezember

"ГРАНИ"

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; способствовать публикации произведений, которые не могут быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в "Граних" были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Л. Бородина, М. Булгакова,
И. Бунина, Г. Владимова, В. Войновича,
З. Гиппиус, В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского, В. Максимова,
О. Мандельштама, В. Набокова, В. Некрасова,
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, К. Паустовского,
А. Платонова, Г. Подъяпольского, Р. Редлиха,
А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, М. Цветаевой,
И. Шмелева, В. Шульгина...



МОСКВА
«ТЕППА» – «TERRA»
1992

Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947-1952 Е. Р. Романов

1952-1955 Л. Д. Ржевский

1955-1961 Е. Р. Романов

1962-1982 Н. Б. Тарасова

1982-1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984-1986 Г. Н. Владимов

Главный редактор
Е. А. Самсонова-Брейтбарт

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLVII

№ 166

1992

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Наталья БАРАНСКАЯ	
Автобус с черной полосой. <i>Повесть</i>	5
Птица. <i>Рассказ</i>	54
Владимир ЕРЕМЕНКО	
Круг жизни розовый и черный. <i>Стихи</i>	65
Ирина НОВОДВОРСКАЯ	
Кариатида. <i>Рассказы</i>	73
Юрий КОЛКЕР	
"Возлюбленную к жизни не вернешь...". <i>Стихи</i>	89

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Геннадий РУССКИЙ	
Откровение автора "Вельского"	96
Марина ТЕМКИНА	
Поэзии транзитный пассажир	130

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Гражданская война и семья Клокачевых. <i>Письма</i> (Публикация и предисловие А. Окулова)	157
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Леонид РАДЗИХОВСКИЙ	
Две оппозиции	172
Николай ПЕТРО	
Александр Руцкой: правый либерал?	183

Прот. В. ПОТАПОВ	
"...молчанием предается Бог". (Начало)	202

Священник Михаил АРДОВ	
Мелочи архи... прото... и просто	
нерейской жизни. Главы из книги	236

ПУТЬ К БУДУЩЕЙ РОССИИ

Фридрих НЕЗНАНСКИЙ	
Мы узнали врага – и это мы сами	279

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Петр ПАЛАМАРЧУК	
Возвращение	
(К началу издания книжной серии,	
открывающейся двумя книгами	
А. И. Солженицына)	297

Татьяна ЖИЛКИНА	
Письмо в 1922 год писателю Борису Зайцеву	
(Воспоминания. ОРІ. 1990)	303

Виталий ПОПОВ	
Путь к прозрению	
(Дора Штурман. Моя школа. ОРІ. 1990)	307

Владимир БАТШЕВ	
Нить Майи	
(М. Луговская. Нить. Стихотворения. М., 1992)	310

СОДЕРЖАНИЕ "ГРАНЕЙ" за 1992 г.	313
--------------------------------	-----

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Наталья БАРАНСКАЯ

Автобус с черной полосой

Повесть

*И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе...*

Пушкин

*Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках.*

Ахматова

Страшные сны бывают простыми и короткими. Например, на земляных буграх, над черными ямами, стоят гробы из неструганых досок. Или другое: лежит мертвая голова, губы и веки прошиты крупными черными стежками.

А бывают страшные сны удивительно сложные – целые повести. Пережитое переплетается в них с необычным, невозможным, фантастическим. Они могут прерываться и продолжаться вновь. И даже не одну ночь. И тогда, намучавшись страхом, особенно ждешь утра, света и солнца.

Приснилось, что я перехожу площадь и попадаю в затор, пробираюсь между машинами, и вдруг на меня пятится громадный "Икарус". Сейчас прижмет меня к другой машине, еще секунда и конец.

Но тут передо мной открывается дверка небольшого автобуса, я успеваю вскочить, дверца захлопывается, машина трогается, я падаю на сиденье — я спасена.

Только теперь замечаю, где я. Запах привядшей зелени, оторванные листья и цветки на полу, скамьи по стенам, пустая середина. Похоронный автобус. Автобус с черной полосой, которую я не заметила. Автобус на пути с похорон.

И вот он набирает скорость — все быстрее и быстрее, сначала по улицам, потом по шоссе, мимо больших, мимо маленьких домов. Вот кончились дома, пошел лес, лес справа, лес слева, лес и лес. А машина бежит и бежит, жужжит и жужжит мотор. Куда мы? Зачем?

Ночь первая

Подозрителен, озлоблен. Считает себя здоровым, всех остальных больными. Временами агрессивен.

История болезни

Лес, деревня, опять лес. Автобус сбавляет скорость, сворачивает. Мы в лесу, но, чувствуется, едем по асфальту. Редкие молодые сосны, ровные тонкие стволы. Вдоль дорожки фонари на деревянных столбах роняют круги желтого слабого света. Сквозь ветви еще видно меркнувшее вечернее небо, и на зеленоватом его краю вырисовываются силуэты крутых темных крыш.

Автобус, мягко тряхнув, съезжает с асфальта, дает сигнал и останавливается. Сипло вздохнув, открывается дверца. Я свободна, спускаюсь на землю.

Песчаная дорожка ведет к широкому крыльцу, к большой застекленной веранде. Дверь открыта, яркая лампа освещает чистые стекла в мелком

узорчатом переплете, видна вторая, внутренняя дверь, обитая коричневым.

Возле кабины стоит шофер, курит.

– Куда вы меня завезли? – Я раздражена, уже забыла о благодарности.

– Идите, идите, – отвечает он мирно, – там вас ждут.

И, подтверждая его слова, вторая, глухая дверь медленно открывается, приглашая меня в дом. Я поднимаюсь по ступенькам. Как-то жутковато, куда я иду, что там в доме?

– Не бойтесь, – говорит шофер, – там только мамаша, старая инвалидка, да ее прислуга, тоже старуха.

Чья мамаша, какая инвалидка, какое имеет все это отношение ко мне? На наружной стене веранды, рядом с открытой дверью, вижу мельком медную дощечку. На одной, освещенной, ее стороне прочитала "Проф... В. М. Кля...", другая сторона в тени. Но и это, увиденное, вызывает в моей памяти слабое движение, будто задето что-то давно забытое, неприятное, заключенное в этом влажном звуке "кля". "Кля... Кля...". Нет, не помню, не знаю.

Вхожу в прихожую – деревянная стоячая вешалка, подставка для зонтов. Дверь бесшумно за мной закрывается и так же бесшумно распахивается другая, ведущая в комнату.

– Как я благодарна вам, что вы приехали, – слышу я дрожащий голос из сумеречной глубины.

При слабом свете лампы-торшера и нескольких свечей, горящих поодаль, я не сразу могу разглядеть старую женщину в кресле с высокой спинкой. Она склоняется мне навстречу, будто пытается встать, но только протягивает руки. Повинуясь ее движению, я слегка прикасаюсь к холодным пальцам, и они тотчас цепко захватывают мои.

– Идите, идите, садитесь поближе, вот сюда. Я

так ждала кого-нибудь. Как хорошо, милая Вера Константиновна, что вас разыскали. Вы расскажете мне все-все подробно... Такое несчастье, такое горе... Я не могла поехать, ноги совсем отнялись. Такое горе...

Она заплакала, не закрывая лица, всхлипывала, искала платок под ручкой кресла. А я молчала, испуганная. Что значит это странное недоразумение? Почему "Вера Константиновна"? Меня зовут Елена Федоровна. Видно, какая-то давняя и забытая знакомая ожидалась с похорон. С похорон близкого старухе человека. Может быть, сына? Сказал же шофер "мамаша". Но что я могу рассказать бедной? У меня не хватило духу сразу признаться, что я не та, за кого меня принимают. Я сидела растерянная, немая.

Она вытерла слезы, судорожно вздохнула, заговорила опять.

— Умереть в шестьдесят семь лет... Теперь так долго живут. У него были все условия. И болел редко, и врачи следили. Конечно, нервы... Теперь у всех нервы. И вот...

Она замолчала, борясь со слезами. Я отвела глаза. Взгляд мой притянули горящие свечи. Три цветные свечи в бронзовых канделябрах горели перед большой фотографией, прислоненной прямо к стене на низком комод.

Я увидела гладкое, без морщин, лицо, обритую голову, удлиненный череп, напоминающий яйцо или огурец, серповидный небольшой нос, оседланный толстой оправой очков. В колеблющемся пламени свечей я не могла разглядеть лицо и подошла ближе. Теперь были видны за прямоугольниками толстых стекол маленькие подслеповатые и слегка косящие глаза.

— Да-да, это его фотография. — Старуха повернулась в кресле. — Правда, сделанная почти десять

лет назад, к юбилею, но другой большой у меня пока нет.

Я смотрела на лицо в полумаске очков, и опять в моей памяти отозвалось что-то глухо и смутно. С этим человеком было связано какое-то неприятное воспоминание, что-то клейкое, липкое, но что, я вспомнить не могла.

– Расскажите мне, прошу вас, всё-всё... – она подняла красные наплаканные глаза.

– Что же вам рассказать? – выговорила я медленно, мучаясь от жалости, от неловкости и не решаясь покончить с этим страшным водевилем.

– Много ли сотрудников было?

– Да, конечно, достаточно.

– А траурный митинг?

– И митинг был, и все, как полагается.

– Вы не очень щедры, – углы ее рта опустились, – а как выступали, что говорили? Впрочем, в крематории много говорить не приходится.

Ее замечание избавляло меня от подробностей, но все же она хотела что-нибудь услышать.

– А что, что говорили?

– Ну, о заслугах говорили, о большом вкладе в дело... Об успешном внедрении в практику ценных идей... О потере, которую понес коллектив...

Я представляла себе похороны, на которых была год назад, вспомнила и другие. На всех похоронах примерно говорят так.

– А о методе вспомнили? О его методе?

В голосе ее послышались тревожные нотки, что-то ее волновало. Я поспешила ее успокоить.

– И о методе говорили тоже.

– Именно как о его методе?

– Да, да, как о его...

Внезапная догадка заставила меня спросить:

– А разве это был не только его метод?

Мне захотелось узнать подробнее – в чем дело, что за метод.

– Нет-нет, это все болтовня, досужие разговоры, совершенное искажение фактов. Клевета и происки. Соавтора у Василия Митрофановича не было. Этот человек прицепился случайно. Да и вообще это больной человек – шизофреник. Впрочем, вы должны помнить эту историю... Что-то я хотела еще... Да, венков было много?

– Много, очень много.

– А на лентах, что написано на лентах?

Зачем это ей? Неужели и в таком горе человека не оставляет тщеславие?

– Право не знаю, не приглядывалась. "Дорогому, незабвенному..." Все, что пишут обычно.

Она обиженно поджала губы, недовольная мной.

– А этот... этот человек... шизофреник – он был там?

Я могла бы ответить просто "не видела". Но теперь мне захотелось узнать о "шизофренике". Я слукавила:

– Разве он вышел из больницы?

– Вероятно, уже вышел, столько времени прошло. Василий Митрофанович положил немало сил, чтобы устроить его на лечение. Но ничего, кроме неприятностей, эти хлопоты ему не принесли.

Она сказала это резко, убежденная в правоте Василия Митрофановича – ее сын, конечно, всегда прав. А у меня в памяти смутно зашевелилась история трехлетней давности. Некий зубр от науки обобрал молодого ученого, а потом упрятал в психиатрическую больницу. Может, как раз этот случай?

– Да что я, ведь вы устали – такой путь. Пожалуйста, закусите, прошу вас к столу. Я готовилась принять нескольких человек... Я надеялась...

Она качнула медным колокольчиком. В глубине комнаты скрипнула дверь, и вошла женщина в белом фартуке.

– Марфа, проводи гостью к столу. Присаживайтесь.

Она указала на стол под белой скатертью, стоявший в стороне. Марфа сняла крахмальные салфетки, прикрывавшие блюда – бутерброды с сыром, ветчиной, икрой. Зажглась хрустальная люстра, заигравшая блестящими подвесками, вспыхнули искрами бокалы, графины с вином и вазы с фруктами.

– Нет-нет, спасибо, я не хочу, уже поздно.

Началось утомительное пререкание, я отказывалась настойчиво, невежливо, хотя желудок мой урчал от голода.

– Садитесь! – прикрикнула на меня хозяйка.

– Нет-нет, не могу. Я на диете. Ничего такого не ем...

Я чуть ли не руками махала, отказываясь.

– Марфа, чаю! Крепкого, горячего и сухарей!

”Вот привязалась!” Но тут приоткрылась дверь в глубине, и мужской голос сказал тихо, но твердо:

– Ехать надо, поздно уже. Пока доберемся, мне еще машину сдавать.

Я простилась, поклонившись старой женщине. Даже не ей – ее горю. Взглянула издали на фотографию. Как будто я знала этого человека, покойника. Может, его, а, может, только его фотографию. Или кого-то похожего?

– Садитесь со мной в кабину, застынете там, продует.

Шофер открыл дверцу. Не хотелось, но я села рядом.

– Чего ради вы меня сюда завезли?

– Да просила она – ”привези, говорит, непременно человек трех из провожающих”. А они разбежались все.

”Врет, наверное”. Зло меня забирало. ”Наелся, вон весь подбородок в масле”.

Он будто подслушал мои мысли.

– А вы как – покушали?

– Нет, не покушала.

– Да ну?! А я знатно порубал.

Я молчала, но шоферу хотелось поговорить, а может, он просто боролся с дремотой.

– Дача у них богатая. Живут круглый год. И еще в Москве квартира. Один жил, с матерью. Жена от него ушла.

Я слушала вполуха, все примеривала фамилию, так и не прочитанную: "Кля...пин, Кля...лин, Кля...мин, Кля...тов, Кля...пов". Теперь это упражнение займет меня надолго.

– Видать, хорош был гусь, если никто помянуть не пожелал.

– Вот вы и помянули.

– Я что, я человек случайный.

– А я и того случайнее. Впрочем, я поминать не пожелала.

Я все еще злилась.

– Случайный? Это как посмотреть. Не открой я вам тогда дверцу, на площади, вы, может, были не здесь, а там, вместе с этим профессором, – Клялину ему фамилия. Значит, вам судьба выпала сюда попасть.

Он еще меня поддразнивает.

– А выйти раньше мне судьба не велела? Вы что, остановить не могли?

– Не мог. Скажу честно: задаток я со старухи получил и в полный расчет четвертную. – Он ухмыльнулся. – А вы, если голодные, возьмите за той вон крышечкой сверток, там у меня булка с колбасой. Хорошая колбаса, полукопченая.

Я ничего не ответила. "Клялин, Клялин, нет, не знаю".

Шофер примолк. На шоссе было темно, вспыхивали встречные фары, слепили глаза. Не до разговоров.

Завтра узнаю, кто такой Клялин. Спрошу, а может, и вспомню. Было что-то, о чем я знала. Знала, но забыла.

...А машина бежит и бежит, жужжит и жужжит мотор. Автобус несется в темноту.

Ночь вторая

*У гроба убийцы собираются
его жертвы.*

Поверье

...Лес, деревня, опять лес. А потом только лес да лес.

В автобусе запах увядших цветов, с черного постаamenta свешиваются надломленные стебли и тонкие стрелчатые листья. Печальный автобус возвращается с похорон.

Вдруг замечаю – я здесь не одна. На боковых скамьях сидят тихие люди в темных одеждах. Лица их бледными пятнами светятся в полутьме. Мужской голос сказал: "Нас здесь шестеро". Девичий голос ответил: "Нет, – семеро". Мужчина повторил спокойно: "Нас шестеро", и девушка подтвердила тихо: "Да, шестеро". Считаю по едва различимым лицам – шесть человек. Я не в счет.

А мужской голос продолжает: "Вот мы и встретились. Так расскажем все, что было. Каждый о себе. О себе и о нем".

– Куда мы едем? – спросила я.

Никто не ответил.

Вслушиваюсь в голоса моих спутников. Теперь, когда я вспоминаю и записываю слышанное в ту ночь, я называю это рассказами, но это были не рассказы, и как назвать эти неровные отрывочные речи, прерываемые долгим молчанием, то замедлявшиеся, то убыстренные, – не знаю. Невозможно

также передать странную отрешенность, бесстрастность голосов, падающих до шепота, или вдруг неожиданно наполняющихся силой. Я передаю содержание услышанного, передаю по-своему, как могу.

Мне казалось ночью, что слова их падали на привядшую зелень, на останки цветов, подобно каплям дождя – весомо, мерно. И я надеюсь, что слова эти не пропадут бесследно, как не пропадает дождевая вода, давая жизнь растениям или превращаясь в облака, чтобы те опять напоили почву.

Но вернемся в ту ночь, в автобус с черной полосой.

– ...расскажем все, что знаем, друг другу...

Начала молоденькая девушка с косой, перекинутой через плечо. На круглом лице ее без румянца странно горели распухшие потрескавшиеся губы.

– Меня звали Таня. Мне было шестнадцать.

Мы с Кляминым учились в одном классе. Он был активный комсомолец, но ябеда. Последний год в школе я дружила с мальчиком, Алешей. Мы возвращались вместе с школы. Он провожал меня, потом я его. Мы долго прощались. Когда были морозы – в парадном. Он грел мои руки, дышал, тихонько прикасался губами.

Клямин прислал мне как-то на уроке записку. Он писал, что влюблен в меня, хочет со мной целоваться. Я порвала записку, на перемене бросила в него обрывки. С того дня он стал ходить за нами. Ходит и ходит. Он нам мешал. Алеша просил его не ходить. Потом хотел его побить, но я не дала. Васька Клямин не отставал от нас. Я сказала ему: ты мне противен, ты – гадкий.

Он написал письмо моей маме. Печатными буквами, без подписи. Грязное письмо. Грязная ложь была в нем.

Мама застала нас с Алешей в подъезде, мы про-

щались. Мама начала нас бранить – грубо, обидно. Я заплакала. Алеша пытался защищаться, но мама не дала ему говорить. Дома она ругала меня скверными словами. Дала прочитать письмо. Я узнала Клямина: он лучше всех в классе подписывал чертежи, только в букве "В" не получался завиток. По этой букве я узнала его. Все письмо было полно злобой. Это была месть.

Всю ночь я проплакала, не пошла в школу. Мама ушла на работу, я была одна, мне было так плохо, так горько. Невозможно было терпеть. Я написала на обороте письма: "Это ложь, грязная ложь. Мы даже не целовались ни разу. Алешенька, прощай, мой хороший. Не сердитесь на меня никто". У мамы была бутылка с каустиком, наклейка "Осторожно – яд". Я выпила из этой бутылки. Сожгла рот, горло. Отвезли в больницу, мама сидела возле меня два дня. Говорили – не выживу, но стало лучше. На третий день пустили Алешу. Он держал меня за руку, шептал хорошие слова. Как я жалела, что это сделала. Мама просила прощенья. На четвертый день мне разрешили съесть немножко супа. А на пятый кровь хлынула горлом – я захлебнулась.

Меня звали Таня. Мне было шестнадцать.

Меня звали Федор. Мне было двадцать два.

Это сказал молодой мужчина со впалыми щеками и короткой неровной стрижкой. Рядом с ним сидели двое – такие же изможденные лица, так же полосами остриженные головы. Не понятно, сколько им лет, двадцать, сорок?

– Меня звали Яков, мне было двадцать три, – сказал второй.

– А меня Борис, двадцать два было мне (это третий).

Федор рассказывал:

– Мы с Кляминим познакомились так: он приехал в Москву – поступать в вуз, экзамены не сдал, пошел к нам на завод. Борис тоже был наш, заводской. Мы с ним сдружились в армии. Все трое были комсомольцами, в одной ячейке.

Клямин прилепился ко мне. Был он бесквартирный, жил у дальних родственников. А я был сам себе хозяин – комнатку мне дали по ордеру, зарабатывал больше, чем он. У меня разряд был, а он только учился к станку подходить. Клямин часто просиживал у меня вечера, оставался ночевать. Спали на одной койке. Много у меня не было, но что было, я с ним делил: чай, сахар, хлеб и папиросы "Звездочка" тоже.

С завода Клямин скоро ушел. Плохо было со зрением. Пенсне стал носить, чудак! Сказал – должен искать другую работу. Но в ячейке пока оставался. Он почти совсем у меня поселился. Даже приходилось иногда просить – поночуй у своих. Девчонка у меня была, Зойка. Сердилась, если долго не зову. Не мог я его часто прогонять, если он почти бездомный. И без работы все еще. Отец стал ему немного присылать, и он решил снова готовиться к экзаменам. Целые дни проводил в читальне, занимался. Говорил, летом сдаст, а потом будет меня учить.

Вечерами часто собирались у меня. Мы с Борисом, Клямин. Потом он стал приводить Якова – познакомились в библиотеке. Яша был студентом. Много говорили, спорили. Было о чем говорить – газеты публиковали интересные дискуссии, вопросы цеплялись один за другой.

Время было необыкновенное. Все кипело. Мировой капитал разлагался на глазах. В нашей стране шло строительство социализма. Закладывались грандиозные стройки на Севере, на Юге. Мы то намеревались учиться, то собирались ехать на Маг-

нитку. Хотелось делать что-то необычное, большое. Душа пела.

Тогда я писал стихи. Читал только Борису. Прочел как-то Клямину. Он похвалил. Я обрадовался – он был выше меня по образованности, знаниям. Я из простой семьи: отец – рязанский рабочий, мать – крестьянка-беднячка. А Клямин из культурной прослойки: отец – ветеринарный врач, мать – кассир в театре. Деды у него тоже были из образованных. Один работал суфлером, другой был служителем культа. Это Клямин доверил мне потом. Из-за этого деда-попа он покинул родной город. Дед сделал глупость: окрестил сына, отца Клямина, Мефодием. Был Клямин Василием Мефодиевичем. Отчество это вызывало лишние вопросы, не пропускали такое имя без внимания. Клямин беспокоился, как пройдет его анкета в институте. Думал изменить отчество в паспорте: кто-то брался стереть старое, написать другое. Я говорил: разве можно обманывать партию? Он отвечал: не беспокойся – перед партией я заслужу в десять раз.

Занимался он как зверь, на работу устраиваться раздумал. Говорил: надо бить наверняка. Как-нибудь, говорил, перебьемся. Значит, и на меня надейся.

Заговорил Яков:

– Клямин был на редкость усидчивым, а также живым, энергичным, общительным. Маленький, юркий, блестел своими стеклышками по всему читальному залу. Прямо накидывался на людей: рассказывал, забрасывал вопросами, давал прочитать интересную статью, страницу из книги, спрашивал мнение, заглядывал в конспекты, находил ошибки, давал советы. Меня он закрутил как смерч. Я не успел еще понять, хочу ли я с ним знакомиться, а мы уже стали приятелями. И к Феде он меня затащил запросто, будто к себе домой.

Федя мне понравился. Славный русский парень: голубоглазый, светло-русый, простой. Скромный и отзывчивый. Стихи у него были слабоваты, правда, но душа чистая, добрая.

В это время начался большой судебный процесс. Газеты полны были отчетами. Конечно, мы читали, обсуждали, спорили. Много было для нас непонятно, казалось странным. Хотелось разобраться. Клямин предложил: давайте представим себя адвокатами подсудимых, адвокаты всегда более объективны, чем обвинители. Это поможет нам вникнуть в суть дела, понять позицию врага. Федя отказался наотрез – он не может защищать вредителей. Борис сказал: попробую, но вряд ли выйдет. А мы с Кляминым взялись. Он свои речи решил записывать: так, мол, надо, чтобы не растерять мысли. Мне не хотелось, но он уговорил – пиши, пиши. Борис сказал, что у него получается не защита, а обвинение. Клямин объяснил это тем, что мы плохо знаем позиции врагов. Он принес несколько брошюр, к тому времени запрещенных, из оппозиционной литературы – "расшевелить мозги". Где взял – секрет.

Занятия нас увлекли. Нравилось говорить свободно, думать вслух, спрашивать и сомневаться открыто. Все это было необычно. Мыслей о незаконности наших занятий у нас не было. Мы были молоды, нам хотелось все делать самим. Думать – тоже.

Федор продолжал:

– Тут произошел случай, как будто пустяк и к делу не относится, но он меня удивил и насторожил. Я никому не сказал тогда ничего. Зря не сказал.

Клямин постоянно бывал без денег. Родители присылали мало. Он часто занимал у меня и часто забывал отдать. Я не напоминал – все-таки я зара-

батывал, он – нет. А тут подошло и у меня. Говорю: "Васька, нет ли у тебя трэшника?" Нет, говорит, откуда? Мне очень было нужно. Я познакомился с девушкой – Надюшей. Ребятам не сказал, они бы посмеялись – то Зоя, то Надя. Но это было другое, совсем не то, что с Зоей. Серьезнее. Хотелось пойти куда-нибудь с Надей – в театр, в кино. Пойти культурно. А я как раз без денег.

Спросил у Василия, но что делать – нет так нет. Лег Клямин спать на мою койку, а я сидел, читал Стендаля. Надя со мной про роман его заговорила "Красное и черное", а я не знал. Зачитался. Курить захотел, хватился – пустая пачка. Ну, возьму у Васьки: залез в карман пиджака и вдруг вытаскиваю не "Звездочку" нашу любимую, а дорогие – "Сафо". И вместе с коробкой три червонца. Три бумажки. Неразменные. Положил все обратно. Расстроился, даже курить расхотелось. Ничего ему не сказал, только утром спросил еще раз про деньги, нет ли хоть рубля? Нет. И не ждешь вскоре? Откуда, говорит, еще рано.

Гадко мне было, но я себя уговорил: деньги эти, значит, не его, а что и как, не мое дело. И я перестал об этом думать.

– Когда это было, с деньгами? – спросил Яков.

– За неделю, примерно, до страшного вечера.

В тот вечер, в четверг, вы должны были прийти. И не пришли. Я как-то часы упустил и все еще ждал, хоть назначенный час прошел. А я потому был рассеян... Мы с Надюшей накануне ходили в театр. Она меня позвала и билеты взяла сама – в оперу. Оперу я не любил, в ней нет жизненной правды, но Надя позвала, и я согласился с радостью. Взглянул в среду утром – одет я не для театра. Надо было подготовиться. Торопился. Даже рубашку не досушил, ходил в сырой. К занятиям нашим не готовился, забыл. И газет не смотрел.

А после театра ходили мы с Надей почти до утра по улицам, по мостам. Ночь не спал и весь день в четверг был как шалый. Стихи у меня сочились про любовь, радостные. Кажется, так:

На лугу зеленом
Белая березка,
Девушка-невеста,
Ласково манила
Гибкими ветвями.

А дубок у леса
Отвечал ей строго:
Не крутись под ветром
На лугу зеленом,
Все равно не подойду,
Даже прикоснуться,
Даже улыбнуться,
Даже шевельнуться
Не могу...

На душе у меня было празднично, светло. Может, и потому, что я к Наде близко не подошел, не прикоснулся. Удержался. А ведь у нас как было принято – "без черемухи". Как у меня с Зойкой: потискал и на кровать. Вот и вся любовь.

За этим новым, что пришло ко мне с Надей, я позабыл про наш четверговый сбор. Говорю: время потерял. Мы договаривались в восемь, был десятый час, а я все еще ждал. Вдруг пять звонков – спешных, нервных. Пять – ко мне. Открываю – Клямин. Какой-то странный, не садится, по комнате бегают. Ребят нет, я его спрашиваю, не отменил ли он наш сбор? А он заорал: как я мог отменить? Как? Как? Глаза скосил к переносью, он косил при сильном волнении. Я хотел выйти за куревом, пока ларек не закрыт. Он мне дорогу заступил, за руку схватил: погоди, куда ты, а ребята? Я ему: "Видишь, их

нет. Я быстро". А он вытащил свои папиросы — опять "Сафо", — успеешь, не бегай, у меня еще есть".

Говорил он бестолково, отрывисто, щеки горят — странный. Но я и тогда не встревожился, хоть и отметил про себя. Потом вспомнил все до мелочи. Каждое его движение и слово. Было у меня потом время сто раз все вспомнить, в памяти перебрать.

Достал Клямин и себе париросу, стал закуривать, а руки дрожат. Две спички сломал, третью зажег. Что, говорю, с тобой? А тут как раз звонки. Пять звонков. Я говорю: "Идут все-таки". А он как заорет: "Кто, кто, кто идет??" И вдруг кинулся открывать. Я подумал: "абсолютно ненормальный".

Слышу дверь открылась, захлопнулась. И никого. Тихо. Потом голос в передней — говорит быстро, негромко, будто сухой горох сыплется. Я выхожу. У дверей дворник в белом фартуке, тетка в платке, трое военных. Двое с винтовками, один с револьвером в кобуре — старший. Старший стоит в стороне, и Клямин ему что-то вполголоса толкует и пальцем пуговицу на шинели нажимает. Щеки горят, глаза скошены. Меня будто ножом под лопатку ударили — он знал, он их ждал.

А старший протягивает мне ордер — обыск и арест. Нас с Кляминым просят в комнату. Красноармейцы становятся у дверей. Старший сразу к этажерке и за однотомник Пушкина. А в нем все наши речи "адвокатские". Потом матрац подняли. У меня там только носки лежали. А тут, вижу, пачка бумажек, отпечатаны на машинке. Спрашивают: "Это ваше?" Отвечаю: "нет". "А чье же?" Говорю: "Не знаю, я туда ничего не клал". "А куда клали? Забыли? Ну, еще вспомните".

С этим меня и увели, а Клямин остался.

В первую тюремную ночь все стало ясно мне — будто в эту бессонную ночь я негатив проявлял. Сначала выступило одно, потом другое и наконец

видна стала вся картина. Фотография друга нашего – Василия Мефодиевича Клямина.

Боялся я очень за Яшу, за Бориса. За себя почему-то нет. Моего тут, написанного, ничего не было в однотомишке. Тогда я еще верил: во всем разберутся, Клямина накажут, меня выпустят. Молод я был, молод и доверчив.

Меня звали Федор. Мне было двадцать два.

Яков сказал:

– А меня накануне взяли. В среду. И за час до того, как они пришли, позвонил Клямин: "Ты помнишь, что мы с тобой завтра у Феде; ты готов?" Я ответил, что пишу, готовлюсь. У меня была тетрадка с заметками. И еще книжка, очень любопытная, тогда уже запрещенная "Уроки Октября". Сам же Клямин и принес ее мне, дня три перед тем. В тот же вечер был арестован Борис. С ним мы потом встретились. С Федей – нет.

Заговорил Борис:

– Да, за мной пришли в среду. Трое военных. Тот, что ордер предъявлял, вдруг руку отдернул. Ошибся. Но я успел прочитать Федину фамилию. Сердце у меня стукнуло. Весь вечер, полночи, пока они рылись у нас, я думал об одном – как предупредить Федею. Даже не глядел: где ищут, что ломают. Ничего, кроме газетных подшивок, у меня не было. Правда, газеты все расчерчены, с пометками на полях.

Мои все расстроены, мать плачет, меня спрашивает, что я сделал. На нее цыкают. Я говорю: "Мама, успокойся, это недоразумение, нет за мной никаких дел". На меня кричат, угрожают. А я опять о Феде – как ему сообщить, как предупредить, ведь у него все писания наши. Федя казался мне беззащитным, слабым. Может, потому, что был добр и

все готов отдать, может, потому, что стихи писал, мне это казалось не мужским делом. И рязанский он был, в Москве еще не обтерся – доверчивый, простой. Или я предчувствовал, что на него все навесят? Так и вышло. Он оказался "главой организации", комнатешка его – "центром".

Изныл я в ту ночь, думая о Феде. На рассвете меня уводили. И как пошли, легче стало. Шагал посреди мостовой, двое с винтовками наперевес по сторонам, старший с рукой на кобуре – позади. Преступника ведут! А в чем дело?

С первых же допросов стало ясно, что дела никакого нет. В ГПУ про нас знали всё, всё до фактика, но к этому прибавили вагон вранья, чепухи.

Яков перебил:

– Нет, не чепухи. Чепухи не было. Каждый факт нашел место в строго продуманном сценарии. Автором его был человек неглупый, Ве Эм Клямин. Он же и осуществил постановку, направляя и толкая нас, распоряжаясь нами, как пешками. И мы покорно шли за режиссером-провокатором. В сценарии было все: подпольная организация с центром, скрытым в большой коммунальной квартире, заготовка текста для листовок в защиту врагов народа, издание и распространение листовок – пачка их обнаружена у Федора. Нас спрашивали: кто, кроме нас четверых – Клямина называли тоже – принадлежит к организации? Кому мы передавали листовки? Их нам показывали издали. "А что в них? Дайте хоть взглянуть". – "А вы что – печатали, не читая? Читать надо было раньше".

В таком духе шли допросы. А еще были крики, угрозы, кулаки, револьвер у виска, бессонные ночи, обмороки и жажда, жажда... Через пять месяцев приговор: Федору три года одиночного заключения, нам с Борисом по пяти лет концлагеря. А Клямину – ссылка на Колыму.

Нам с Борей счастье улыбнулись: мы пошли одним этапом, в один лагерь. О Феде ничего не знали — когда его повезут, куда, в какую тюрьму. Беспокоились. Одиночка — это страшно. Что Клямин остался в Москве, мы догадались. Не знали только, что живет он в Фединой комнате.

За пять месяцев следствия мы не встретились ни разу. Каждый мучился в одиночестве. Но мысли наши сходились: мы обмануты, преданы, проданы. Истина никого не интересовала. Никто не думал нас спасти и защищать.

Заговорил опять Борис:

— Мы трое не встретились, но Клямина в тюрьме нам показали. Чтобы мы знали — он тоже арестован. Меня вели к фургону, к "черному ворону" во дворе Бутырской. Вдруг вижу: под конвоем идет Клямин. К башне. А в башне держали "особо важных". Мы почти столкнулись, но он меня будто не заметил. Скошенные глаза его глядели в переносицу, на щеках горели красные пятна. Никаких признаков бессонных ночей, жизни впроголодь и без воздуха. Он был таким, как и раньше.

Яков добавил:

— А меня столкнули с ним в коридоре. Тоже будто случайно, хоть все знали, что такие встречи заключенных запрещены.

Федор сказал:

— Нет, мне его не показывали. Должно быть, на меня у него сил не хватило.

Борис вздохнул:

— На Медвежьей через два года узнали мы от одного товарища о смерти Федора. А как, от чего умер — тот не знал. Мы все надеялись, может ошибка.

Заговорил Федор:

– От чего умер? От тоски. Как умирают от тоски... Стал худеть, кашлять. Ничего не хотелось – ни есть, ни спать. Я привык быть с людьми. А тут одиночка. Кругом камень – стены камень, пол – асфальт. Неба – тридцать сантиметров. Молчание. Тишина. Думал: похоронили заживо. Мать не найдет, куда ей, деревенской женщине. Отец бы нашел, но он погиб в гражданскую. Надя не узнает, что со мной, а узнает – не поймет, да и не пробиться ей ко мне.

И все думал и думал о черной душе иудиной. О тридцати сребрениках, о трех червонцах тех, и еще многих, что он, вероятно, на нас заработал.

Борис сказал:

– Мы с Яшей выдержали – отбыли свой срок. Плохие были, но живые. И тогда нам прибавили еще по десять. Просто так, без объяснений. Второй срок мы не вытянули. Голод источил. Цынга обглодала до костей.

И опять Федор:

– Так кончились наши мечты о больших делах, о великих стройках. А поехали б мы, как мечтали с Борисом раньше, до Клямина, на строительство гиганта металлургии, или на другую всемирно-историческую стройку, и все было бы иначе. И силы бы наши пошли на великое дело социализма.

Яков сказал:

– Мы погибли в самом начале жизни. Ни за что погибли. Нас убили за то, что мы хотели жевать сами, а не глотать разжеванное.

Федор вздохнул:

– О нас забыли. Кто вспоминает таких, как мы?

Теперьшние ребята и девчата и не узнают, что были такие судьбы, как наши.

Он помолчал, потом произнес медленно:

– Никто не вспомнит,
Никто не скажет
О павших без славы,
Погибших напрасно...

Мне было страшно. Жалость, тоска, боль сжимали сердце. В те далекие годы я была ребенком, но чувствовала себя виноватой – я не знала, но и не стремилась потом узнать правду.

В наступившей тишине послышалось шуршание веток по крыше машины.

– Куда мы едем? Скажите – куда?

Но меня никто не слышал.

Заговорил седой мужчина с желтым отекившим лицом.

– Меня звали Марком. Мне было сорок пять. Марк Иосифович звали меня. Клямин был у меня в аспирантуре. В тридцать третьем он кончил институт. Его оставили при кафедре. Из моих рук он получил тему, даже начатую другим аспирантом работу. Диссертацию, оставшуюся без хозяина. Автор исчез, как начали тогда исчезать люди.

Остался материал по обширной экономической теме, план, наброски. Ничего оригинального, добросовестный компилятивный труд. Я предложил Клямину продолжить, дополнить. Клямина выдвигали. Он не казался особенно умным. Но когда человека настойчиво выдвигают, должна быть причина. Такой человек перспективен. Известно, он пойдет вверх легко. Меня это соблазнило. Клямин быстро вошел в курс дела, освоил тему. Писал он плохо, неграмотно. Мне пришлось переписывать многое

заново. Клямин бывал у нас. Познакомился с женой – Кирианой Павловной. Мы с ним работали подолгу, я оставлял его ужинать, пили чай. Кира его привечала, он ее забавлял.

...Налаженная жизнь. Комфортабельная квартира. Я много работал. И не хотел, чтобы работала Кира. Она училась на курсах иностранных языков, переводила немного. Она была молода, хороша. Мне было в радость ее баловать, чем только можно.

Казалось, Клямину нравилась моя жена. Он оживлялся в ее присутствии – острил, шутил, рассказывал смешные истории. Я не ревновал. Конечно, я был старше. Но я был профессор, я был мужчина, про каких говорят "видный". А Клямин? Клямин был роста маленького, близорук, голова яйцеобразной формы и ранняя лысина, очень заметная. Не мог он понравиться Кире. Но она ему нравилась, я знал: так и вьется-вьется вокруг нее. "Он тебе не надоел?" – спрашиваю. – "Пускай себе, он забавный".

Оказалось, совсем не забавный.

Время наступало страшное. Тридцать четвертый год разорвался над нами осколочной бомбой. Убили Кирова. Начались поиски преступников. Истинный убийца искал "убийц". Хватали направо и налево, тюрьмы наполнялись. Малейшая неосторожность, лишнее слово – и ты погиб. Твой вчерашний гость объявлен врагом народа. И потянулась цепочка арестов: родные, друзья, знакомые, сослуживцы. Люди начали бояться всего: разговоров, дружеских сборищ, телефонных звонков. Шума боялись. Тишины тоже боялись.

В институте пошли слухи: заканчивается диссертация, написанная по плану и материалам врага народа. Работа вредительская. Подсунул эту работу аспиранту Клямину профессор Красинский.

Тогда я еще не понимал всей опасности. Мне

думалось, что можно найти разумный выход. Надо убедить ученый совет и общественность института, что в диссертации, унаследованной Кляминым, ничего враждебного нет. Был и другой путь: согласиться, что сделана тактическая ошибка, вследствие непродуманности, не более, все бросить и взяться за новую тему.

Мы с Кляминым обсудили оба пути и выбрали первый. Просили выслушать на расширенном заседании кафедры доклад по существу диссертации и отчет о проделанной работе. Договорились, составили вместе тезисы доклада аспиранта Клямина.

Я не знал, что мне приготовлена замаскированная ловушка, не два пути, а два тупика, из которых не выйти. Началось заседание. Клямину дали слово. Слушаю его и не узнаю наших тезисов. Все чаще звучит мое имя. И в каком неожиданном повороте: "По мнению профессора Красинского..." "Профессор Красинский настаивает...", "Профессор предложил развить ту часть, которая вряд ли будет иметь практическое значение". И наконец - "Я не мог переубедить профессора в его настойчивом желании осуществить замысел прежнего автора".

Виновным оказался я, обвинение развивал диссертант Клямин. Правда, он оставался без диссертации, но он это уже учел и просил кафедру о замене темы. Итак, он свернул на второй путь, но свернул один, без меня. По сути я был убит им уже тогда. Только еще не понимал этого. "В чем смысл такой замены?" - удивлялся я, слушая Клямина. Вместо обширной темы с богатой историей вопроса и большой литературой, он собирался взять куцую темочку, практически давно решенную в промышленности.

Только потом я понял: он не менял почти готовую диссертацию на ничтожную работку, нет, нет, - он менял неустроенное существование аспиранта-

холостяка на роскошную профессорскую квартиру и надежду завладеть молодой профессора женой.

Через декаду я был арестован. В деле моем лежало несколько листов бумаги голубоватого цвета, исписанных мелким крючковатым почерком. И бумага и почерк были мне хорошо знакомы. Почти вся диссертация Клямина была написана на этой бумаге, и почерк его давно натрудил мне глаза.

Остальное я узнал через несколько лет от самой Киры. К счастью, ее нет здесь, среди нас. Она жива. Настрадалась, но осталась жива. Я хочу рассказать то, что узнал о ней – о ее слабости и силе, о ее борьбе с Кляминым. Надо знать о Кириане, чтобы понять все.

Я попал в лагерь с уголовниками на Воркуте. С уголовниками – значило с правом переписки, с посылками. Посылку, которую я получал раз в месяц от сестер, съедали воры. До моего рта лишь иногда доходили жалкие крохи. Какое это имело значение, когда меня могли каждый день убить или подвергнуть гнусному насилию. Но письма оставались. Писали сестры, Кира молчала.

Вскоре я попал на работу в медпункт. Пожалел меня врач, тоже из заключенных, – подучил, сделал фельдшером. В медпункте пришлось встречать бывших моих мучителей. Блатные отлынивали от работы, – симулировали, использовали малейшее недомогание, ничтожную болячку выдавали за травму, надолго оседали на наших койках. Порой мы были вынуждены попустительствовать матерым бандитам. Но не только от нас получали они поправки. С воли им передавали – мы не знали, кто и как, – письма, вещи, продукты и деньги, даже большие суммы. Порой они угощали нас, работников медпункта, из своих передач. Но самое главное: мне удалось через "пациентов" отправить Кире письмо. Таким же путем я получил ответ от нее,

единственное ее письмо – тетрадка, исписанная мелким почерком. Пришел этот ответ через год. Из этой тетрадки я узнал, что было с Кирой без меня. Ее рассказ – продолжение нашей истории.

Когда меня арестовали, Клямин кинулся к Кире в притворном горе и страхе. Он оплакивал ее. Ведь ее ожидала ссылка, она должна была лишиться квартиры, вещей. Такова была участь жен "врагов народа", это было известно. Он предложил Кире план спасения – единственно надежного.

Надо немедленно подать заявление о разводе со мной и оформить свой брак с Кляминым. Разумеется, это будет фиктивный брак, он понимает ее состояние. Квартиру надо перевести на него, и тут же уехать в провинцию, к его родителям, взяв с собой наиболее ценные вещи – переждать трудное время.

Клямин был энергичен, напорист, а вокруг было достаточно примеров: жены арестованных, всего лишенные, изгонялись на Север. Он был влюблен, Кира это знала, и, действительно, за нее тревожился. Она ему поверила. Плакала, но согласилась. Она призналась, что принять предложение Клямина ей было страшно, но еще больше боялась она ссылки – холода, одиночества, бедности. Не была она готова к таким испытаниям, моя любимая, избалованная жена. Я ее не виню.

Все было сделано, как предлагал Клямин. Только слово свое о фиктивном браке он держать не хотел, настаивал на близости. Кира не соглашалась. Клямин со своими домогательствами сделался ей противен, она его оттолкнула. Потом удивлялась, почему он сразу же не "посадил" ее и не завладел всем имуществом. Может, дело потому не повернулось трагически, что Кира через три дня после загса уехала к его родителям в Моршанск, распрощавшись с Москвой и нашим домом, как она считала, навсегда.

Клямин проводил ее до места: вещей было много, да и следовало представить родителям жену. Он, действительно, питал к ней какие-то чувства, заботливость и внимание сменялись злостью и раздражением. Кира не терпела его нежностей. Устроив Киру у родителей и сдав матери на сохранение ее драгоценности и меха — я так любил делать ей подарки! — Клямин вернулся в Москву.

Приехал он к молодой жене только летом, в отпуск. Он уверил Киру, что женитьба на ней тяжело отразилась на его карьере, что его отчислили из аспирантуры, что он до сих пор под угрозой ареста, его обвиняют в пособничестве врагам народа. Клямину удалось ее разжалобить, она перестала сопротивляться. Но видно, он уже не так стремился обладать ею, как раньше, и через месяц уехал. Обещал вскоре вернуться, однако пропал на год. Кира жалела об их сближении, его поведение оскорбляло ее.

Год жизни у родителей Клямина изменил Киру, сделал ее совсем другим человеком.

Она была одинока и несчастна. Клямины были совершенно чужими людьми. Скупые, жадные, а мать властная и грубая. При Кире, не стесняясь, жалели они сына, связавшегося с "враждебными элементами", женившегося на "жидовской жене". Они попрекали Киру хлебом, называли "иждивенкой" и "барыней". Клямин категорически запретил ей устраиваться на работу — пришлось бы заполнять анкету, а из нее выяснилось бы прошлое Киры и открылся бы ее брак с Кляминым. Они все этого боялись. Кира не хотела быть в тягость, пыталась продать что-либо из своих вещей, но свекровь протестовала. Она требовала тайности, осторожности, ссылаясь на опасность, им угрожающую. Продавать Кирины ценности могла только сама Клямина — секретно, через верных людей. О вырученных

деньгах Кира ничего не слышала, никогда их не видела, они засчитывались за ее питание. Но быть сытой доводилось редко.

Кира терпела униженья, мучилась тем, что оставила меня, связалась с мерзавцем. Плохо спала, плакала, худела. И, наконец, решилась бежать. Именно бежать. Клямин просил мамашу не отпускать Киру, не давать ни вещей, ни денег. Все это она узнала из обрывков случайно услышанных разговоров. Да они и не стеснялись, и многое говорилось прямо при Кире. Родители Клямина следили за ней, она это знала.

Чтобы раздобыть хоть сколько-то денег на дорогу, Кире пришлось продать платье и зимнее пальто — эти вещи не были спрятаны. Зима еще не наступила, Кира ходила в осеннем, а шерстяное платье она надевала редко, носила юбку с кофточкой.

Старая Клямина имела привычку спать после обеда. В этот час, накануне отъезда, Кира сбегала на барахолку и на вокзал, они были рядом. Билет она спрятала под рваную подкладку сумочки — свекровь часто проверяла, нет ли в сумке письма или денег. Сутки прожила Кира в страхе, в счастливом ожидании, и ушла из дома в час послеобеденного сна старухи с одной только сумочкой в руках.

Приехала Кира в Москву рано утром. Часов до одиннадцати сидела на вокзале, потом пошла к нашему дому. Долго ходила по улице, приглядывалась, не решаясь подойти. Ключи от квартиры у нее были, к счастью, Клямин не догадался их отобрать. Но как страшно ей было, как боялась она встретить Клямина! Наконец, решилась войти, проскользнула в подъезд, поднялась на пятый этаж, позвонила к соседке, пожилой женщине, ранее к ней доброй, та встретила ее холодно, осуждала из-за меня. "Вы

приехали за письмом?" – сухо спросила соседка. Кира не поняла, о каком письме речь. Оказалось, дней десять назад соседка встретила на лестнице "господина с бандитским лицом". Он искал Киру, чтобы передать ей письмо от мужа из лагеря (Я написал на конверте "Умоляю передать моей жене Кире Павловне в собственные руки"). Услышав про письмо, Кира лишилась чувств. Соседка подняла ее, напоила крепким чаем, сказала, что убедила "господина" не отдавать письмо Клямину ("Уж лучше сразу отнести его на Лубянку"). Хорошо, что она не сожгла письмо, хотя каждый день собиралась это сделать, но каждый раз откладывала еще на день. "Я чувствовала, я знала, что мне надо ехать", – твердила Кира, плача над моим письмом. Соседка торопила: Клямин иногда приходил домой среди дня, а через два часа придет ее сын, который ничего не должен знать. Что Кира собирается делать? Взять кое-что из одежды и тотчас ехать к сестре в Одессу. Кира уже успела сказать соседке, что бежит от Клямина, от его родителей, "от всего этого ужаса". На самом деле она уезжала не в Одессу, а в Ленинград, к двоюродной сестре, о которой Клямин не знал. Соседка рассказала Кире, что Клямин защитил диссертацию, работает в том же институте, недавно продал наш рояль.

Кира пошла в квартиру, а соседка следила из окна за улицей – предупредить, если появится Клямин. В ящике моего письменного стола Кира увидела свои бриллианты – кольцо, серьги и брошь, – подарок мой к свадьбе. Как они оказались тут, ведь она увезла их, отдала на сохранение свекрови? В столе лежала книжка сберкассы, а в ней толстая пачка сторублевых; может, деньги, полученные за рояль? Кира не решилась трогать драгоценности, взяла одну сторублевую бумажку. Сняла с полатей маленький чемодан, бросила в него что-то из пла-

тьев, схватила свой пуховый платок, обвязалась им, надела старое пальто и тихо заперла двери. Соседка уже ждала ее на пороге, передала сверток с едой. Кира поблагодарила за все и поспешила на вокзал. Дневной поезд уходил через час. Этот час она простояла в дамской комнате: боялась – вдруг ее кто-нибудь видел, вдруг сказали Клямину, и он кинется искать по вокзалам. Теперь, когда из моего письма она узнала о нем все, он был ей еще более страшен. Только потом, в поезде, она успокоилась, поняла: он стал бы искать ее на Киевском, не на Ленинградском, да если ее и видел кто, то вряд ли узнал в щуплой, плохо одетой женщине нарядную, богатую профессоршу.

Муж Кириной сестры был добрым и смелым человеком. Он прописал ее у себя в Детском селе и устроил на работу в интернат детей-иностранцев. Кира специальности не имела, но хорошо знала французский и немецкий.

Клямин, конечно, мог ее отыскать, и если не делал этого, значит имел свой расчет: обнаруживать ее было невыгодно.

Больше о Кире не знаю. И как ей удалось передать мне свое письмо-тетрадку, не знаю тоже.

Началась война. Лагеря стали перетряхивать, заключенных пересортировывать. Одни были предназначены к быстрейшему уничтожению, другие – к медленной смерти. Отдельных счастливых отправляли воевать. Многие просились на фронт, но не получали ответа. Меня перевели на физическую работу. На нее не хватало сил – лагерь истощил меня. Работа все тяжелела, хлебные пайки усыхали. Угасая, вспоминал я Киру. Она просила в своем письме прощения за слабость свою, за страх. Виноватой я ее не считал, не укорял, искренно желал ей счастья, или покоя. Покой и был теперь счастьем.

В сорок четвертом я слег. Смерть-избавитель-

ница пришла ко мне тихо на рассвете. Меня звали Марком. Марк, сын Иосифа, был я. Мне было пятьдесят.

Старик умолк.

Заговорил мужчина в гимнастерке, худой, с крупными чертами лица, с горящими глазами.

– Меня звали Петр. Умер я в сорок лет.

Встретил я Киру в Ленинграде в тридцать седьмом, когда был молод и беспечен. Нечаянная встреча у общих знакомых. Удивительные глаза ее – серые с темными точечками, – сияли, она была весела, двигалась легко, ловко. Не верилось, что она меня старше, а мне было двадцать пять. Она хотела меня завоевать, и я покорился охотно. Вышли вместе, я пошел провожать. Шли медленно по тихим ночным улицам. Вдруг она спросила, куда мы идем? Я даже остановился, но ответил спокойно "ко мне". И мы пошли. Я подумал – "какая легкая победа".

Утром проснулся от ее взгляда. Она сидела напротив меня, прижимая к груди простыню. Руки у нее были худые, плечи угловатые. А глаза покорные и печальные. "Я тебя люблю", – сказала она обреченно, будто удивляясь. Я не поверил, не знал, что это и вправду так, не понимал цены удивительного, с неба упавшего дара. И отвечал поцелуями и ласками, чтобы не говорить.

Свиданья продолжались. Они были редки. Я ждал ее с трепетом, но назвать это любовью не мог.

Был я тогда молод, красив, избалован, к людям невнимателен. Не спрашивал у Киры, почему она живет за городом, работает в каком-то интернате, а не переводчицей, например. Был я второй год в аспирантуре, ярмо повседневной работы не терло мне шею. Родители мои, школьные педагоги, жили на периферии, надзором не докучали, помогали

как могли. Родственница, отдавшая мне одну из двух комнат и ключи от квартиры, в мои дела не вмешивалась. Наслаждаясь свободой, я был поглощен собой и жизни не знал. Конечно, я слышал об арестах, но они происходили вдали, меня не касались. Я говорил себе то же, что говорили другие, оказавшиеся в спокойной зоне: "дыма без огня не бывает".

Если бы я подольше смотрел в Кирины глаза, может, я разглядел бы спрятанный в глубине страх. Но я замечал только радость, временами усталость и тогда обижался.

Иногда она приезжала неожиданно. Эти встречи были особенно радостными. Мы предавались любви неистово. За окном, выходящим на набережную, дышала полноводная Нева. В тишине светлой ночи были слышны ее всплески. Старинные здания на другом берегу стояли торжественно и тихо — казалось, вечность сторожит нас.

Было лето в начале. Вот тут и произошел странный случай, внезапно все изменивший, изменивший всю мою жизнь.

К нам в институт приехал доцент сходного института из Москвы. Было трудно с гостиницами, декан попросил меня принять гостя, просил о внимании. Узнав, что всего на три дня, я согласился.

В конце рабочего дня я зашел к декану — познакомиться с приезжим. Москвич мне не понравился. Нехотя подал он мне вялую руку и представился: Клямин. Оглядел меня быстрым деловым взглядом и спрятался за толстыми стеклами очков. Он был гораздо ниже меня, так что плешь его, прикрытая прядями рыжих волос, была мне хорошо видна. Я догадался, что гость мой спесив и недобр, как многие малорослые мужчины. Декан заметил мою неприязнь и, провожая, тихонько похлопал меня по спине, напоминая о приветливости.

Гость есть гость – я старался быть любезным. Накормил ужином, и бутылка нашлась. За столом поговорили. Он меня расспрашивал об институте, о моих делах, о декане. Была в его вопросах неприятная вьедливость. Говорить с ним не хотелось, я принялся готовить постели: ему на тахте, себе на раскладушке.

Мы еще не легли, как раздались три быстрых легких звонка. Так звонила только Кира. Я побежал открывать, схватил ее, поднял, вспомнил: "Вот обида – у меня постоялец". Кира спросила тихо – почему "постоялец"? Я объяснил, шутливо кляня шепотом и директора, и гостя. Она рассмеялась. Редкие люди смеются красиво, у нее смех был прелестный. "Может, зайдешь на минутку?" – "А он приятный, твой гость?" – "Вот такой", – ответил я: чуть присел, сощурился, скосил глаза и вытянул лицо. Мне нравилось ее смешить. "Не зайду, – ответила она, нахмурившись, – не кривляйся, противно. Проводи меня". И она потянула меня за рукав к дверям.

Прогулка наша затянулась, расставаться, как всегда, не хотелось. Когда я вернулся, гость уже спал.

Утром он спросил: "А кто это приходил к вам вечером?" Я удивился его нахальству. "Это ко мне", – буркнул я. "У нее удивительно музыкальный смех", – сказал он с непонятым раздражением. Я промолчал.

У меня была Кирина фотография. Я стащил у нее как-то из сумочки. Маленькая, с белым уголком – для документов. Она лежала у меня на письменном столе под стеклом. Вечером, выйдя из ванной, я застал Клямина с Кириной карточкой в руках. Он разглядывал ее, сняв очки, поднеся близко к лицу, поворачиваясь то одним, то другим глазом. Потом надел очки и стал смотреть сквозь стекла. Он был так поглощен, что не сразу заметил меня.

– Ваша знакомая? Не вчерашняя ли? – и он нагло впился в меня взглядом.

– Дайте, – я выдернул карточку у него из рук. – Не надо здесь ничего трогать.

Мне был неприятен его интерес к Кире, он тревожил меня. И все же я не удержался:

– Вы что – ее знаете?

– Нет-нет-нет, меня просто заинтересовало это лицо...

И он понес какую-то ерунду о женщинах.

Через два дня Клямин уехал, я убрал комнату и сразу о нем забыл.

А потом приехала Кира. Как я соскучился! Любил я ее все больше и сильнее, но почему-то не говорил с ней об этом, должно быть, нам не хватало времени на разговоры о любви, а может, мне думалось тогда, что, заговори я о своих чувствах, как тотчас надо будет устраивать жизнь вместе, а я не был к этому готов. Она приходила, она со мной – и я забывал обо всем. И в этот раз мы забылись так, что закат приняли за рассвет. Оба были голодны, я вышел в кухню – сварить кофе.

Когда я вернулся в комнату, Кира стояла у окна босая, полуодетая со своей фотографией в руках.

– Что это? – спросила она испуганно. – Кто это сделал?

Я наклонился к ее ладони. Лицо на фотографии было стерто, на сером мутном пятне виднелся след от пальца. Палец давил, тер, соскребал с лица глаза, нос, губы...

– Вот сволочь! – обозлился я. – Только он мог это сделать. Кроме этого проклятого Клямина здесь никого не было.

Я увидел, как из Киры уходит свет, как темнеет, гаснет ее лицо. Оно стало бледным, какого-то зеленоватого оттенка. Мне казалось, что она сейчас упадет, я обхватил ее за плечи, прижал к себе.

– Оставь, – сказала она, отстраняясь. – Мы пропали.

И она замолчала, глядя на темную Неву.

Я спрашивал у Кире, кто такой Клямин? Откуда она его знает? Почему так испугалась? Она застыла и, казалось, меня не слышит. Я отогревал поцелуями ее похолодевшие руки, потом сжал ладонями ее лицо, повернул к себе. Она закрыла глаза.

– Ты молчишь? Заперлась на замок. Ладно. Не говори ничего. Но сейчас же забудь все, что у тебя было с этим... с этой... Забудь навсегда!

Почему я не сказал ей в ту минуту, что люблю ее; что не могу без нее? Почему не увез куда-нибудь, где бы нас никто не нашел? А она уже была беременна, но еще не знала об этом...

– Прощай, – сказала вдруг Кира, – мы должны расстаться. Нам нельзя больше видеться. Клямин страшный человек. Чудовище. Он будет искать меня, он может загубить тебя, если узнает про нас. Боже мой, он уже догадался, он подозревает о наших отношениях. Обещай мне, что будешь осторожен...

Кира тревожилась обо мне.

Она отказалась от еды, торопилась уйти. Запретила мне проводить ее. Я обиделся – что за тайная власть над ней у этого карлика? Почему она не хочет мне довериться?

Кира прильнула ко мне. Лицо ее было влажным от слез. Она прощалась со мной, а я все еще не верил, что это серьезно. Я просил ее успокоиться и написать – куда мне прийти, приехать, когда и где мы увидимся. "Успокойся, – просил я, – успокойся, забудь о нем и позови меня".

Кира слушала меня и кивала головой. Что-то механическое было в этом движении. Как же я в тревоге и растерянности не узнал тогда ее адреса?

Мог ли я поверить, что мы прощаемся навсегда? Она так решила, думая, быть может, что спасает меня.

И опять я не сказал, что люблю ее, а это было самым нужным.

Я стоял и слушал, как затихает стук ее каблучков на лестнице, не выдержал, кинулся вслед. Почему я должен слушаться женщины, обезумевшей от непонятного страха?

Но, видно, она ожидала, что я побегу за ней, и спряталась – может, в одном из подъездов, или свернула во двор. Я ее не нашел. "Это пройдет, – утешал я себя, – все это нервы, настроение, пройдет через несколько дней".

Прошла неделя. Кира молчала. А вскоре я узнал, что она уехала из Ленинграда совсем. Люди, у которых мы когда-то познакомились, ничего не могли сказать – либо не знали, либо не доверяли мне. В эти годы осторожность и недоверие сковывали всех.

Кира исчезла из моей жизни на много лет. Забыть ее я не мог. Тосковал, винил себя. В тридцать девятом пошел на фронт. Вернулся, окончил и защитил диссертацию. Снова затосковал отчаянно. Пытался искать – безуспешно.

Соединила нас война. Мы нашли друг друга в последнюю военную зиму в далеком сибирском городе. Я поправлялся в госпитале после тяжелого ранения. Простреленное легкое, два ордена, медаль "За отвагу" – вот с чем я вышел из войны. Смерть меня пощадила, хоть временами конец был близок. Все страшное было позади. Выписывать нас не спешили, фронт был далеко, поток раненых иссякал, нам давали окрепнуть, набраться сил.

В день советской армии для солдат устроили праздник. В концерте участвовала местная самодеятельность. Выступал хор швейной фабрики.

Швеи, — усталые женщины и молоденькие бледные девчонки, — нарядившиеся в самодельные сарафаны и пестрые платочки, порадовали нас простым теплом, женской привлекательностью, ласковым вниманием. Их пригласили поужинать с нами. Выздоровливающие сели за стол вместе с гостями, и столовая загудела от голосов и смеха. И вдруг я услышал Киру. Ее смех. Ошибиться я не мог. Бросился искать. Кира в голубом платочке смеялась шуткам соседа-весельчака.

Я выхватил ее из-за стола, то прижимал к себе, то отстранял, чтобы взглянуть, убедиться, что это действительно она.

— Это ты? — спросила Кира тихо. — Боже мой, неужели это правда?

Она заплакала. Все кругом замерли и смотрели на нас. Вдруг женский голос крикнул:

— Петенька, бежи скорей, твой папка нашелся!

К нам подошел и робко остановился поодаль тоненький высокий мальчик — наш сын.

Мы уехали к моим старикам, в тихий городок, не разбитый войной, только замученный ею, как все русские города. Надо было прийти в себя, набраться сил. Кира рассказала о себе все — о том, что было до меня, о том, как жила без меня.

Кончилась война, прошел год. Пора было возвращаться домой, в Ленинград, устраивать нашу жизнь. Там ждала меня комната, полученная перед войной, там была моя работа.

“Я счастлива и мне страшно”, — говорила Кира.

Я убеждал:

— Что может быть страшнее войны? Теперь наступило другое время. Все мелкое, ложное сгорело в огне боев. Столько отдано жизней, чтобы отстоять нашу страну. Страну и государство. Можно ли подумать, что государство не ответит на это благодарностью? Мы чтим память погибших, но жертвы

войны не только убитые, а также миллионы живых. Одним она отрубила руки и ноги, у других отняла родных, а третьи, не вынеся ее ужасов, потеряли рассудок, еще есть множество раздавленных горем.

А мы, солдаты, оставшиеся в живых, не обрубленные войной, не потерявшие рассудок, — разве мы не измучены? Сколько раз мы прощались с жизнью под снарядами, под бомбами, под земляными завалами. Мы голодали, мерзли, тонули, болели на ходу и на ходу спали. В окружении прятались по лесам и болотам, пробивались к своим, ползли и хромали в окровавленных повязках, тащили, теряя силы, раненых.

Измолотые, измотанные войной ждут единственной награды — мира. Полного настоящего мира. Не может быть, чтобы наша страна не дала нам этой награды.

Так говорил я — не раз, не два, и Кира поверила. Прошло около полугода, и она согласилась отпустить меня в Ленинград. Можно ли будет там жить с семьей? Цела ли моя квартира? Мы ждали второго ребенка.

Отец и мать не хотели расставаться с нами: нельзя подвергать детей лишениям, здесь сад, огород — воздух, витамины. Они прожили здесь всю жизнь, работая в школе, почему бы мне не работать, как они? ”Ты здесь родился и вырос, твоим детям и жене будет хорошо у нас, и нам не будет так одиноко”. Все это так, мы колебались, решили подождать рождения ребенка. И все же, поняв дочку, подождав Кирино выздоровления, я отправился на разведку. Мне хотелось настоящей большой работы, отдачи всех сил и знаний. Теперь, когда надо было выводить из разорения страну, наш город, моя специальность инженера-экономиста по машиностроению была нужнее, чем работа в школе.

В августе сорок восьмого я привез Киру и детей в Ленинград. Жизнь закипела, зашумела, наполнилась множеством хлопот. Было нелегко, но радостно. Кира, семья, дом – все было для меня внове, все – дар судьбы. Но как главное чудо принимал я сына. Мальчик, похожий на меня, только глаза Кирины, – мой большой сын.

В кипении новой жизни совсем незаметно прошла моя встреча с Кляминым. На конференции, посвященной проблемам увеличения технических мощностей машиностроения, Клямин подошел ко мне. У меня не было к нему прежнего недоброго чувства. Кстати, он изменился – стал как-то осанистее, голова выбрита, плешь незаметна. В общем, противен он мне не был. Я помнил, что рассказывала Кира, но признаюсь, все ее страхи казались мне сильно преувеличенными, да и давно все это было, и война отделила то время от нашего.

Мы поговорили. Разговор был обыденным, обмен несколькими вежливыми фразами. Ничего не значащий разговор. Содержателен был только конец.

Я: Война кончилась, но не так просто ее забыть.

Он: Война никогда не кончается. Видимая переходит в скрытую, одно оружие заменяется другим, тайные враги...

Я: И все же наступает мир...

Он: Не взрываются бомбы? Не стреляют пушки? Но подспудная разрушительная работа не прекращается.

Я: Отдохнем от стрельбы, разрушений, вражды... Поверим в мир! И поверим миру.

Рассказывать Кире об этой встрече я не стал – пусть забудет о Клямине навсегда. Я тоже скоро забыл о нем.

Примерно через месяц я получил из ГДР бандероль. Технический журнал и проспект по тяже-

лому машиностроению. От какого-то Франца Вейсфогеля. Я такого не знал и считал это просто ошибкой. Бандероль простая, журнал копеечный, я его полистал и бросил на полку.

В следующем месяце опять пришла бандероль, с другим журналом, иллюстрированным фотографиями станков. Обложки почему-то не было. Обратного адреса тоже. Только имя – тот же Вейсфогель. И опять я, полистав, отбросил журнал, назвав немца растяпой.

Сто ночных часов красноглазый следователь по фамилии Возняков допрашивал меня, кто такой Вейсфогель. Агент иностранной разведки Вейсфогель, посылающий мне шифровки в журналах. Связой Вейсфогель, передающий мне указания шпионского центра. Фашист Вейсфогель, завербовавший меня еще в сорок втором году, когда я пробыл десять дней в окружении. Троцкист и жид Вейсфогель, пробирающийся в Советский Союз. Гитлеровский недобиток Вейсфогель, снюхавшийся с ЦРУ. Родственник мой Белоконов, выдающий себя за некоего Вейсфогеля, бывший полицей и т. д., и т. д., и т. д.

Красноглазый еженощно развивал и усложнял выдумку, запутывал сюжет, запутываясь в нем сам. Моя вялая от бессонницы голова падала на грудь и дергалась от удара. Я взбадривался, но ненадолго. Красноглазый визжал, махал перед моим лицом револьвером. Со связанными руками падал я, как мешок, со стула. Поднимали, хлопали по щекам, усаживали, показывали издали стакан с водой: "говори, дадим пить". В ушах звенело от бредовой чепухи, пересыпанной матом: подрывная работа... взрывчатка... подрывник... взрыв Смольного... укрепление связей с Западом... сбор информации... И концовка – "измена Родине".

На десятую ночь, после десяти суток без сна, я подписал, не читая, сочинение красноглазого.

Измена Родине? Ложь. Все ложь.

Возьми меня в свои теплые руки, Родина. Уложи меня спать. Не буди, не поднимай. Прими меня, Родина, в темные недра свои. Усыпи, упокой.

Не я изменил Родине, это она изменила мне. Я защищал ее, она убивала меня. Убивала руками своих врагов. Ибо убийцами невиновных могли быть только враги Родины.

В лагере особого режима - Речлаге, были многие сотни таких, как я. Людей обвиняли в измене за то, что они не застрелились, а попали в плен (это называлось "сдались в плен"); вышли из окружения не батальоном, а небольшой группой или в одиночку ("пробрались в расположение наших войск"); потеряли оружие ("бросили оружие"); не сохранили документов ("уничтожили документы").

Все человеческое, простое, понятное каждому, кто воевал, искажалось в мозгу жестокого маньяка, больного от неверия, подозрений и страха. Наскоро сработанные следователями дела "изменников" были вариантами одного бреда. Ни правосудия, ни закона не было дано нам. Чудовищная рожа с остекленелыми глазами, угрожая, запугивая, кривлялась перед каждым из нас. Скрюченные пальцы безумного подбирались к горлу - давить, душить. Маньяк требовал жертв.

Все мы, вырвавшиеся из одного ада, вверглись в другой. Наш долгожданный выстраданный мир! Тысячи солдат, кого обошла смерть на фронте, попали за колючую проволоку на своей земле. Им пришлось умирать медленно, мучительно от голода, холода, непосильного труда и жестокостей.

Многое, неведомое мне, узнал я в Речлаге о прошлых, довоенных годах. Здесь погибали, завещая товарищам рассказ о своей судьбе. Рассказы эти переживали рассказчиков, расходились по лагерям, временами вырывались на волю.

Прошло четыре года – сначала в шахте, под землей, потом наверху. Четыре долгих года без писем, без вестей.

И вдруг как ракета вспыхнула над нами, просияла новость. "Ребята, Синус загнулся!" – крикнул бригадир, вернувшись от механика из пункта обслуживания подъемников. Секунда тишины и – взрыв радости.

Когда смену привели в зону, нас не распустили по баракам, велели построиться. Появился начальник лагеря. Он объявил о смерти Сталина. "Шапки снять!" – гаркнул начальник караула. Нехотя обнажили мы головы. И вдруг шапки взлетели над темной толпой, будто выпущенные на волю птицы, это был наш салют грядущей свободе. Охрана замерла: ни выстрела, ни окрика. В это мгновение мы почувствовали себя вновь людьми.

С этого дня мы стали ждать перемен. Наступали новые времена. Только медленно они наступали. Сначала нам разрешили переписку, посылки, потом – свидания.

Дождался и я Кириного приезда. Но встреча не принесла радости. Кира была напугана моей худобой, кашлем – он мучил меня уже два месяца. Свидание было тревожным. Кира не могла удержать слез, я боялся ее огорчить еще больше. Мы скрывали друг от друга подробности своей жизни. Она не решалась сообщить мне о смерти матери. Только в день отъезда, за несколько часов до прощанья, мы заговорили обо всем. Но пора было расставаться.

Через год меня выпустили. Я был "сактирован" – списан по состоянию здоровья. Так списывают отработавший станок, выбрасывают истертую ветошь. У меня открылся туберкулез легких.

Кира делала все, чтобы спасти меня: устроила в лучшую загородную больницу, потом в санаторий, но пришлось вернуться в больницу, достала редкий заграничный препарат. Все было напрасно.

Исколотый, с легкими, поджатыми пневмотораксом, выпросился я домой. Жизни мне было отмерено всего тридцать дней. О том, что конец близок, знали мы оба. Кира смотрела на меня храбро, с отчаянной прямоотой, уверяла, что скоро мне станет лучше, но в глазах ее были страх и тоска.

Детей мы отправили к деду, — боялись за них. Мы были вдвоем, и всю тяжесть моих последних дней Кира вынесла одна.

Мучительно было умирать на воле, лучше бы там, и для Киры это было бы легче. Так думал я, но не она. Кто-то приносил для меня кислород, лекарства, какую-то еду для нас, которая уже не была нужна. Кира не отходила от меня, держала за руку — не отпускала. Но дышать было нечем — от легких остались одни клочья. Я задыхался. Трудно дышала Кира, казалось, ей тоже не хватает воздуха.

За несколько часов до конца она сказала: "Все, что я знаю о нем, я напишу, непременно напишу". Я понял — она говорит о Клямине.

— Не надо. Опасно, — прошептал я.

— Теперь не опасно. Не бойся за меня, и я теперь ничего не боюсь. Я стала смелой.

Она сказала, что непременно напишет в прокуратуру, в правительство самому Хрущеву, в газеты — всюду.

Я глазами попросил не говорить больше о Клямине. Дыхание рвалось, покидая тело. Кира стояла на коленях, склонив голову, припав лицом к моей руке. Несколько судорожных последних глотков воздуха и спокойный долгий вздох — душа отлетела.

Меня звали Петр. Мне было сорок.

Все замолкли. Казалось, каждый обратился к своей загубленной жизни. И тогда Федор прочитал медленно свои стихи до конца:

Никто не вспомнит,
Никто не скажет
О павших без славы,
Погибших напрасно.

Не врагом убитых
В бою на войне,
Замученных дома,
На родной земле.

О преданных, проданных,
Оклеветанных, оболганных,
Заплеванных и затоптанных,
Навеки запрятанных,

Глубоко закопанных
В холодной земле.
Крепко утопанных,
Гладко закатанных
Могилах в сырой земле.

И вдруг стало совсем темно. Не светились более бледные лица. Автобус закачало, затрясло, он пошел без дороги, по корням, по мху. Зашуршали ветки по крыше, — мы въехали в лес. Потом медленно повернули. Застучали под колесами доски. Автобус качнулся мягко и стал. Скрипнули, отрываясь, дверцы. Пахнуло вечерней прохладой, влажной травой, листьями.

Я вышла первая. Одинокий фонарь, круг неяркого света. Дальше кусты, колыхание веток, игра теней. Дорожка. Впереди темнеет дом. Оглянулась — за мной никого. Тишина. Только ветер порывом прошумел в листьях. Спрашиваю шофера: "а где остальные?"

— Какие "остальные"? Я одну вас привез, другие не захотели.

Заглянула в машину – никого.

Вдруг зажглась яркая лампа на террасе, открылась дверь, и на крыльцо вышла тучная старуха с палкой.

– Привез? – спросила она у шофера низким голосом.

Он промолчал, сделал шаг в сторону. Я подошла ближе.

– Что-то не узнаю, – сказала старуха, – с кем имею честь?

”Не говори. Молчи”, – прошептали слева. ”Не молчи. Скажи”, – попросил голос справа.

– Как вас зовут, – спросила женщина, раздражаясь, – что-то не припоминаю. Извините.

– Кириана, – сказала я неожиданно для себя. – Я – Кириана.

– Вы? Вы?! – Старуха стукнула палкой о крыльцо. – Как вы смели? Зачем явились? Ваши проклятые писанья – обличенья, разоблаченья... Все клевета, все – ложь. Вы вогнали его в гроб. Вы, вы! – старуха застучала с такой силой, что крыльцо загудело. – Подумать только, она поехала на похороны! Проклятая обличительница... Вестница Страшного суда! Жена изменника, вражеское отребье...

Старуха кричала, клящая вставными зубами, трясаясь от злобы, а я повторяла настойчиво:

– Да, я – Кириана, да, я – обличительница. И я поклялась говорить правду, одну правду, только правду...

Шаг за шагом я приближалась к ней.

Вдруг старая ведьма с отчаянной силой замахнулась палкой, воздух засвистел у меня в ушах. Удар был нацелен мне в голову, смертельный удар. Я отпрянула, отпрыгнула и неожиданно поднялась в воздух, и полетела – сначала тяжело, потом все легче, все выше. Старуха, ее дом, автобус – все осталось внизу. Кто-то невидимый пролетел мимо –

только ветер поднялся, только засвистел в крыльях и звоном отозвался в ушах. Что это? Кто это? Перелетные птицы? Ветер свистел и все звенело кругом.

Звонил телефон, последний звонок истаявал, когда я проснулась. Что было со мной ночью? Была ли я в автобусе с черной полосой, слушала ли рассказы погибших? Или все это приснилось мне?

Опять телефон. Беру трубку. Вера, бывшая однокурсница. Спрашивает:

– Ты знаешь, что "заслуженного стукача" вчера похоронили?

Так называли в институте профессора Клянина, осторожно, шепотом называли.

В 1949 году, – мы были на третьем курсе, – он возглавлял борьбу с "космополитизмом". Тогда это считалось движением, но некоторым казалось заблуждением. Клянин с ним боролся: одних выжил из института, других сжил со света. Страшный человек. Забыла его имя. Мудреное, выговорить нелегко, зато к нему легко подбирались созвучные прозвища, с ехидным смыслом. Все это пронеслось в памяти. Вера повысила голос:

– Ты слушаешь меня, Лена? Или ты забыла, кто получил прозвище "заслуженного стукача"?

– Помню, конечно, – Клянин, он же Проклянин или Клятов. Только имя забыла.

– Варул Мираксович!

И я вспомнила: за глаза его называли Варан Мракобесович, Варух Мордасович и еще как-то. При всяком удобном случае он уверял, что имена Варул и Миракс – самые христианские, истинно православные и записаны в святцах.

– Так ты не знала, что он "покинул нас" или, попросту говоря, окачурился? Похороны были вчера.

– Да-да, я была.

– Ты?! Ходила на похороны Варана Мордарьевича?

– Нет-нет, конечно, нет! Но я... возвращалась с похорон. Кажется, именно с его похорон.

– Лена, я что-то не пойму тебя. Ты здорова или еще не проснулась?

– Проснулась. Но еще не пришла в себя. Ты прочла о Клянине. Где?

– Как раз читаю. Вот, послушай: "Много лет профессор В. М. Клянин отдал подготовке молодых кадров... С 1937 года занимал кафедру"... и т. д. Это мы знаем... "Большой вклад в отечественную историческую науку..." И про вклад знаем... М-м-м... "Многие ученики продолжают начатое им дело"... Помилуй Бог! Ну, и еще несколько красивых слов.

– А от чего он умер?

– От долгой и продолжительной болезни. И знаешь, что я узнала: запретил кремацию, велел похоронить на кладбище, заранее определил место и, представь, заказал крест!

– Варан заказал крест?!

– Должно быть, хотел подготовиться к Страшному суду. Помнишь фреску "Воскрешение мертвых"? Отверстые могилы и шествие мертвецов с крестами на плечах?

– Не верю я в это.

– Не веришь, что Варан боится Страшного суда?

– Нет, не верю в Страшный суд, верю в суд памяти.

– А я верю в Страшный суд. Должен кто-то когда-нибудь разобраться.

"Будем надеяться", – подумала я.

1975

Пишу не предисловие и не послесловие, а пояснение к повести для тех, кого она когда-либо заинтересует. Печатать ее не предлагаю: и другие, менее острые вещи, мне не удастся напечатать, их не принимают. Но, может, дойдет когда-нибудь до печати, пусть нескоро. Так вот к сведению издателей и читателей:

Немало знала я о провокаторах по рассказам очевидцев, по мемуарам. После XX съезда были иллюзии разоблачения и наказания тех, кто создавал "дела" и губил невинных людей. Знаю, что литераторы требовали суда над Эльсбергом, но было отказано, и он мирно, спокойно предавался литературным занятиям и печатался. Все знали о нем, и он знал, что все известно.

Не было ни разоблачений, ни наказаний, и душегубы остались в обществе при своих домах и должностях. Снисходительное отношение к ним, атмосфера терпимости дали им возможность жить спокойно.

Кроме слышанного и читанного был у меня и свой жизненный опыт в студенческие времена, в 20-е годы. Однокурсник наш оказался провокатором и сгубил группу умных и одаренных юношей, желавших одного — самостоятельно разбираться в политике, объективно оценивать события. В "Ночи второй" моей повести изображена эта история в рассказе трех комсомольцев, достоверная в основе, но отступающая от действительности в частности. Провокатор изображен в повести почти с портретным сходством. Я думала сейчас назвать его, но отказалась: если он жив, то уже стар, если умер, возможно, оставил потомство. Зачем задевать детей и внуков, называя его имя? Впрочем, фамилия, которую я дала

провокатору в повести, достаточно близка к подлинной, сохранены также инициалы, хотя имя и отчество изменены. Один из персонажей этой трагической истории, – в повести он назван Федором, – был мне близок. Он один из всех перенес тюрьму и лагерь и дождался реабилитации. Во время следствия, или так называемого следствия, говорил он мне, он имел возможность неоднократно убедиться в предательстве "Клямина".

Обстоятельства ареста "Федора" изображены в повести так, как это происходило в действительности. В тот вечер, когда за "Федором" пришли, я была у него, и пока он выходил за папиросами, видела, как метался и суетился "Клямин", не заставший хозяина дома, как кинулся на звонки открывать двери и как разговаривал, тихо и доверительно, с сотрудниками ГПУ в передней. Одного этого достаточно, чтобы понять его роль в происшедшем.

После 1956 года я встретила "Клямина" на одном литературном вечере – он сидел в зале, немного впереди и сбоку, я смотрела пристально, он повернулся, я убедилась, что не ошиблась, и поняла – он меня узнал. Как только объявили перерыв, "Клямин" исчез.

Клялин – Клямин – Клянин – персонаж, имеющий не один прототип. Это тип, созданный нашим временем, порождение многих обстоятельств, и прежде всего беззакония. Наверное, из многих разновидностей предателей – этот наиболее страшный. Провокатор-организатор, или инициатор, собирающий нескольких молодых людей вокруг дела совершенно невинного или даже без всякого дела, просто общающихся между собой, представляющих дружескую компанию, преподносил их как организацию врагов

народа, контрреволюционеров. О достоверности фактов и доказанности каких-либо действий заботы не было — их не проверяли.

И хотя отошли в прошлое эти годы, как и последующие затем 30-е и послевоенные 40-е, и были признаны ужасные ошибки сталинских времен, так называемой эпохи "культа личности", признаюсь, что "Клямин" страшен мне до сих пор. И сейчас, когда я пишу эти слова, я все еще боюсь его. Его или его тени — не знаю. Но одно это ощущение говорит о многом.

1985

Птица

Рассказ

Перед Линой лежала папка с киносценарием, Лина часто задумывалась, смотрела в окно, — работа двигалась медленно. Отсюда, с тринадцатого этажа, открывались городские дали — незастроенные пустыри, вдали за ними тонкие столбики домов, а ближе — купы деревьев с прозрачными кронами, сквозь которые виднелись кресты и пирамидки кладбища.

Но главной красой этого простора было небо. Никогда раньше Лина не видела в городе столько неба. Оно поражало разнообразием картин, было далеким, высоким и в то же время казалось удивительно близким.

Близкими стали птицы, раньше Лина видела их лишь издалека. Вороны и галки пролетали совсем рядом — слышен был свист воздуха в крыльях. На подоконник, куда Лина сыпала крошки, сидели малые птахи.

А вчера появилась новая птица: темная, почти черная, с синим отливом по краю крыла, вокруг глаз серый ободок, похожая на дрозда. Вот и сейчас прилетела, села на подоконник, поворачивая голову, посмотрела на Лину одним глазом, другим, сказала:

– Не пачкай бумагу.

Лина смутилась: действительно, зачем она согласилась на эту работу? Знакомый режиссер попросил "оживить диалоги" в сценарии телевизионного фильма. Лина отказывалась – она журналистка, сценариев не писала. Видно было, что над сценарием немало потрудились – столько вставок, вклеек, отметок. Режиссер признался: надо спасти фильм, знаменитый актер отказывается от роли, если не оживят язык.

Сценарий многосерийного фильма был многословным, многонаселенным. Действующие лица, включая профессора-биолога и слесаря-сантехника, говорили обо всем на свете: о Пикассо и пульсарах, о битлах и блюмингах, об экологии и логопатии. Но зачем они все это говорили, не прояснялось для Лины. Она догадывалась о желании автора натянуть до пяти серий, однако упрекать его не приходилось: и она взяла эту работу тоже из-за денег – кооперативная квартира, долги...

Лина взглянула на птицу виновато.

– Давай полетим? – предложила птица.

– Боюсь, у меня не получится. – Лина вздохнула.

Птица засмеялась, подпрыгнула и скользнула на распахнутых крыльях, легким подрагиванием перьев направляя полет к двум большим старым липам.

А Лина, посмотрев ей вслед, стала вчитываться в чужой текст, придумывая новые фразы и тут же их бракуя, – сценарий не принимал простых слов, интонаций.

Птица вскоре вернулась. Теперь она держала в клюве пушинку, повертелась перед Линой, будто хвалясь и спрашивая:

– А ты разве не въешь гнезда?

И опять Лина почувствовала себя виноватой – в тридцать лет не была замужем, не имела детей. В юности любила одноклассника, долго не могла забыть. Потом кинулась догонять сверстниц: один роман, другой, но все обрывались ничем. Она погрузилась в работу, стала неплохой журналисткой, однако приобрести имя не смогла. Может, не хватало таланта, может, – пробивной силы. Лина не умела ладить с коллегами, не любила посещать творческие клубы, болтаться в буфете, флиртовать – одним словом, быть "в доску своей", – что безусловно помогает строить свою судьбу.

Слыла Лина нелюдимкой, аскеткой, но привлекала – нераскрытостью, незаурядностью облика, а также изысканным профилем (отцовская, кавказская, кровь), угловатым изяществом движений.

Привлекательности своей Лина как бы не замечала, погруженная в себя, занятая своим. А свое – работа и захватившая ее трудная любовь. Работа не была ровна, делилась на серьезную и пустую, желанную и случайную.

А любовь... Измучилась Лина с беспокойной, путаной любовью. И только на днях, вот здесь, в новом доме, со своим другом порвала.

Опять была ссора, они вспыхивали все чаще, особенно после смерти матери, когда Лина осталась одна. Два года друг ее не решался расстаться с женой, хоть уверял, что та ему чужая, что любит только Лину. Два года он был с ними двумя, и Лина ждала, когда он решит, выберет. Ее мучила ревность, двойственность. Раньше он говорил "все равно нам с тобой негде жить". Но вот она осталась без матери одна в комнате, в большой коммуналь-

ной квартире, но ничего не изменилось. "Тогда отпусти меня", — просила Лина. Нет-нет, он не может без нее, он пропадет, он просит подождать еще немного, совсем немного.

И Лина опять ждала, и в это время случайно подвернулся этот кооператив, почти недоступный, и натянувшись, опутавшись долгами, — приобрела эту квартиру, не признавая даже себе, что хочет подтолкнуть его к решению.

И опять он не мог решиться, и Лина поняла: он не хочет ничего менять, он может жить и так, а она так жить не могла.

Три дня назад она сказала: "Тогда уходи". "Со-всем?" "Да, совсем".

Она осталась одна в новой квартире, в которой, думалось ей, будет жить со своей семьей. Гнездо! Не было у нее гнезда.

Темнело, Лина зажгла настольную лампу, и в оконном стекле, сразу почерневшем, отразилась полупустая комната — шкаф, тахта, огонь под зеленым абажуром, а под лампой ее голова с гладкими волосами и челкой до самых бровей с печальным изломом.

Птица спала внизу в ветвях старой липы, а может, наверху, на крыше, а Лина работала, отрываясь только сварить кофе. Она пила из чашки, которую подарил он, и даже эта чашка причиняла ей боль.

Лина работала, пока не померк свет лампы. Занималось утро, светлело небо, розовели края высоких облаков. Она погасила свет и легла.

Лина не слышала, как прилетала, чтоб заглянуть в окно, птица, как синицы заводили свою простую песенку: день-день, день-день. Раннее солнце светило сквозь незавешенное окно, лучи ударяли в желтую стену, разбрызгиваясь по комнате, играли на Ленином лице, мешали спать.

Друг собирался повесить занавески, она сказала неосторожно: "Устрой все в нашем доме". - "В нашем? Опять ты торопишь меня".

И разговор повернул к ссоре. Неужели при каждом взгляде на голое окно она будет вспоминать об этом? Нет-нет. Сегодня же надо пригласить слесаря, приладить карнизы.

А сейчас, не теряя времени, завтракать и за письменный стол. Работа срочная, нельзя так ползти. Следовало прочитать, прежде чем соглашаться. Прочитав, не взялась бы. Нет, все равно бы взялась. И не в деньгах только дело, необходимо было заткнуть, завалить пробойну, случившуюся в ее жизни. Лучше бы писать свое, что идет из души, но даже такая работа сейчас утешение.

Все ж сценарий двигался, переваливая за половину, работы оставалось еще на три-четыре дня.

Но только подумала о желанном конце, как запнулась и надолго. Тут была сцена в квартире профессора-биолога, куда пришел сантехник для профилактического осмотра коммуникаций. Между ними завязался разговор - не о текущих кранах и нехватке прокладок. Речь заходит о математической лингвистике. Сцену эту Лина взяла под сомнение, когда просматривала сценарий, и в разговоре с автором и режиссером высказалась критически. Но автор не сдавался, утверждал, что здесь "звучит важная тема" и вся сцена очень "емкая по своей насыщенности". А режиссер двурушничал: поддерживал автора, а Лине подмаргивал через раннюю лысину сценариста, склонившегося над рукописью, и стриг пальцами в воздухе, что означало - "при монтаже мы это вырежем".

Лина маялась над ненужной сценой долго и бессмысленно. Он сиденья заболели плечи, спина, Лина потянулась, закинула руки за голову, вдохнула свежий воздух, принесенный с дальних пустырей, и загляделась на небо.

Большое облако, похожее на белого медведя с длинной мордой и широкими лапами, медленно шло с востока на запад. За медведем, не нагоняя и не отставая, двигался огромный серый человек с короткими ногами, маленькой головкой и вытянутой далеко вперед единственной рукой. Он открывал шествие: за ним шла плотная масса облаков, еще более темных. Вдруг великан начал распадаться, — рука дернулась, оторвалась и унеслась, упредив туловище, голова убралась в плечи, а ноги вытянулись, и в широком шаге отошли в сторону. Осталось лишь туловище с маленьким наростом-головкой. Туловище начало разбухать, темнеть, загрузло, из него вырвался темный клок и пошел дымить книзу.

На окно прилетела птица, крикнула радостно "гроза!" и взмыла навстречу туче. Лина удивилась бесстрашию птицы и стала следить за темной точкой, которая то падала, то поднималась, пока не исчезла.

А туча вдруг мигнула — раз, другой, заворчала и понеслась прямо на дом. Ветер ворвался в комнату, сдул со стола рукопись, разнес по полу. Лина поднялась, оглянулась на разлетевшиеся листки, но осталась у окна. Внизу, на улице, клубилась пыль, летали сорные бумажки, а здесь, наверху, воздух был свеж, полон запахами дальних полей, травы, расчесанной ветром, и омытой дождем земли.

Туча гремела все чаще, яростней, клубилась темносерым и рыжим дымом, и вдруг хлынул ливень. Сильные струи стучали по стеклу, подоконнику, вода залила стол, обрызнула Лине лицо, плечи. Она закрыла окно и стала собирать с полу листки.

Гроза кончилась внезапно, как началась: обрывки тучи еще плыли, падали редкие крупные капли, но солнце уже светило, сияя в омытых стеклах, освеженной листве, влажном асфальте.

Лина придавила сценарий тяжелой пепельницей, – хватит, она должна отдохнуть. Сегодня пятница? Ее звали Любовичи, приветливые, славные люди. Вот и прекрасно.

Лина собиралась недолго: джинсы, светлая блуза, темная безрукавка, цепочка с амулетом и бусы. Глядя в зеркало, подумала – у нее измученный вид и челка почти закрывает глаза, пора переменить прическу. Вот кончит этот несчастный сценарий, устроит комнату, а потом пойдет к знаменитому Жоржу и с новой прической начнет в новой квартире новую жизнь.

Лина спустилась на лифте, нажала кнопку жэковского диспетчера, просила прислать завтра слесаря и вдруг поняла: она никуда не пойдет. Ей невыносимо быть сейчас на людях. У нее нет сил.

Поднявшись, Лина зажгла свет, увидела сценарий: лежит, не унесло его ветром, не сдуло ко всем чертям.

“Мало мне одиночества, тоски, еще и сценарий!” – подумала Лина и заплакала. Но тут же сказала строго: плакать нельзя. И опять схватилась принять реланиум – который раз в эти три дня! Она знала – если расплатится, это надолго, а ей надо разделаться с гнусным сценарием, надо выспаться. Она приняла теплый душ и легла.

Проснувшись она на рассвете. Птица сидела на подоконнике и смотрела на Лину, поворачивая голову, то одним глазом, то другим.

– Еще рано, – сказала, а может, подумала Лина, – я хочу спать.

– Уже поздно, поздно! – крикнула птица и, раскинув крылья, улетела. Но Лина не заснула, она лежала и думала:

“Может, надо простить, забыть размолвку, ни на чем не настаивать. Пусть бы оставалось, как раньше. Надо понять его: трудно сокрушить челове-

ка, вместе прожито немало лет, трудно расстаться, решиться... Надо позвать его, сказать, как мне плохо.

Нет, уже поздно, поздно! И выбрал он – выбрал не меня”.

Удивительно, как набрасываются злые мысли на лежащего человека, начинают трепать и хлестать, будто волны – утопленника. Лина поднялась – работать. Прошла еще раз по диалогу сантехника с профессором, сказала ”Ну и наплевать, не я это выдумала”. А дальше пошло легче, быстрее, часа через два Лина сделала перерыв, хотела выйти в магазин – купить еды, но вспомнила, что вызвала слесаря и должна ждать.

Дома была лишь горстка овсянки да кусок черного хлеба, но еще оставалось кофе и нашлась банка сгущенного молока. Лина позавтракала и снова села за стол. Она взяла чистый лист и написала, почти не задумываясь, не подбирая слов:

– ”Я – птица. Бросаюсь с края крыши, с вершины дерева, крылья распахиваются, тугая струя воздуха подхватывает, поднимает меня. Я лечу ввысь, навстречу большому белому облаку, чуть подрагивая краем крыльев, выравнивая и направляя полет. Я – птица, я свободна, я могу лететь, куда хочу, только надо найти восходящий ток, и меня поднимет, вознесет ветер. Облако уже близко, края его золотятся от лучей солнца, я лечу, лечу к золотому краю, за которым – свет”.

Написав эти строчки, Лина вздохнула и отодвинула лист. Но почему-то ей стало легче.

В сценарии шли подряд любовные сцены. Героиня, женщина зрелая, авторитет в науке, начинала наивничать, жеманиться и сюсюкать. Конец в сценарии забрезжил, и Лина, уже не отчаиваясь и не углубляясь, убирала лишь самую паточную сладость в разговорах влюбленных.

Слесарь, плотный коротышка, явился, когда солнце шло к закату. Он ввалился в квартиру, гремя инструментами, шумно и путанно объясняя, почему выбрался так поздно, и Лина сразу сообразила, что он нетрезв.

– Может, отложим? – спросила она нерешительно.

Но коротышка, не сомневаясь в своей полноценности, уже ставил табуретку на письменный стол и разматывал шнур электродрели.

Вдвоем они передвинули стол, определили, где сверлить, разобрались в кронштейнах. Слесарь все повторял: "не беспокойся, хозяйка, все будет хоккей". Лина боялась, что он загремит сверху, разобьется сам и расколет стекло. Окно закрыли, в комнате стал густеть дух винных испарений и пота.

Лина держала табурет, пока слесарь сверлил одну дыру, потом, передвинувшись, другую. Только сейчас она поняла, как ослабела за эти дни – от печали, никчемной работы, трудных мыслей и просто от голода.

Когда слесарь окончил и они оба отошли посмотреть, оказалось, что штанга висит криво, правый кронштейн ниже левого. Коротышка, совсем сморившийся, уверял: такой пустяк никто не заметит. Спорить было бесполезно, забивая вторую пробку, он чуть не рухнул, но ухватился за стенку, удержался, оставив на обоях след грязной руки.

Наступил вечер – стемнело. Лина распахнула окно, умылась и пошла на кухню. Ничего кроме маленькой черствой горбушки от батона не нашлось. Вспомнила, что завтра воскресенье и магазины закрыты, придется искать дежурный.

Лина пила чай с жалким сухарем и сравнивала двух слесарей – настоящего и литературного.

Оба были ей гадки.

"Хорошо, что у меня есть птица", – сказала Лина вслух.

В комнате было прохладно, в распахнутое окно входила ночь, несла с собой влажный запах зелени с пустырей: там, из напившейся в грозу земли торопились расти разлапистые лопухи и стройная красавица крапива в резных листьях. А с кладбища долетал смолистый дух молодой тополевой листвы.

Лина достала из шкафа золотисто-зеленые шелковые занавески, подержала в руках, но поняла, что сейчас у нее нет сил.

Проснувшись Лина ранним утром. Солнце не взошло, только чуть розовело небо. На подоконнике шорхнуло, Лина знала – прилетела птица. Не так уж она одинока, раз есть у нее птица. Но лучше было не утешать себя: сквозь жалкую полусонную мысль прорвалась тоска, набухая слезами. Нет, – только не плакать, надо выспаться, сегодня надо кончить работу.

Лина лежала в полудреме, сквозь сомкнутые веки ощущая, как комната наполняется светом. Солнечный луч спустился по стене, тронул теплом лицо, засветил в глаза. Лина поднялась в досаде на беспокойное солнце, сейчас она повесит занавеску, хотя бы одну правую и поспит хоть часок.

Поднимаясь на стол, Лина посмотрела в раскрытое окно и ощутила бескрайность простора, торжественную праздничность небес и земли, распахнутых перед ней. Прямо на нее шло белое кудрявое облако, с испода подзолоченное солнцем. Радость охватила Лину, простая радость жизни. "Все будет хорошо, непременно хорошо" – подумала она без слов, в остром предчувствии счастья.

Лина подняла за угол блестящую занавеску, и шелк, упав, нежно окутал ее ноги, напрягшись, потянулась она другой рукой к карнизу, но только взялась за него, как железный прут сорвался, покатились, зазвенели кольца, облако качнулось вправо, влево, выбросило вперед сноп золотых

искр, птица чиркнула крылом по золоту, и Лина, раскинув руки, ринулась вслед за птицей.

Лину нашли не сразу. Воскресное утро просыпалось медленно, вяло. Лина лежала ничком на земле, притянувшей ее теплыми токами, среди поломанных стеблей и сбитых листьев. Голова ее была повернута влево. Темные волосы рассыпались, прикрыв лицо, правая рука подвернулась, как сломанное крыло, а в левой, вытянутой вперед, был зажат угол золотого полотнища, вздутого ветром и мягко опавшего, подобно знамени, сраженному в бою. Тело Лины уже казалось плоским, будто земля захватила, начала вбирать легкий прах, принадлежащий ей по праву.

Двое милиционеров топтались возле палисадника, осаживая любопытных. Утро постепенно наполнялось звуками: голосами, детским плачем, лаем собак, шарканьем шагов. Загремел марш по радио, послышалась пулеметная стрельба, крики "ура!" – по телевизору передавали военный фильм. Разрезая привычный шум, взывала сирена "скорой", все ближе, тревожнее. Машина завернула сюда, к новому дому.

А в небе, в голубой высокой тишине, летала птица. Она кружилась, ложась на одно крыло, на другое, взмывала вверх, падала вниз, ныряя: купалась в чистом прозрачном воздухе, – жила.

Круг жизни розовый и черный...

* * *

Суть зимы не доходит до слуха.
Вот покров ее. Смеешь, надень.
Снег мечтательный – русская муха,
Учит таять серебряный день.
И летит в колыханье счастливым,
Осеняя слепые дома,
Сквозь погон с генеральским отливом
На последние строки псалма.
Чтоб нагой обладатель покрыва,
Невесомым сияньем таим,
Отогрел оснежённое слово
Индевеющим духом своим.
Чтоб могло, истощенное спором,
Белоснежную ясность донести:
Это Бог, пребываю в котором.
Это Родина, как она есть.

* * *

С крупницей стронция в ребре,
С беспечной памятью о смерти
Я – миг, налет на серебре
Пустынно-щедрой Круговерти.

Я призван в шепоте истлеть,
Предстать – раздерганный по датам.

Она вольна меня стереть,
Коснувшись пламенем покатым.

Она во мне дитя и мать.
Я – семя дней ее в утробе.
Я волен всю ее объять!
Но скован нежностью подобий.

Не ты ли – пламя на пути,
Меня взыскующее скрытно?
– Оборонись и защити:
Твое скольжение беззащитно.

* * *

В луне видения лукавы.
Слова коварны и раскосы:
Встают урановые травы
И пьют урановые росы.
Теряя очертанья близких,
Печаль становится нетленной.
И пенье, покидая диски,
Теряется в пыли Вселенной...
Увы, видения лукавы,
Слова коварные раскосы:
Желтеют истинные травы,
Ржавеют истинные росы.
Всплеснув листьями золотыми,
Уйдут, качая головами.
Но встанут новые за ними.
Но встанут новые за нами!
Давясь трехмерной круговертью,
Крик не исторгнув, как хотели,
Мы – пригвожденные к бессмертью,
К врагу взываем о пределе!
Опора наша суковата,
Мечта исполнена тиранства!
Но нет врага, роднее брата,

В единой памяти пространства!
И он приходит, брат лукавый,
С рассветных звезд стирая росы,
Задать нам ради нашей славы
Свои кровавые вопросы.
Вбивает крючья в кладку тела
И вниз летит, крестец ломая,
Чтоб век потом сиделка тлела,
Дыханью о б щ е м у внимая.
Чтобы вспоив благие цели
Слезой тиранов и сатрапов,
Мы вновь молили о пределе,
До крови небо расцарапав!

* * *

Кто-то первый увидит и спросит,
Кто-то первый стихи прогундосит.
Кто-то первый возьмет и измерит.
Кто-то первый войдет и поверит.

И полями, лесами, лугами,
Всё кругами, кругами, кругами,
По руинам, руинам, руинам
Эта вера дыханьем невинным
Понесет рассеченные числа,
Утолит заблуждения смысла,
Индевеющий опыт оплатит,
Дух охватит и время охватит.

Это я говорю вам, бесправный,
Недостойный, не лучший, не главный
Арарату? Олимпу? Синаю?
Я не знаю, не знаю, не знаю...

* * *

Круг жизни, розовый и черный.
Круг смерти, черный и слепой.
И люди с горечью притворной
О них галдят наперебой.

Но те, в ком семени избыток,
И те, в ком бремя запеклось.
Равно хотят избегнуть пыток
И придержать земную ось.

Чтоб день сиял и сердце билось!
Чтоб твердь хрустела под пятой.
Чтоб это длилось, длилось, длилось
Меж розовым и слепотой.

И чтоб врывался голос сада
Рассветным сном в закатный бал.
Кренился плод и падал, падал...
И не упал.

* * *

Мое столетье: ты могила
Наследных дум у родника.
Твоя тоска укоренила
Холодный разум игрока.
Но нас свело. И эта встреча
Дала мне слово и полет.
И я умел, тебе перечая,
По звездам плыть среди пустот.
И быть греховной нотой в гимне
Безгрешных птиц твоих полян.
И ты прости мне, ты прости мне,
Что я, гордыней обуян,
Хотел внушить свой дух порожний
И пред вселенной бросить ниц

Всех тех, кто ищет бестревожней
И тешит сон твоих ресниц.
За ними – суть. За ними крохи
Деяний с барского стола
Той остывающей эпохи,
Которой истина мала,
Той крайней силы несогласья,
Которой Бог пророчил зря.
И мир взорвется в одночасье
Их правоте благодаря.
Уже грядет угрюмый Овен
Из рек безумия испить...
Но в том, пойми, я и виновен,
Что я дерзал предотвратить...

* * *

Век девятнадцатый, железный
И век урановый родной
Прошли стезею бесполезной
И вышли к бездне ледяной.

И здесь застыли а разных мраках,
Не видя истины в словах,
Партийцы, юноши во фраках,
Крестьянки, дамы в кружевах.

И исчезают без движенья
За рядом ряд, за рядом ряд.
Лишь ледяные отраженья
В глазах грядущего стоят...

* * *

Кто назвал тебя серебряным –
Окончание времен.
В этом сумраке колеблемом,
где Россия, где перрон?

Кто исчислил вас предтечами,,
Не постигнув тайный глас?
Все вы немощью помечены.
Даже лучшие из вас.

Кто пронес ваш жар неистовый
Упадая на снега,
В тонкой памяти батистовой,
Где и нитка дорога...

* * *

Мой друг, останься на земли,
Чтоб черноте не обрекли
Ее последние минуты.
И мир уставший удостой
Своей безмерной красотой.

А вот признайся, почему ты
Так ценишь будничную цель
И смотришь в зеркала недель
С улыбкой тихой и бесправной,
И правишь мыслью своенравной?

Люблю, когда ты холодна.
И замираешь у окна.
И видишь, что тебе единой
Дано увидеть... Я молчу.
И потревожить не хочу,
Затихший, как перед картиной.

Я белый крот среди коллег.
Мой слог и образ – прошлый век.
И это слабость, а не чудо.
А чудо то – что ты оттуда
Зашла, как будто на ночлег.
Твой путь – побег.
И это – чудо.

* * *

Благодаренье Богу, дочь моя,
Что власть – мираж в пустыне бытия,
Не знает слез. Что и, явив усердье,
Не сможет стать сестрою милосердья
Для малых сих, таких, как ты и я.

Благодаренье Богу, дочь моя,
Что звезды есть во мгле тысячелетней.
И чем они безмолвней, тем заметней
Сердечный холод звездного ручья,
Где нагота не обрастает сплетней.

Благодаренье Богу, дочь моя...

* * *

Мир полон горечи и страха.
Потоки душ среди огня.
Лишь ты, моя седая птаха
Сидишь и слушаешь меня.

И ловишь, странно беспокоясь,
Мои слова, мои хвалы...
А я и сам в золе по пояс.
И небо бѣло от золы.

Но я дышу, и ты читаешь.
Лишь веки вздрагивают чуть.
И осторожно прорастаешь
В свою колеблемую суть.

И целишь пристальной слюдою
Сквозь звезды в глубине ветвей.
Туда, где над твоей судьбою
Лишь пенье юности моей.

Как сладок свет на белом свете!
Ты тронешь волосы рукой...
И вдруг тебя окликнут дети!
И мир найдет тебя, такой...

* * *

И мной овладевает покаянье
При виде дел, которыми полна
Моя планета, и моя страна,
Моя природа, и мое призвание.

Когда стоят передо мной
В ячеистой броне, в подтеках грима,
И я в них отражен неотразимо –
Я ощущаю холод за спиной.

Не стыд, не страх, а холод голубой,
Прославленный архангельской трубой.

* * *

Прямые отцы подмели и ушли
Нетрезвой походкой по минному полю.
Сорвавшийся лист не летит от земли,
Хоть ведомо, с юности целил на волю...

Он с мыслью об этом метался и рдел,
Молитву свободе творил ежечасно.
Но воля беспамятства – чуждый удел.
И осенью это особенно ясно.

И честному древу печаль не нова,
Когда оглянувшись у черного брода,
Дыша не словами, нагая природа
Неслышно ступает на снег Покрова...

Кариатида

Она поднялась и пошла по дорожке, не заметив оставленного на скамье свертка. Я окликнула ее. Она остановилась сразу, замерев, вытянувшись. И только, погодя, повернула ко мне белое, напуганное лицо. Когда я протянула ей забытую вещь, она еще стояла по стойке "смирно". Краска медленно возвращалась на ее щеки. Глаза, став живыми, сузились доброй улыбкой. Она стала благодарить меня тихим голосом, но — торопясь, захлебываясь, перебивая самое себя. Ее тонкие руки касались моих рукавов вспархивающими движениями. Она благодарила так долго и — боязливо, так не могла остановить речи, как люди одинокие, обреченные на молчание.

Нам было по пути до конца аллеи и, когда я собралась свернуть, она вдруг попросила зайти к ней на чашку чая. Страх отказа был нарисован на ее лице так отчетливо, как бывает на детских лицах. Я согласилась.

Было недалеко: большой, нарядный дом тянулся вдоль сада: гранитный цоколь, неподвластная блокаде терразитовая штукатурка, широкие пилястры, разделившие привольные окна и связанные балконами. Мы миновали солидную парадную и вошли под арку ворот, где скрипел на ветру лишенный стекол, но все равно красивый фонарь.

Черная лестница тоже была когда-то хороша,

но теперь выколотые ступени, на полпролета без перил, требовали некоторой акробатики. На третьем этаже она отперла невзрачную дверь рядом с большой, бывшей испокон, и мы вступили в тесный закут, уставленный помойными ведрами и переходящий в узкий, коленчатый коридор, где потолочные карнизы исчезали в "потомочных" переборках. За которым-то поворотом она всунула ключ в совсем уже крохотную, фанерную дверку и попросила меня войти.

В первое мгновение я даже не сообразила, куда делась она и куда войти, потому что сразу за дверкой забелела стена. Но, войдя, я увидела странное помещение: дверь, оказывается, стояла углом, против нее стена тянулась метров на пять и упиралась в среднюю стойку окна с полукруглой фрамугой так, что в комнату попадала только четверть круга и половина мраморного подоконника. Стена же, идущая справа от двери, имела над окном неряшливый вырез, из которого торчал локоть и подмышка кариатиды, оставшейся в соседнем помещении и, как потом выяснилось, уничтоженной ради постановки шифоньера.

Хозяйка моя убежала на кухню, а я, стоя посреди этого пенала, разглядывала убранство: прикрытые старенькой занавеской одёжки на гвоздях, под ними – свернутая на полу постель, больничная тумбочка – несколько чашек, банка варенья, хлеб, накрытый салфеткой, полочка книг. На подоконнике – порыжевший от солнца алоэ, две маленькие рыбки и несколько водорослей в двухлитровой банке, возле – венский стул и ближе к двери – табуретка с настольной лампой. Вот и все.

"Я забыла сказать, меня зовут Рина, Марина Чердынцева. Я, знаете, так редко говорю с людьми, только на работе, там мое имя знают и так. Ой, что же я шепотом? Сейчас можно нормально говорить:

одни соседи в отпуске, другие – на работе. Когда они дома, я боюсь даже перевертывать страницы – тут все слышно. А они между собой не ладят и ругаются через меня все время, пока дома. Знаете, к этому нельзя привыкнуть, потому что меня вроде нет, я как бы внутри стены, их разделяющей. Знаете, некоторые люди засушивают в книгах цветы, а однажды мне сдали книгу – в ней была засушена бабочка. Это очень страшно: у нее такие большие крылья, а ее лишили пространства, поместили в двухмерный мир – только плоскость, нет глубины.

Я работаю в библиотеке. Уже восемь лет. Это – детская библиотека. Я очень люблю детей. Они – почти все – возвращают книги. Те, которые ходят постоянно. Не возвращают только одноразовые.

Это очень плохо – я знаю – но я иногда думаю: ведь всякое случается в жизни страшное. И вот я думаю: придет ко мне девочка или мальчик и скажет: "Возьмите меня к себе..." Господи, как я была бы счастлива! Только как же мне взять? – я бы потеснилась, я бы спала под детской кроваткой! Но соседи и так спорят между собой, у кого я отняла эту площадь. А я ни у кого не отнимала. Здесь всегда, с момента постройки жили дедушка, бабушка, мама и ее сестры. Отец почти не успел пожить, его убили в первой империалистической. Я родилась потом. Дедушка был адвокатом. Он был либерал, защищал рабочих и потому богаты мы не были. Дедушка – это я от бабушки слыхала – так радовался революции, говорил, что теперь будет все справедливо. Потом он работал в Собесе или как тогда называлось. Мама тоже работала там машинисткой.

Я уже поступила на рабфак, когда взяли дедушку. Бабушка умерла в тот же день от удара. Потом взяли маму, меня и тетю. А другая тетя

была в туберкулезной больнице. Она там была долго. А когда вернулась, тут уже все жили. Ей отгородили вот эту часть зала.

Когда в 48-м меня выпустили, я уже одна оставалась. Тетя ответила на мое письмо и взяла меня к себе сюда. Соседи очень сердились. Мы могли выходить в кухню и в... ну, в общем, только ночью. Тетя через год умерла. Стало совсем плохо. Все-таки когда мы жили в зоне, мы все были такие и нас защищал высокий забор с колючей проволокой. А здесь... Знаете, я часто думаю, что когда лэди Годива шла голая по городу, ее прикрывали не только волосы, — люди закрывали окна ставнями и никто не посмел оскорбить взглядом ее наготу.

Я, знаете, мечтала набраться храбрости, пойти и попросить взять меня туда обратно. Но ведь я и там низачем не нужна.

В 56-м, когда оказалось, все это — ошибка и всех нас — по ошибке и я, выходит, нормальный человек! — я сначала так обрадовалась! Я даже пошла погулять на Невский. Раньше ведь я только бежала из дома — в библиотеку и обратно — рядом булочная и магазин. А тут я пошла в театр!

Но это было недолго. Я поняла вдруг, что так еще страшнее — знать, что они, все мои родные, убиты и замучены — по ошибке! По чьей-то ошибке! Кто-то смел так ошибаться! Кто-то имел право! Право на ошибку! Кто-то кому-то дал это право — на ошибку!

Когда я думаю об этом, мне хочется разбить свою голову о подоконник. Но я не могу даже плакать — соседи слышат каждый вздох. И они начинают кричать на меня с двух сторон — это единственное время, когда они единоклудны, когда я для них существую.

Я остаюсь на работе как можно дольше. Но ведь ночевать там нельзя. А теперь все коллективом

ушли в отпуск и там все заперто. Хорошо, что теплое лето. Я обошла весь город. Он так прекрасен! Вы знаете, есть такие старые деревья – когда вокруг никого нет, я разговариваю с ними. Особенно есть два – они растут из одного корня. Я верю, что они – мои дедушка и бабушка.

Июнь 1987

Маня

Вот уж и пять лет прошло. Сегодня – ровно пять.

Маня сидит на табуретке у железной кровати, заправленной солдатским одеялом. На подушке – тюлевая накидушка с оборочкой. Подушка пухлая, как новая. В комнате свежо. Видно, ветер северный – колышет марлевые занавески сквозь щели.

День сегодня похожий, как тогда, назад пять лет. Тоже был северный ветер, сильнее только, выл в какой-то трубе и рамами скрипел, как отец – зубами, в трудной своей кончине.

Ой, как кричал тогда: "Манька, дура безумная! Жизнь свою на меня загубила!" – и катал головой по яме в подушке, тоненько, по-бабьи причитал: "Манюшка, доченька родная, Христа ради прости, заел я твой век, жизнь твою хрупкую. Зажрал я росточки твои – нету детушек! Почто ты меня не бросила, ирода?!" Скрипела железная кровать, подымался на руках отец в последних порывах жизни, смотря на Маню уже синими глазами, видящими другое что-то, за пределом, и выл: "Мне бы раньше сдохнуть, не губить доченьку..." Что-то страшное было в его предсмертной доброте – никогда Маня от него такого не слыхала.

Так же сидела она тогда до рассвета, бессильная помочь. Может, и у нее глаза синие были, потому что и она глядела тогда за черту жизни, слыша

уже не дыхание отца, а редкие иногда звуки, будто пузыри лопаются на болоте, там, где зыбучие места.

Вот ведь странно-то: живет иной человек, как волк, и вокруг к нему, как волки. Огрызаются только, больше дела нет. Теперь умер. Затих. Соседи в дверь постучали, вошли: "Преставился?" Маню вывели бесчувственную. Кто-то ей лицо обтер мокрым полотенцем, кто-то чашку молока поставил и хлеб с маслом. Кто-то голосил уже. Скорая приехала. Вынесли. Кто-то накинул платок Мане на плечи: "Колотун у тебя. Ляжь вон тут". Всё люди сделали. Автобус пришел, заехали за покойником. У могилы речь говорили. Военную звезду поставили, железные венки с лентами.

Когда Маня пришла из больницы, уже весна цвела. Продавали на углах черемуху. В комнате оказалось прибрано, кровать, как сейчас, постелена. Соседей – никого, буден день. Солнышко – квадратом на полу. Воздух холодный, без запаха. "Вот и светелка девичья, – вчуже подумала Маня, – да девушке в бабушки бы пора".

Вечером зашли соседи, позвали чай пить. Советовали: "Иди, Маня, на завод, заработок побольше, про пенсию пора думать. В своих-то яслях что имеешь? Сил не будет – с голоду помрешь, кто тебе поможет?"

Нет. Пошла опять в ясли.

Как это было тогда? – Все вострепнулись: Победа! Господи, вздохнуть-то можно! Мужики вернутся. И наш папанька! Мать ходила веселая, просветлела вся. Сбереженный папанькин костюм над кроватью повесила. В городе "перманент" навела, разневестилась, песни пела – со дня на день ждали. Ждали. Ждали. Уж все, кто живы, домой приехали. Линяло маманькино веселье. Опять в глазах – тоска военная. Злобиться стала, Маньку бранить. На селе – гулянье, на баяне играют, танцы в сельсовете.

Маньку мать не пускает: "Им – веселье. Нам – срам: где твой батька загулял?"

Почти год минуло. Письмо пришло. Мать прочла – заорала в голос, батькин костюм с гвоздя сорвала, топчет, как безумная. "Вот, – говорит, – читай, Манька, как папаша с тобой обошелся!" Письмо короткое: "Дорогая бывшая жена. Считаю себя свободной. Я тут женился" – и про Маньку ни слова.

Мать металась – страх смотреть. Потом зажелезнела как-то. Говорит Маньке: "Езжай в город. Всё высмотри. Доложишь мне, где живет, где ходит – я ей, змее подколодной, глаза вырву".

Маня собралась. В городе в военкомате адрес ей дали. Пришла она тогда в эту квартиру. Соседи были не приветливы. Указали комнату. Вошла. Папанька спал. Пьяный. На кровати тулуп навален, тряпье какое-то. Тулуп она на стенку повесила. Стала тряпье обирать, одеяло поправить захотела – странно что-то, будто пусто под ним. Подняла – пусто. Лежит одно туловище, под самый корешок обрезанное. А под кроватью – таратайка на колесах – вон, видно, какая жена у него.

Мать потом приезжала. Кричала на Маню, плакала, просила: "Отступись от него, от пьяницы, доченька! Не губи себя!"

Отец редко трезв бывал. Пенсия кончится – Манины гроши проматывал. Денег этих Маня не жалела – сыта при яслях, еще и отцу в судке обед приносила: остается же, не выбрасывать. С одежкой, конечно, плоховато. Сама пошивала себе юбчонки, кофточки вязала, чулки. Летом хуже – все нарядные.

Конечно, обидно бывало – никакого веселья, ни подружек, не говоря уж... Да что там! Отец, как паук, держал. Злой был страшно. Ее же и попрекал: "Взялась за мной ходить – ходи!" Она и ходила. За нее он кровь свою пролил, калекой стал.

Иногда, правда, думала: не за нее одну, за других ведь тоже, что ж они-то не помогут. Но сама себя за эти мысли корила.

Год от года тяжелее ставало. Вовсе без просыпу пил отец. В доме опустело – негодящие барахлишки и те пропил. Нищенствовать пошел. В городе стеснялся, уезжал на электричке, просил на перронах. Не на хлебушко просил – дочь кормила – на водку. И осудить его Маня не могла: что за жизнь ему, обрубку. Ведь он молодой еще, здоровый, какой возраст мужчине – пятидесяти нет. Это она уже – перестарок. Никто замуж не возьмет. Да и нельзя ей, при папаньке надо быть.

Потом годы бросила считать – один от другого не отличается: зимой – свои ясли, летом – в другом районе, свои-то на дачу выезжали, а ей – куда? Одна отрада – детишечки. Она с самыми маленькими возилась. Говорить не умеют, гулькают. Глазенки мутноватые пелят – кутеночки. Так она их любила, будто не много их, не другие с каждым годом, а как одного-единственного. Вот он есть у нее, маленький, будто годы не идут мимо глаз. Так всё и была – молодая мамка со своим младенчиком.

Всё шло, как раз заведенное: день – с несмышленишками малыми, ночь – с несчастным, озлобленным, пьяным и старым смолоду... Да хоть бы такой жил!

Не стало его. Все оборвалось. Если и было когда зло – забыла. Иной раз сидит одна, сама не замечает, что говорит: "Папанька не пей больше, оставь на завтра".

Дожила до пенсии. Работы не бросила. Телевизор подарили. Сидит вечерами, смотрит. Много теперь об инвалидах войны говорят, помощь им всякую. "Не дожил папанька. Поране бы". Маня вяжет, не глядя, кружевной подзор, бежит узорная дорожка от проворных рук – еще на один нарядный уго-

лочек, все тому же ее ребеночку, который век не вырастет. Детишек из ее яслей сразу узнать можно – всем кружева связала.

Сегодня не вяжется. Сегодня не телевизор смотрит Маня. Смотрит она на ровную подушку. Видит на ней буйну голову в смертном поту. Видит там и свою жизнь, прошедшую в долгой муке, за один миг.

1987

"Святочный рассказ"

Девочка росла у дедушки и бабушки. Росла, как трава – выпускали в большой, заросший старой сиренью дворовый сад с годовалого возраста в стайку таких же малышей, паслись они там, как щенки, как котята. Безопасно, тихо было в маленьком городе. Ласковы были бабушка с дедушкой и естественно росла вместе с девочкой ее любовь к старикам, не только к своим.

Теперь большой город, Ленинград.

Дорога в школу лежит мимо церкви. Вокруг – сад. Ограда с него снята. Он – всем. Осталась решетка вдоль прохода от улицы к церкви. У решетки по утрам стоят нищие. Среди них один старик. Высокий, как дедушка, в белейших кудрях по плечи и в бороде. А глаза синие-синие. Он стоит, облокотясь на решетку, и не протягивает руки. И молчит. А в синих глазах его – печаль и доброта.

Девочка каждое утро сует свой завтрак в его холщовую торбочку и быстро убегает, чтобы старик не догнал. Он закрывает от нее торбочку сильно дрожащей рукой, говоря: "Кушай сама, детка, – тебе расти надо!" Но она цепкими пальчиками находит щелочку и пихает в нее свой завтрак и убегает быстро, чтобы не догнал, не вернул.

Подружились. Старика зовут Василий Палыч. Девочка приносит ему старенькое дедушкино бельишко и все, что дает бабушка. Даже шапку на зиму.

Зима прошла. Прощаться надо – девочка уезжает в тот маленький городок на лето. Как будет без нее Василь Палыч? На прощанье она приносит всё, что не доели дома: муку, крупу, постное масло.

Лето на Волге хорошее. Старые друзья, купанье, лес. Только очень хочется в школу. И – как там Василь Палыч?

Вот и осень пришла. А школа оказалась другая – выстроили новую. Ходить в нее в другую сторону. А после уроков у церкви уже пусто, нет никого. И Василь Палыча нет. И финская война началась. В городе затемнение. В школу по утрам в полных потемках. Бегом. Очень холодно. Снег сечет лицо, хоть торчит лица немного из длинноухой цигейковой шапки. Бежишь, зажмурившись – скорей, скорей! Вдруг – стоп! Даже не стоп, а – ноги повисли в воздухе, кто-то схватил под локти, поднял, лицо уткнулось во что-то снежное, волосатое. Испугаться не успела: "Девочка моя! Здравствуй!" – говорит Василь Палыч, отстраняя ее от своей бороды, усов, глядя синими добрыми глазами. На Василь Палыче дедушкина дареная шапка и черный полушубок, и новые валенки. Василь Палыч веселый-веселый. Проводил до школы, сказал: "Встречу – расскажу тебе все".

Встретил после четвертого урока. И не один. С ним мужчина и женщина, помоложе и красивая, в сером пуховом платке. И все – веселые. "К нам в гости пойдем. Позвони домой, чтобы не беспокоились".

Комната у Василь Палыча маленькая и чистая, как в деревне. На столе – новая клеенка. На клеенке – угощение: торт и конфеты. "Слава Богу, встретил тебя, – говорит Василь Палыч, – думал, так и не познакомлю детей своих со спасительницей моей".

Оказалось вот что: в гражданскую войну ушел Василь Палыч воевать. Был контужен и ранен тяжело. Долго по больницам лежал. Растерялся с семьей своей. Искал – не нашел. Думал, в живых нет. А детей далеко в Сибирь забросило. Там выросли. Стали всякие справки наводить. Много лет искали и – нашли! В Ленинграде нашли одинокого, нищего старика. Вот ведь счастье всем им!

Потом девочка всех их с дедушкой и бабушкой провожали. Финская война кончилась. В городе зажглось электричество. Вокзал весь в огнях. Вкусно пахнет паровозом. На перроне дочка Василь Палыча протянула девочке свой пуховый платок: "Носи на здоровье наш сибирский подарок. Пусть тебе всю жизнь тепло будет, как ты в беде папаньку нашего согрела!"

Август 1987

Счастье

Надо было ехать в командировку, в маленький городок. В железнодорожной кассе я стала рассматривать карту: ниточка дороги, миновав Москву, шла на восток, к Волге и вдруг складывалась в длиннющую, узкую петлю. Чем ползать по этой петле взад-вперед, я решила ехать до Казани, а там – местной авиалинией. Но... "фокус не удался". От Казани мне, действительно, самолетом было 25 минут, но на весь осенне-зимне-весенний период авиалиния была закрыта. И потащилась я по железнодорожной петле длиной в 12 часов.

Городок в старой своей части состоял из деревянных, в три, редко в пять окон домиков, окруженных огородами, и растянулся вдоль небольшой, в ту густоснежную зиму превратившейся в чисто поле, речки. Набитый, как колбасная кожа –

фаршем, автобус вез меня по улице Гоголя до дома номер 202 – у нас, в Ленинграде, на улице Гоголя двадцать три дома. По концам городка располагались новые районы, прекрасно спланированные из хорошо построенных – куда тебе, Большой Ленинград! – высоких, нарядных домов. Старые корабельные сосны были сохранены и тянулись почти вплотную к фасадам, подчеркивая вертикальную структуру застройки.

В магазинах, в кафе, куда я забредала, хорошо пахло. Неторопливые, аккуратно одетые люди, старавшиеся не толкаться даже в распертом перегрузкой автобусе, их лица с готовностью к улыбке наводили на мысль: а не окончить ли свои дни в каком-нибудь небольшом городке, где нет сумасшедшей спешки, в которой каждый машет руками и давит чужие ноги, будто вокруг и нет никого.

Все, что касалось моих дел, решено было за полтора дня. Главное городское начальство проявляло нормальную заинтересованность и было доступно, а не сидело в Исполкоме, как в бункере, хоть городок оказался далеко не прост: два огромных завода, протянувшихся на километры, очень серьезный научно-исследовательский институт со своим производством. Жители с веселой гордостью говорили, что здесь никто не умирает от гриппа – только от лейкоза! Вот как.

Я села в поезд, внутренне сопротивляясь дурацкой 12-часовой петле до волжской переправы, которую с момента постройки дороги вынуждены претерпевать не только такие, как я, но и все огромные грузовые составы, идущие с Урала. Голова моя кружилась, когда я пыталась представить себе экономические потери, творимые этим "бермудским треугольником", и не понимала, почему он существует до сих пор, хотя петля эта не обходила Гималаев, ни, вроде бы, даже небольшой горушки – за окном всё тянулась равнина.

Когда я вошла в купе, там уже сидели пассажиры, ехавшие издалёка. Немолодая, очень красивая татарка сказала с легким, ласковым акцентом: "Мы вам не мешаем, мы – деревенские", – и предложила присесть. Она принадлежала к тому редкому типу красавиц, которых не портит ни время, ни тяжелый труд: чуть полноватая, но прямая, стройная. Чистый овал лица обрамлял расчесанные на прямой пробор волосы, низко у шеи переходившие в непонятно откуда взявшиеся, толстенькие, длинные косы. Мягкие ступни ног в мягких ичигах не доставали, как у детишек, до полу. Маленькие белые руки – только ногти изуродованы крестьянским трудом.

Напротив сидел ее муж, тоже небольшой, в белой косоворотке, с белыми, коротко стриженными волосами. Он почти не умел по-русски и только доверчиво улыбался всем бело-розовым лицом человека, прожившего честную, чистую жизнь.

В купе рядом ехали два их сына, – высоченные богатыри, рядом с которыми родители казались подростками, и их миловидные акселератки-жены.

В вагоне была невыносимая жара. За окном проносились поля в глубоком снегу, который спиралями закручивал ветер, перелески, где деревья стояли в сугробах по кроны, а пассажиры, отбросив одеяла, парились под простынями на своих полках. Когда проводник приносил чай, мы присаживались к столику, и начинался разговор. Прерывистый пунктир рассказа моей соседки сложился так:

"В Москву едем, на свадьбу – младшая, Нафиса, выходит замуж. Жених хороший Экономический институт кончает. У матери он один. Квартира трехкомнатная. Нафиса в Казани на последнем курсе, в Москву переведется. Молодым жить – радоваться.

Мы девчонками были – все мужчины деревни

на войну пошли. Старики да бабы. Лошади полегли от голода. На себе пахали – такое потом в кино показывали. Колхоз хлеб не давал, деньги не давал – все равно работали, было надо.

Война к концу пошла. Вернулся отец подружки – без ноги. Стал у нас на гармошке играть – танцы. Мне тоже хочется, а платья нет. Выросла. В отцовых штанах ходила. Я тогда нехорошо подумала: отец ей четыре платья привез. Зачем столько? Дала бы мне одно...

В день Победы он ко мне посватался. А свадьбу играть не в чем – платья нет. Уж когда урожай убрали, поехал он в Космодемьянск, привез ситцу – два платья сшили. Свадьбу справили.

Деревенское наше дело какое – зимой делать нечего, давай детей рожать. Их восемь у нас, а двое – выкидыши. Ну, как росли? – не знаю. Кушать нечего, носить нечего – зиму дома сидели. Ничего, выросли, большие, нас с отцом уважают.

А как родились? – В деревне ничего не было. Почувствуешь – пора, бежишь по соседям – кто какую тряпочку дост. Родишь – прости что скажу – дыру тряпкой заткнешь, и ничего, не болели. Наверное, не знали, что бывает инфекция.

Старшему пришло в армию идти. Тут позору натерпелись – идти не в чем. Отцовы штаны до колен, рваные. В деревне – ни иголки, ни нитки. (Я посчитала: родился, наверное, году в 46-м, плюс восемнадцать – 64-й год: в Ленинграде была икра, пирожные, выставка итальянской моды...) Взяла от старого радио проволочку, дырки затянула.

Потом письмо пришло: "Мама! Ты бы меня видела! Счастье какое – я в белых подштанах хожу!"

Вот и доехали. На перроне к моим соседям подошла красивая, как мать, девушка с длинной косой. За ней – жених с целой толпой молодежи. Разобрали по рукам узлы и корзинки со свадебными

деревенскими гостинцами, которыми по дороге потчевала меня милая моя соседка: рулет с запеченным до коричневы творогом, пироги с черемухой, мед – всё, чем богаты.

Я пожелала молодым прожить всю жизнь, как отец и мать, – вместе.

Нафиса – в переводе значит – счастье.

Май 1987

Сестры

Здесь, на горбатой казанской улице, близ Университета, бегущей в гору – под гору, на вершинке ее, у вот этого дома застрелили тетю Розу, младшую бабушкину сестру. Меня тогда и не было. Маме моей было десять лет. И нет теперь той мостовой, но я вижу кровь на асфальте.

Было яркое утро. Кругом стреляли. Тетя Роза бежала домой, торопилась, в белой косынке с красным крестом. Дворник на том углу указал на нее. Красноармеец вскинул винтовку. Девушка упала. Я вижу ее кровь на асфальте.

Она любила офицера. Разве любовь разбирается в мундирах? Под мундиром был мальчик. Робкий и печальный. Они любили друг друга нежно и обреченно. Дворянин не мог жениться на еврейке. Но любовь не разбирается в чинах.

Он по утрам бросал цветы в ее окно. Знак встречи? Знак разлуки? Над ними опускался маятник истории. Казань переходила из рук в руки. Вчера пришли красные. Утром Розу убили за любовь к белому.

Роза упала, и ее кровь расплывается большим пятном и подступает к моим ногам в сандалиях и полосатых носочках.

Сестру милосердия убили за любовь. Девочку убили за любовь к робкому мальчику со светлыми усами.

Я часто хожу на эту улицу – недалеко от нас. Здесь живет тетя Буня – самая старшая бабушкина сестра. Ей было 20 лет, а Розочке – 3 года, когда они осиротели. Тетя Буня вырастила Розочку, была ей матерью, отцом и сестрой. С тех пор, как убили Розочку, тетя Буня покачивает головой – с боку на бок. Она очень бедная. И очень добрая. Она вяжет мне длинные чулки из слегка колючей, набеленной шерсти. Сухие, проворные руки ее неуловимо шевелят спицы. Когда один чулок почти готов, она приходит к нам и, примостившись у моей кровати, заканчивает работу. И тут на мой сон грядущий тетя Буня творит чудо: снимается последняя петля, откладываются прочь спицы и из готового чулка вынимается второй – такой же точно. Тетя Буня вешает новые чулочки на спинку моей кровати, и я чувствую на своем лице все морщинки ее личика, прислонившегося ко мне лбом, щеками, слабыми губами, и слышу тишайший лепет: "Розочка, моя доченька..." – и горячие слезы падают на меня.

Май 1987

"Возлюбленную к жизни не вернешь..."

* * *

Архитектура – вот что Ему
Провиделось в предвечную тьму, –

И женщину Он строит, как дом:
Как ждущий наполнения объем.

Профессор морфологии, сват,
Он сочленения чтит и обряд.

Он сам не свой до форм. Парфенон
Порывом чувственным вознесен.

В стенах локализованный дух
Разыгрывает действо о двух.

Зиждательная мысль хороша:
Под сводами гнездится душа,

Блаженствует меж линий и числ
Двупольный ритмизованный смысл.

План мира сексуален – и речь
Приличествует в ритмы облечь...

.....
.....
"Довольно рассуждать, помолчи,
Забудешь бутерброд и ключи".

30.05.88

БАЛЛАДА

Жил человек в Шварцвальде. Черный лес
И горы, горы...

Встречный мерседес,
Сбавляя бег, как пуля на излете,
Внезапно нас слепит на повороте
И исчезает – за косым снежком
Кружащимся над этим краем...

В нем
Водились тролли, обитал забавный
Гном, бургерской порядочности славной
Волшебный страж. Творцу угоден он –
Не то что бакараша-плотогон
Михель Голландец; этот был верзила,
Нечистая им овладела сила,
Сердца скупал он...

В светлой полосе –
Стволы и хвоя, серпантин шоссе
Упрямо тянет в горы, на асфальте –
Не снег, а грязь...

Жил человек в Шварцвальде
И не трудясь хотел разбогатеть.
К лукавому он попадает в сеть,
А гном, на месте оказавшись кстати,
Беднягу возвращает к благодати:
Наш угольщик оставил блуд, трудом
Вернул достаток в сырый отчий дом,

С любимую воскресшей помирился...
Но лес шумит, угрюм...

Не изменился

С тех пор пейзаж: все так же мрачноват,
И этот путь в горах – витиеват.
Прекрасной прозы мерное течение,
Художественное нравоученье
В нем слышу. Не беда, что он знаком:
Сентенцию припорошим снежком,
Красы невиданной поставим ели,
И Рейн, полоской светлой акварели,
Контраста ради (или озорства),
Втесним в подрамник, подкрепив слова,
А в хвой шум вплетем строку Вивальди
Иль Моцарта...

Жил человек в Шварцвальде.

Я знал его и восхищался им
В краю родном, который стал чужим;
Он был жрецом Урании холодной.
Я тоже тщился истиной свободной,
Значки таинственные выводил,
Мой акроним вживлял в них что есть сил,
Вселенную внедрял в число Бернулли, –
Но звуки алгебру перетянули,
Сник мой естественно-научный пыл...
Ему и мне – нам север вреден был,
Лапша, клопы да враки надоели,
Бездельем тяготились мы...

В ущелье

Нырять наш фольксваген. На скале,
Слегка поблескивая в зыбкой мгле,
Маячит изваяние оленя;
Давным-давно, в порыве умиления,
Его, земле во славу, вознесли
Вольнолюбивым возгласом земли,
Излишне, может быть, сентиментальным,
Но сделанным на совесть, матерьяльным,

Таким, что собственника веселит, –
Что нам обычай подчеркнуть велит
Со снисходительностью...

Нет, не пивом,
Не благонаравьем тягостным, а мифом,
С Гельвецией сведя Бахчисарай
И Ганзу, чуден скифу этот край.
Здесь грозно все взывает к подсознанию,
К прародине, к первичному изгнанию,
К Предвечному, и дух густой как мед
В прирейнских землях и лесах течет
Для нас...

Жил человек в Шварцвальде. Он,
Своим искусством древним упоен,
Водитель был, однако же, исправный,
И мы доехали. Я помню славный
Разноязыкий шумный русский дом,
И в нем достаток, нажитый трудом –
Осмысленным, не тем, что нас состарил.
Хозяин – китаист, он кочегарил
На севере, а здесь преподает...

...Нет, труд не враг душе, наоборот,
Расслабленность – вот малодушие; к людям
Льнет пошлостью она и словоблудьем;
В жестокости и скуке потонул
Хваленый артистический разгул, –
А чада сердца с нами остаются.

Нет, это вздор: сердца – не продаются,
И поканьем – не искупишь ложь.
Возлюбленную к жизни не вернешь.

15.09.88

* * *

Дорога сворачивает на Камчатку.
Гражданская, веришь ли, оборона
В нагрузку к языку и литературе, –
Вот что она там преподавала!

Сопки, олени. Поодаль – Чукотка,
Где отпуск учительница проводит.
Холодное, комариное лето.
Полдюжины выцветших фотографий.

Возвращенье. Безвременье, остыванье,
Романы, супружество полупустое.
Качается маятник московский.
Линяет, в кольца свившись, эпоха.

Тут – приговор: от силы – полгода.
Резиновые перчатки хирурга;
Эфир, щекочущий нервы; морфий;
Апелляция к небу. Оттуда – прощенье.

Теперь – каббала и виноградник
В зеленой сияющей Галилее.
Судьба, при ближайшем рассмотрении, вышла
Как все. Твоей и моей не хуже.

29.05.88

БАЛЛАДА

Был я мал. Судьба была не видна.
Посулила мне старуха одна:

”Вот возьмешь из рук моих этот цвет –
Станешь ты национальный поэт!”

Я, как водится, вконец оробел:
Колокольчик нежно так голубел...

Засушил его я в книге. Цветок
На загадочную лирику лег:

Русский классик и большой патриот
В ней Шотландию отчизной зовет.

Сокрушительный и сладостный хор
Прянул в душу мне: пиратский простор,

Кливер, туч края жемчужны, жираф
Бродит (шею над скворешней задрал)...

Чуть-чуть ёрничала бабушка. Слог
Я не выдумал, а чистым сберег:

"Внидь в народа твоего мощный дух!"
(Не сказала лишь, какого из двух;

Не сказала, чем талант нехорош,
Если части целое предпочтешь...)

Звали Агнией сивиллу. Вопрос
Вместе с холмиком травой порос.

Вождь похерен, атом в ступе растерт
До тестикул, до желез и аорт,

Лимфой полнятся рубины Кремля,
Под стеною шевелится земля,

Черный колокол утюжит страну,
За обиду выдавая вину...

В Левашове, в предпоследний приезд,
Посетил я покосившийся крест;

Всплыло детство: дачный садик сырой
Флоксы, грабли, керосинка, Роб Рой...

Верно, молодость мою берегла:
Все-то знала, да с собой унесла.

4.09.88

* * *

Поблизости Темза течет –
Но времени нету,
А то, что осталось, влечет
Не к Темзе, но в Лету.

В пятнадцать считаешь века,
А в сорок – минуты.
Должно быть, прекрасна река,
Да тягостны путы.

Уставшему лямку тянуть
Не много и надо:
На вольную реку взглянуть –
Какая отрада!

А впрочем, и так – ничего.
Он тянет и знает,
Что там, за квартал от него,
Река протекает.

1992

Геннадий РУССКИЙ

Откровение автора "Вельского"

*Исповедь писателя-невидимки**

1

В то время, когда "морально-политическое единство советского народа" казалось сбывшейся антиутопией, никакой литературы, кроме советской, и иного статуса писателя, помимо членства в союзе писателей, не существовало. Так было в тридцатые годы, в сороковые и в начале пятидесятых, т. е. в годы сталинщины. Но с "оттепелью" начинает вызревать, а в шестидесятые годы заявляет о себе "другая литература" (как и вообще "другое искусство") и появляются "другие" писатели-невидимки.

Об одном из них – Солженицыне – знает весь мир. Он был первым писателем-невидимкой, вышедшим на свет, намеренно "засветившимся". До поистине чудесной публикации в "Новом мире", он предполагал себе простой и менее опасный путь писателя-невидимки (подземного, подпольного, назовите как угодно): писать и пересылать написанное за границу под псевдонимом. Такую попытку Александр Исаевич предпринял (о чем рассказывал в "Теленке"), но увиденные им иностранцы не

* "Грани" № 75, 1970. Виктор Вельский. "Откровения Виктора Вельского". (Надо: "Откровение..." – см. далее).

внушили доверия. А если бы внушили? Он несомненно напечатался бы до "Нового мира" (как пришлось ему передавать рукописи на Запад после "Нового мира"*). Публикация "Ивана Денисовича" была тем большим чудом для тоталитарного общества, что зависела от слишком многих "если". Если бы у Солженицына не было доброго знакомого Копелева, вхожего в редакцию "Нового мира"; если бы не было самого либерального "Нового мира"; если бы не было главного редактора Твардовского; если бы рассказ не попал к Твардовскому; если бы переменчивый Хрущев находился в дурном настроении и т. д. Ничего не оставалось бы, как вернуться в положение невидимки и искать иных путей публикации, либо вовсе уйти в глухое подполье до неведомых времен. А поскольку у писателя-невидимки нет защитного имени, как появилось у Солженицына после новомирских публикаций, и даже менее знаменитого имени, как у некоторых членов СП, впоследствии начавших публиковаться на Западе, то дальнейшее существование его зависело от собственной осторожности и от расторопности всеведущих "органов".

Что ожидало писателя-невидимку, показала судьба Синявского и Даниэля. У них были знакомые иностранцы, и они едва ли не первыми начали пересылать свои рукописи на Запад и печататься там под псевдонимами. Ко времени ареста в сентябре 1965 года у них было "там" по несколько книг. При этом оба писателя совершили ошибку, непростительную для невидимки и просто для литературно образованного человека: не меняли псевдонимов (а между тем, не зря ведь у Вольтера было 200 псевдонимов, а у Ленина — 130!). Сам факт по-

* См. Дополнения к "Теленку" — "Невидимки".

явления "там" двух авторов-псевдонимов не мог пройти мимо внимания Лубянки. Факт был беспрецедентный. Правда, был Пастернак (а до него Замятин, Пильняк – но это уже забылось), но тот передал открыто, в коммунистическое издательство, к тому же у него было немалое имя и нобелевская награда – его добивали иначе. Для неизвестных же авторов это была небывалая дерзость. Лубянка приняла все меры, чтобы найти злоумышленников. Можно только гадать, сколько сил и средств было затрачено на раскрытие псевдонимов. По логике Лубянки, писатель, напечатавшийся т а м без ведома компетентных инстанций, под псевдонимом или под своим именем, уже был преступником, независимо от того, что он там напечатал.

Все дело было, конечно, в "идеологической борьбе", благодаря которой в значительной мере существовал сам строй и кормилась номенклатура и весь аппарат. Нельзя было допускать шатаний. Необходимо было дать острастку. Как всегда, легче всего это было проделать на писателях – материал для битья представлялся подходящим (ждановские постановления формально не были отменены, а послушное руководство СП и не смело заикаться об их отмене), а само битье и соответствующая идеологическая кампания служили указанием на начало нового курса на зажим (так прежде таким указанием могла быть статья "о театральном критиках"). Арестом писателей новое брежневское руководство объявляло курс на неосталинизм. Но время было иное. "Они" не знали, сколь мерзки они стали людям. Иной была запуганная прежде, затоптанная интеллигенция. Она поднималась с колен. Дело Синявского-Даниэля стало рубежом. Начиналось противостояние.

Процесс этот был драматическим и занял целую историческую эпоху. Кто-то должен был ока-

заться наверху, кто-то стать "кротом" – писателем-невидимкой – хотелось бы надеяться "кротом истории".

2

Писатель-невидимка – особое состояние, отличное от дерзающего и графомана. И тот, и другой пишут вполне советские вещи, только их почему-то не печатают (хорошо об этом у Синявского-Терца в рассказе "Графоманы"). Невидимка же, независимо от качества продукции, знает, что за написанное его "по головке не погладят". Поэтому он старается ничем себя не обнаружить, не выходить за пределы своих внешних занятий. Даниэль, которого я знал, представлялся переводчиком-ремесленником и на вопрос: "А свое пишете?", отвечал: "Боже избави!" Синявский, с которым у меня были более близкие отношения, воспринимался окружающими и мною как литературовед, критик, эрудит.

Не раз сидел я у него в подвальчике за интересным разговором. Не раз задумывался, на него глядя, что этот литературовед, как личность, крупнее своего напечатанного – впрочем, мало ли таких людей на Руси и только ли в письменном дело! Не знаю, что он думал обо мне, но у него было больше оснований считать, что перед ним сидит еще не напечатанный, но уже готовый писатель-невидимка.

Я показывал Андрею Донатовичу некоторые свои вещи, показывал, как доброму знакомому, умному критику, и он относился к ним благосклонно. Тем летом 65-го я в последний раз перед его арестом зашел к Синявскому. У него лежала папка с моими рассказами и речь была о них. "Вы знаете, в схожей с вашей манерой пишет некий Абрам Терц", – сказал Синявский. На меня это не произвело впечатления – мало ли кто как пишет.

"Да? - сказал я рассеянно. - Это кто, эмигрант?"

"Нет, отсюда, - серьезно ответил он и посмотрел как-то странно, впрочем, при его косоглазии это могло и показаться. - У меня где-то была его книжка..." - пошарил взглядом по полкам. "Ничего, - сказал я, - в другой раз найдете, обязательно дайте почитать, мне интересно, как другие пишут в манере, как бы ее назвать..." "Фантастический реализм", - подсказал он и засмеялся дружелюбно. "Тот самый, который почище любой фантастики!" - подхватил я и, приободренный его пониманием, кинул как бы невзначай: "Вот если бы туда..." "Соберите сборничек, тогда можно подумать", - внимательно посмотрел косящим взглядом. То, что он может помочь в этом, я давно понял (писатель-невидимка высматривает знакомых, могущих ему помочь, вот только, бродя в потемках, проходит мимо собрата). Я стал прощаться. "Возьмите", - протянул он мне зеленую папку с моими опусами. Как-то особенно серьезно сказал, позже я эту интонацию не раз вспоминал. Я же легкомысленно - не хотелось куда-то тащиться с папкой в руках - попросил: "Если можно, пусть у вас полежит, - и совсем глупо, с языка сорвалось, - не заметут же вас за это время". "Нет, конечно", - засмеялся Синявский, опять как-то особенно - не раз потом вспоминал я этот смех.

Оба мы в тот момент искушали судьбу. Не хотел я понять серьезность его тона, а он, поддержав мое легкомыслие, отгонял от себя неприятные предчувствия (а они у него были), не настоял, не сказал, мол, всякое бывает, отгонял страхи.

Та зеленая папка дорогá мне встала. Через полгода я увидел ее на столе следователя. "Ваше?" Запираться было бессмысленно (хотя вещи не были подписаны): если бы не эта папка, забранная у Синявского при шмоне, меня бы не вызвали. Самое

печальное было не в утрате папки (так и не вернули) и не в том, что исключили из союза журналистов, а в том, что засветился. Пусть не весь, краешком, но все же попал в их охват.

Времена все же были другими. Волк настолько напился кровью, что уже не хватал всех подряд. Прежде быть бы мне "подельником", а теперь всего лишь отделался "запретом на профессию" (как раз в это время много писали в газетах про подобные дела у "них", возмущались). Но случившееся меня от моих занятий не отвратило. Напротив, укрепило. Со многими из нас происходил в те годы процесс внутреннего выпрямления; от молчаливого презрения мы переходили к молчаливому сопротивлению. Мы всё еще боялись неосторожного слова, особенно по телефону, на нас еще давили страхи пережитой в юности сталинщины, но мы начинали преодолевать комплексы тоталитаризма.

Расчет припугнуть показательным процессом (бездари, ничего иного не придумали, как вернуться к старой фальши) не только не оправдался, но имел прямо противоположные результаты: начало демократического движения. Множились ряды явных и тайных борцов с режимом. Началась великолепная эра сам- и тамиздата, эра "Хроники текущих событий", романов Солженицына, заявлений Сахарова, бесконечного потока обращений и писем протеста.

Сказать, что писателю-невидимке, как любому писателю, нужен общественный фон, благоприятные условия, будет не всей правдой. Писатель будет писать в любое время, в любых условиях, дело лишь за тем, как явить свое миру. Исключение составляли годы тотального террора сталинщины — новое явление в мировой истории — когда задавленность так велика, что ни о каком самовыражении не может идти речь. Такого тогда и в мыслях

не держали. Да и как при "железном занавесе" без щелей? А писать в стол? — кто? И Булгаков, и Платонов писали, все-таки надеясь видеть свои вещи напечатанными, и не всегда понимали, почему их не печатают...

Теперь гнет спал, морок тоталитаризма рассеивался и, казалось, все упиралось в то: как передать? Мы все жили в то время в наивном убеждении, что там, на Западе, понимают нас и сочувствуют, и стоит только кому-то вырваться из "большой зоны" или перекинуть рукопись "за речку", как — они ведь этого только и ждут! — примут и обласкают. Ведь знают же они, знают, как нам тяжело! Сколь же велики потом были наши разочарования...

Два пути были передачи: самиздат и тамиздат. Синявский и Даниэль вышли напрямую на тамиздат. Это был верный путь, потому что тамиздат рано или поздно возвращался на родину. Но это был и самый опасный путь, поскольку лубяньщики могли приписать "изготовление и распространение" произведения "с целью подрыва... дискредитации и пр.", как и проделано было с Синявским и Даниэлем. Самиздат в этом случае спасал от обвинения в преступных намерениях (Синявский и Даниэль выступили еще до эпохи самиздата). Достаточно было автору сказать, что он не знает, каким образом его вещь оказалась в самиздате и тем более оказалась на Западе (хотя в девяти случаях из десяти, если не во всех десяти, автор это знал) и лубяньщики, не имея прежних мер воздействия (физических), отступались. И, действительно, с появлением самиздата процессов против писателей больше не затевалось (Солженицын высылался как политический преступник, "за измену"...).

Эпоха самиздата еще требует обстоятельного описания и изучения. Я вспоминаю лишь ее первый, романтический период. Лубянская провока-

ция против литературы только оживила литературный процесс. Могучим валом хлынула всякого рода литература, политическая и художественная, профессиональная и самодеятельная. По рукам ходили самиздатские сборники, самиздатские журналы "Синтаксис", "Феникс", возникали литературные компании, сборища на "Маяке". Всё это было молодо, задорно, хорошо и тянуло к ним, к этим ребятам. Но выработавшийся инстинкт писателя-невидимки удерживал от этого. Означало это стать видимым, а в силу заполитизированности всего процесса, войти в политику. Означало это сразу выдать себя в лапы Лубянки, ибо теперь, когда у меня отняли журналистский билет (и заработок: система была так хорошо устроена, что даже распоряжения не требовалось – все, что надо, сделают, одни от подлости, другие от испуга), я оказался полностью незащищенным и при чем-то желании мог быть, например, выслан как "тунеядец" (но в отличие от Бродского, за меня никто бы не заступился). Надо было искать свой выход.

Я был дружен с о. Глебом Якуниным, который после знаменитого "Письма двух священников" вступил на правозащитный путь. Никогда мы не говорили с ним об этом, но я знал, что Глеб тот человек, который может мне помочь. Я знал и как – свести меня с Алешей Добровольским. Этот Алеша работал некоторое время в букинистическом магазине № 28, рядом с театром им. Ермоловой на Тверской (ныне не существует). Имел он внешность малорасполагающую – походил на блатаря – худенький, узкое лицо с усиками, хмурый насто-роженный взгляд. От Глеба, знакомого с ним по книжным делам, я знал, что он и правда сидел по уголовному делу, но в лагере обратился, стал человеком верующим. Сейчас он дружил с теми, кого вскоре называли "диссидентами" и был знаком с

иностранцами, которым передавал рукописи. Я поверил в него; его христианство, казалось мне, покрывало его прежние грехи, а риск, которому он ежедневно подвергался, еще более располагал к нему. К тому же, что-то во мне зудело и подгоняло: кто знает, что еще "они" выкинут – страх новой волны повального террора сопровождает жизнь тоталитарного общества даже в относительно спокойные периоды – ничего хорошего от "них" ждать не приходилось (что и подтвердилось вскоре вторжением в Чехословакию).

3

Теперь надо сказать о той вещи, ради которой всё затевалось.

Это, конечно, особо деликатная тема, и читатель вправе решать, стоило ли это делать, такова ли цена вещи, чтобы ради нее – в случае худшего – отдавать на растоптание свою жизнь. Что до автора, то он ответит утвердительно – иначе он не может.

Но речь будет не об этом. Вещь эта в своем движении от первоначального замысла к последующей трансформации отразила в какой-то мере движение нашей литературы к освобождению от фальши соцреализма.

Путь начинающего писателя всегда труден, у нас же он осложнялся привходящими идеологическими обстоятельствами. Надо знать правила игры, установленные литнормативы. Писать, чтобы быть напечатанным, следовало по законам соцреализма. Т. е. утверждать новое, прогрессивное, служить партии и народу, обличать пережитки прошлого и прочие отрицательные явления и т. п. Согласно выработавшейся схеме, в произведении должен быть положительный герой, образец для подражаний. Допустимо преувеличение, некоторая гиперболизация, но это ничего, ведь таким будет человек наше-

го светлого завтра. Отрицательный же герой выглядел скоплением всяческих мерзостей (но поскольку пороки его общечеловечны, выглядел он всегда живее положительного).

Любой, самый неискушенный, начинающий автор понимал, конечно, что жизнь не укладывается в схемы, что требование утверждать новое и положительное в нашей жизни неисполнимо потому, что того нового и положительного, что требует партпропаганда, в реальности попросту не существует. Но ведь хочется напечататься, а потому почему не допустить немного вымысла – ведь вообще-то литература строится на вымысле? – а в остальном быть насколько возможно правдивым и хоть крупицу правды донести!

Но очень скоро начинающий автор начинал чувствовать, что нельзя писать с оглядкой на какие-то усвоенные нормативы, под постоянным самоконтролем – этого нельзя и оттого, что опасения внешней цензуры порождают цензуру внутреннюю, а это приводит к оскотлению творчества – писать становится в тягость. Но ведь хочется напечататься! И начинается процесс вымучивания, согласования несогласуемого; автор теряет интерес к своему замыслу, исчезает вдохновительное чувство, когда интересно писать и читать написанное, и в итоге получается такое, что даже по нормам соцреализма нечего рассчитывать на успех.

Думаю, не одному мне пришлось познать это на себе.

Еще в студенческие годы дерзновенно задумал я повесть о студенческой жизни. Во-первых, это было наиболее знакомо. Во-вторых, имелись удачливые прецеденты. В те послевоенные сталинские годы было опубликовано целых три студенческих повести. Первая – "Трое в серых шинелях" В. Добровольского была конъюнктурной и откровенно

слабой. Вторая - "Студенты" Ю. Трифонова была вполне соцреалистической, но написана талантливейшей рукой. Третья - "Здравствуй, университет!" нашего аспиранта с филологического Г. Свирского была напечатана лишь потому, что изображала "борьбу с марристами" после известных статей вождя. Ничего, даже отдаленно похожего на нашу жизнь, в ней не было.

Тем не менее, усилиями трех авторов был выработан определенный шаблон студенческой повести. Есть безусловно правильный, положительный герой, которого автор всячески лелеет и возвышает. Он простого происхождения, живет бедно, в общности. Герой отрицательный, напротив, ярко талантлив, но неуравновешен, пренебрегает коллективом, склоняется к индивидуализму. Он из обеспеченной семьи, заражен пережитками, из него может получиться тот самый "гнилой интеллигент". Происходит какой-то конфликт между положительным и отрицательным, отрицательный разоблачается в своем индивидуализме и в конце концов перевоспитывается и занимает правильную позицию. (Решительной расправы ни в одном из названных опусов не происходит - таково было нормативное требование, противоречащее практике комсомольских репрессий и поисков врагов в студенческой среде, но, по-видимому, "сверху" литературе было предписано создавать видимость благополучия.)

Задумывая свою повесть, мне казалось, я нашел новый поворот темы. Дал мне его фельетон в факультетской стенгазете "Комсомолия" под названием "Пижоны". Речь в нем шла о молодых людях, сынках и дочках высокопоставленных родителей (но не номенклатуры, тех трогать было нельзя, а лауреатов и пр.), ведущих "чуждый нам образ жизни". Словечко "стиляги" еще не вошло в обиход, оно

войдет в предоттепельную пору, пока же стоял сталинский мороз (год 1952). Действительно, были среди нас подобные экземпляры, одним видом своим (впрочем, весьма скромным) выделявшиеся из нашей бедноодетой среды. Конечно, с идейно-комсомольских позиций их следовало осудить, но втайне нельзя было не признать привлекательность их нестандартности. Конечно, народ это был пустенький, но на фоне больших и малых комскарьеристов выглядели они живыми людьми.

Я начал писать с увлечением, нестандартные герои, всеми хулимые стилияги-пижоны были мне интересны, хотя я и не дружил с подобными людьми, но встречал, наблюдал – дело двигалось. Я жил в этом вымышленном мире и отчасти спасался в нем от мира реального. В реальном же мире окружала жуть. Истекали последние дни сталинщины и, как всегда перед рассветом, особенно бесновалась всяческая нечисть. На верхнем уровне это было "дело врачей", на низовом, в соответствии с репрессивным духом эпохи, мелкие парт- и комсдеятели занимались травлей несчастных, попавших в их прицел, вроде меня.

Если отрицательные герои были, как говорится, под рукой, то положительных не находилось. Не было таких в знакомой мне среде: выскочки, карьеристы, демагоги, ловчилы, предатели – этих в изобилии, а достойного человеческого материала не было. Предстояло конструировать литературного гомункулуса, чем, собственно, и занимались тогда совписы. Но для этого нужны были особые навыки, а их у меня не было. А тут подкатило Событие – смерть Сталина, затем кончались "мои университеты" и надолго отложились задуманная повесть.

Позже я дописал ее, домучил и ничего хорошего, конечно, не получилось и не стоило бы вспоминать о ней, если бы она не дала мне героя другой,

будущей вещи. Что ж, случай распространенный: у многих авторов персонаж, первоначально задуманный как проходной, оказывался неожиданно главным.

В неудавшейся студенческой повести я описывал среду легкомысленных молодых людей, которые чем-то выделяются из современной студенческой среды, являют собой неосознаваемый ими самими протест против серости и скуки, которые преподносились им как советско-комсомольская добродетель. Но ведь индивидуализм, в чем их корили, бывает не только внешний; внешняя выделяемость — удел недалеких натур. Индивидуализм вообще присущ молодости, это всегда несогласие, внутреннее противостояние навязываемому извне. Экстравагантность не только одеяния, облика, хотя и это свойственно юности, экстравагантность самого мышления. Такой герой, оригинально мыслящий, явный индивидуалист, и появился в моей повести. Он необходим был для контраста в соответствии с соцреалистическими нормами. Если главный герой, подвергнутый социальной обработке (самое трудное было сочинить благотворное воздействие коллектива — с души воротило, ничего путного не получалось), выходил на правильный путь, то оригинально мыслящий оставался неисправимым. И понятно: оригинально мыслить, помимо марксизма-ленинизма, считалось недопустимым.

О, всё это автор старался делать неогрубленно, старался коснуться живых проблем молодежной среды, но так и не преодолел антипатии к "положительным" персонажам. Нет, ничего путного не получилось, и прав был тогдашний главный редактор "Молодой гвардии" Илья Котенко, которому я показывал повесть, сказав: "Вот если бы вы изобразили героя, который позвал бы за собой..."

Не мог я изобразить такого героя и нечего мне

было соваться в советскую литературу. Так и не стал я советским писателем, что, впрочем, никогда меня не огорчало.

4

Странное дело: стала забываться неудачная повесть, а один из ее персонажей начинал все чаще занимать воображение и понемногу оживать. Все чаще представлялось, что скажет он, как поведет себя в той или иной ситуации – при том совершенно незаинтересованно, без внутренней цензуры, – решалось пока как чисто художественная задача. Его оживляла сама пробудившаяся действительность после летаргии сталинщины. Все более реальной, а не вымороченной, как дотоле, становилась жизнь. Кончался морок коммунизма. Начинался процесс отрезвления.

Возникала фигура молодого интеллектуала на переломе истории. Идейный крах коммунизма был очевиден. Это был крах еще одной мечты людей устроиться всемирно. Но трагизм момента не только в этом. Еще более страшный, самый роковой трагизм времени, следствием чего является человекобожеский коммунизм, в утрате веры в Бога. Последний нигилизм: "ни Бога, ни коммунизма". Таким искушениям ума подвержен герой. Из-под сталинщины нельзя выйти неизломанным – все дело в восприимчивости души. Грубые натуры переносили легче, самые впечатлительные не выдерживали. Такую тяжкую травму несет на себе герой. Время отыгралось на нем, ощущает он. Ему нет места в жизни. Единственный способ спастись – так кажется ему – "сменить судьбу", бежать в иной, благополучный, заграничный мир. (В то послеоттепельное время многим так казалось, и какой вал хлынул десятилетием спустя, когда чуть приоткрыли щелку! но художественная правда часто

оказывается пророческой.) Очутившись за границей (туристом), герой понимает, что и этому миру он чужд. Травма века неисцелима. Вслед за своей "апологией" (вещь дается в форме исповеди) он пишет свою "патологию", где касается крайних вопросов бытия и мышления, где все пронизано страхом смерти, ужасом уничтожения. Здесь поставлен предел уму и заглядывание за край, в бездну грозит безумием. Герой отрицает и мир, и Бога. Уйти от мира можно, скрывшись в добровольный затвор, в маргинальное существование. Но уйти от Бога невозможно, невозможно – в представлении безумного воображения – иначе, как самому стать божественным и снова принять на себя все страдания мира, как Тот, кого он отрицает. Безумие поглощает его.

Первоначальный персонаж студенческой повести, претерпевший столь значительные метаморфозы, носил имя Виктора Вольского. Теперь, много лет спустя, трудно установить, откуда возникло это имя. Скорее всего, я где-то увидел или услышал имя советского драматурга В. Вольского и забыл, а потом, когда понадобилось звучное "интеллигентское" имя, оно вспомнилось. Имена ведь уже определяют характер персонажа, а в соцреализме особенно: по одному имени можно угадать положительный это или отрицательный герой. Так и в звучном имени Виктора Вольского сразу чудилось нечто вызывающее читательскую настороженность.

Начав новую вещь, я сменил одну букву в фамилии героя, подчеркивая этим и преемственность, и отличие от того персонажа (разумеется, имеющее значение лишь для автора). Замена была тем более удачной, что и Вольский и Вельский происходят от названия городов (Вольск близ моего родного Саратова, а Вельск на реке Ваге, на милом моему сердцу Севере). Но, сменив "о" на "е", герой превратился

из ироничного, вольномыслящего молодого человека в трагическую фигуру нигилиста и богоборца, которого не только по нормам соцреализма можно было бы назвать "отрицательным". Автор, конечно, мог бы сказать, что создавал своего героя "из пороков поколения" и что в какой-то мере это "герой нашего времени", а скорее "великий грешник" нашего времени (хотел, признаюсь, поставить в подзаголовок "жизнь великого грешника", но тень Достоевского укорила), но это относится лишь к намерениям.

Написав первую часть - "Апологию Виктора Вельского" за три дня летом 1961 года (как и герой, пишущий исповедь перед чаемым бегством за границу), я закончил вещь, в целом, в 64-ом году. К 65-му, году ареста Синявского и Даниэля, она была уже готова. Вещь, соединившая в себе "апологию" - исповедь героя и самозащиту, и "патологию" - кощунственное пародирование Евангелия, а также разрозненные заметки, оставленные героем, называлась "Откровение Виктора Вельского" (в публикации "Граней" - "Откровения..." - получается слишком бытово, нет, именно "Откровение...", ибо герой-безумец нарочито претендует на аналогию). А поскольку вещь написана от первого лица, то и автор ее тоже - Виктор Вельский - ставший здесь псевдонимом. (Тем самым и настоящий автор страховался от догадок "литературоведов в штатском".)

Этим можно было бы закончить рассказ о происхождении героя, если бы не добавлялся сюда удивительный факт, достойный внимания литературоведов (настоящих): существуют имена литературных героев, словно бы витающие в воздухе.

Удивительнее всего, когда два разных и незнакомых друг другу автора избирают одно и то же имя героя. Оригинальность ли персонажа к тому побуждает? Но вот в 1963 году Юлий Даниэль

пишет повесть "Искупление", где главным героем некий Виктор Вольский, в то время, когда у меня уже был готов герой Вольский-Вельский. При моей встрече с Юлием Даниэлем в начале 1965 года в шумной компании, разумеется, ни о чем подобном не могло идти речи. Я вообще не знал, что мы одного поля ягоды, что он – Николай Аржак, не читал им написанного, и позже, когда он вернулся из заключения и мы встретились опять в компании, не знал, что мы странно породнены именами героев. Больше того – и судьбами героев.

Так получилось, что "Искупление" я прочел после смерти Даниэля, совсем недавно. Я считаю эту вещь по-своему замечательной. Вряд ли зная "Процесс" Кафки, в то время неопубликованный у нас, Даниэль угадал кафкианский комплекс онтологической вины, вины без виновности в силу лежащих на каждом грехе и обреченности. Так и его герой, обвиненный в стукачестве, становится предателем без предательства в силу подсознательного чувства коллективной вины, лежащей на постсталинском обществе. Комплекс вины, который он безвинно принимает на себя, приводит к безумию. Это неизбежный исход, то самое "бегство в болезнь".

Мой герой Виктор Вельский тоже кончает безумием. Но к социальному кризису у него прибавляется мировоззренческий. Его тоже давит комплекс вины, но, в отличие от своего "почти тезки", реальный "иудин грех". Дабы не обвинили автора в пристрастности к своему герою, привожу мнение редакции "Граней", предваряющее публикацию "Откровения..." в № 75: "И не случайно главной завязкой его первой – автобиографической – части служит Иудин грех, второй по важности грех коммунистической России, идущий вслед первому – ее отказу от Бога. Из предательства Вельского – доноса в МГБ на доверившихся ему друзей – вытекает

его видение Бога Живого как Бога Смерти, как Бога Ничто. Но параллельно этому из осознания этого греха, из паскалевского отчаяния рождается подлинная тоска по Богу Живому, которая приводит его к религиозному восприятию мира, к интуитивно верной расстановке духовных ценностей”.

Разумеется, герои, как характеры, значительно разнятся между собой: общительный, безалаберный герой Даниэля и одинокий, нелюдимый мой герой, и все же... Все же оказывается, что имя уже определяет судьбу героя. Жаль, не прочел я вовремя “Искупление” и не сказал всего этого Юлию Марковичу...

Но и этим не кончается удивление.

Оказывается, имя Вельского уже принадлежало литературному герою.

Иван Васильевич Киреевский в наброске “Царицынская ночь”, созданном в 1827 году, изобразил романтически настроенную компанию молодых людей, посетивших уединенное тогда подмосковное Царицыно. Один из них, поэт Вельский, правда, не Виктор, а Владимир читает таинственные стихи о семи звездах – плод юной восторженности самого автора.

И это не все. В другом юношеском наброске того же Ивана Васильевича Киреевского, начатом в 1832 году и оставленном на двух главах, снова появляется герой с той же фамилией. На сей раз это пожилой англазированный господин (имя-отчество его автор не называет) с семнадцатилетней дочерью Софьей Вельской. Главного же героя, рассуждающего о женской красоте, которому, очевидно, предстоит влюбиться в Софью, зовут Бронский (почти Вронский!). Не вдаваясь в вереницу странных совпадений, которыми особенно наполнена литература “нон финито”, т. е. все неосуществленные замыслы, наброски, эскизы и пр., замечу, что в нашем

случае герой Киреевского в каких-то чертах совпадает с моим, несмотря на разницу лет. Я представлял своего Вельского в таком англизированном облике, т. е. подтянутым, корректным, вежливым, сдержанным, ироничным, но за этой внушенной себе ролью скрывается мятежная натура и одинокая душа. Точно так же и восторженные порывы в ранней юности ему могли быть свойственны, но были обстоятельствами и им самим задавлены, затоптаны...

Жаль, не читали мы в студенческие года "каких-то" славянофилов! А, может быть, для пишущего иное незнание и к лучшему?

Так что правы древние: имена не даются просто так, избрать имя – избрать судьбу – правило это в литературе безусловно.

5

Глеб свел меня с Алешей. Тот все понял с полуслова. Мы уговорились, что он зайдет ко мне в определенный день и час без предварительного телефонного звонка.

Он зашел несколько позже назначенного часа (из предосторожности?). Мы прошли в ванную, переоборудованную из захудалой комнатенки, где среди разного хлама, снесенного туда жильцами, была спрятана рукопись. Он это понял и оценил, сказав, что у него при обыске места общего пользования не осматривали. Папку, в которой лежала рукопись, он не взял, а поднял черный свитер, обнажив мальчишеское худенькое тельце и засунул рукопись за пояс. "Вот как надо", – сказал значительно. И я тогда изумился его решительности и решенности. Этот человек, однажды обысканный и явно находящийся под ударом, шел на риск ради чужой рукописи, ради меня! Сердце сжалось, на него глядя.

Мы условились созвониться, причем говорить будем о книге Пастернака (недавно вышедшем сборнике в "Библиотеке поэта", кстати с предисловием Синявского) – наивная конспирация – и он исчез. Исчез так ловко, как сквозь землю провалился – в окно я его не увидел, а он шел где-то, маленький, щупленький, по Москве, переполненной топтунами и стукачами, непримиримо решительный, небывалый человек. И поздней осенью того, 66-го года, начав писать "Черную книгу", назвал я своего героя его именем, вспоминая его беззащитность и жертвенность, соединив с ним идеальность Алеши Карамазова.

Если бы пресловутые "органы" подслушивали – а, возможно, и подслушивали – наш разговор с Добровольским дней десять спустя, они по интонациям неопытных заговорщиков установили бы, что дело нечисто. Но обошлось. Я пришел к Алеше. Жил он на верхнем этаже дома на Каланчевской улице, внизу которого помещался магазин "Охотник". Жил в коммунальной квартире (как все мы, впрочем) в скученности и бедности. Небольшая комната в два окна была разгорожена вдоль шкафами. На алешиной половине стоял большой двухтумбочный письменный стол под зеленым сукном, заняв почти всё ограниченное пространство, а на столе икона Спаса и портрет Государя. Для тех лет выглядело это диковато, пахло чем-то забытым, старорежимным. Про себя я стал называть Алешу – по-доброму, конечно, – "русским человеком".

Разговор из предосторожности вели на кухне. Алеше не просто понравилась моя вещь, он принял ее с восторгом. Решили, что в ближайшие десять дней я перепечатаю рукопись, поскольку как раз открывается okazия. Разумеется, на своей машинке печатать не следует. Алеша предложил мне воспользоваться недавно купленной им портативной

машинкой "Москва", шрифт которой "им", т. е. органам ГБ, был неизвестен.

С этой машинкой и оригиналом рукописи я уехал за город и за оговоренный срок, проводя за клавишами все дни напролет, отпечатал шесть экземпляров на папиросной бумаге через один интервал — как положено в "самиздате". В назначенный день, из предосторожности без предварительного телефонного звонка, я пошел к Алеше. Немного тревожно было: Алеша явно находился под ударом, вокруг него ходила опасность — такие вещи в тоталитарном обществе ощущаются кожей. Впрочем, надеялся я, на худой случай, в своем стареньком пальтеце, с рюкзаком (а в нем машинка и экземпляры) сойти за публику, посещающую охотничий магазин. Но слежка, похоже, не была тотальной. Я с облегчением избавился от своего груза. Мы условились пока не встречаться ради обоюдной безопасности. Меня это больше устраивало: он-то был у "них" на прицеле и знал это, я же случайно засветился краешком и при соблюдении осторожности мог оставаться писателем-невидимкой.

Кажется, теперь я мог себя так называть. Рукопись моя, как передал мне Глеб от Алеши, перелетела через "бугор", а здесь пошла гулять в самиздате. Позже доходили до меня вести о моей вещи. В одной интеллигентной компании ее обсуждали целый вечер. Я знал этих людей и они меня знали, но никому из них не пришло в голову искать автора рядом. Автора вообще невозможно найти, судя лишь по внешнему впечатлению о человеке. Это обеспечивает безопасность автору-невидимке, пока он не высовывается, так или иначе не заявляет о себе. Рано или поздно это произойдет, ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным, но пусть лучше позже...

Пожалуй, в то время я недооценивал всей глу-

бины опасности, которой подвергался, ибо вещь моя попала в круг друзей Алеши, на которых шла охота. Сами эти люди, принявшие участие в моей вещи, подвергались опасности еще большей – если бы знал, не стал бы ничего передавать. Я-то думал, Алеша отдаст кипу листочков иностранцу и тот увезет. Все было не так. У меня оказалось много доброжелателей – без них не появится ни одна книга ни в сам-, тамиздате, ни в госиздате. Я ничего не знал о героической личности Юрия Галанскова, включившего мою вещь в рукописный альманах "Феникс", предварив своим добрым предисловием. Я не знал, да и сейчас не знаю, имени той женщины, которая перевозила мою и другие рукописи через границу, обложившись ими, смертельно страшаясь быть обысканной – гебисты кружили вокруг нее и отложили ее отлет на сутки – и все-таки решилась! Слишком высока была цена доставки крамольной рукописи. Те люди рисковали больше автора. Автор и должен рисковать, он отвечает за свое. Они же рисковали потому, что видели в этом не чужое, а общественное дело.

Передав рукопись, я скрыл все следы – не поднялась рука уничтожить – спрятал "архив Вельского" у соседа на чердаке дачного домика, зарыв в шлак (о чем сосед, понятно, не знал). С этой стороны я был чист и готовил теперь новую вещь, за которую тоже, пожалуй, "не погладили бы по головке" – "Черную книгу". Я предупредил Алешу, что скоро нам надо будет встретиться. Но больше встретиться нам не пришлось – Алешу арестовали.

6

Вскоре после ареста Алеши Добровольского произошло жуткое событие: был убит Марк Доброхотов.

Это был несчастнейший, безобиднейший чело-

век, который никогда никому не мешал, да и не мог помешать. Целыми днями он сидел в своей комнатке в деревянном домике возле метро "Новослободская", в последние годы выходя разве что в церковь. Существовал Марк на крохотную пенсию по инвалидности (он состоял на психиатрическом учете) и на крохи, перепадавшие ему от букинистических операций.

Ныне это кажется удивительным, но в то время все книги религиозного содержания в Москве проходили через Марка (говорят, в свое время также все коллекционные иконы проходили через Остроухова). В букинистических магазинах этого рода литературу не принимали, спрос на нее вообще был невелик, и книжные барыги несли духовную литературу к Марку. Стоило это тогда невероятно дешево. Книги оставлялись у Марка "на комиссию", пока их не купит кто-нибудь из религиозно настроенных людей.

В то удивительное время - начало 60-х - в огромном мегаполисе все молодые христиане знали друг друга. Их было еще немного, молодых воцерковленных людей (это в следующем десятилетии неофиты густо пойдут в храмы). Все, конечно, знали Марка, многие бывали у него по книжным делам. Знали Марка и молодые священники о. Глеб Якунин и о. Александр Мень, и люди постарше - о. Дмитрий Дудко и самиздатский церковный писатель Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин. И Алеша Добровольский, тоже собиравший религиозную литературу. Знали, конечно, всех этих людей в "компетентных органах" и держали под наблюдением. Знали там и Марка и однажды устроили у него превентивный обыск. Марк сказал шмональщикам: "А я вас давно жду. Только у меня для вас ничего нет", - и показал им одну из книг: "Видите, что написано: "Проверено духовной цензу-

рой”, это значит, что политики здесь быть не может”. Но для тех, похоже, духовная литература тоже считалась недозволенной. Правда, книг у Марка они не взяли и последствий обыск не имел, кроме тех, что теперь он был у них на примете.

Часто так бывает, что прототипы героев обнаруживаются, когда произведение уже создано. В Марке при желании можно было найти нечто общее с вымышленным Виктором Вельским. Марк был интеллигентным молодым человеком, сыном профессора. Старомодным был его облик, он и одевался старомодно в какое-то нафталиновое пальто с бархатным отворотом, и книги только старые, и в церковь ходил – во всем был человеком из прошлого. Был он глубинно больным человеком. Подобно Вельскому, страх смерти мучил его. Он находил припадками, от него не было спасения, единственное место было – вскочить на шкаф и затаиться в углу под потолком – там страх проходил.

Но это было с ним в юности. Когда я с ним познакомился, он вел жизнь внешне спокойную и уравновешенную. Христианство благотворно сказалось на нем. К тому же рядом был близкий человек – простая женщина, заботившаяся о нем как мать. Прежде, говорили, Марк попивал, теперь же взял зорек от батюшки, только курил много и пил чифирно-крепкий чай.

И вот – какая судьба – то, что для большинства людей стало бы счастьем, для Марка обернулось трагедией. Он влюбился и получил однокомнатную квартиру. Влюбился он в матушку, попадью, жену своего духовника. Сам батюшка был человеком монашеского склада и давно жил с матушкой как брат с сестрой. Не знаю и не стану гадать, как сошлись две души – женщина пятидесяти лет и мужчина тридцати, но знаю, что была та любовь возвышенной, духовной, чуждой плотски низменного. Но

теперь жить как прежде он не мог. Он расстался с бывшей сожительницей, проклинаясь ею. Как раз в это время ломали их деревянный домишко и жильцам давали квартиры. Марку как инвалиду первой группы дали однокомнатную квартиру на окраине, свою квартиру – предел мечтаний советского человека. Но любимая им не могла уйти от мужа. Марк оказался в одиночестве и дико затосковал.

Никогда он не звонил мне, а тут вдруг позвонил и пригласил к себе. Встретил меня у метро, радостно возбужденный – от него пахло вином. Марк, нарушив зарок, снова начал попивать. Я сидел у него на маленькой кухоньке, смотрел, как он пьет свой чифирный чай и слушал его рассуждения о вечном свете, который существует в надземном пространстве. Наверное, сам не очень веря, он говорил, что скоро его избранница будет с ним, все будет хорошо. Библиотека его заняла всю жилую комнату. Это была отборная, качественная библиотека. Коньком Марка была патристика, он собрал всех отцов церкви и смежные работы. Показал мне несколько книжечек "тамиздата" – издательства "Посев" (среди них "Философская нищета марксизма" Вышеславцева), похвалился: "Вот что я читаю!" Примерно с теми же словами показывал мне эти же книжечки Алеша Добровольский. "Это тебе Алеша дал?" Марк улыбнулся.

Такая радость, казалось бы, собственная квартира, свой угол; и кто-то помог Марку в ней устроиться, расставил шкафы, укрепил на стене чугунное распятие, а чувствовался во всем холод, неуют, не подходил сюда Марк, не смотрелся в этой бетонной коробке, в отличие от ветхого, со скрипучими половицами, но нагретого прежнего жилья. И когда я похвалил его квартиру – не каждому ведь такое счастье! – он только махнул рукой: "От такого

житья только повеситься!" Но расстались мы спокойно, дружелюбно, надеясь встречаться как прежде.

Таким и остался он в памяти: в смятой шляпе, в старомодном пальто с отложным бархатным воротником, укололицый, возбужденно говорящий на черной холодной улице.

А через какое-то время, той же черной, холодной зимой, стало известно, что Марка убили.

Сообщили люди, с ним незнакомые, до которых дошел слух об убийстве некоего человека, близкого к церковным кругам, то ли Добролюбова, то ли Доброхотова. "Марка?" – вскрикнул я. Невероятна, зла, ужасна, душу выворачивающая была весть.

Потом узналось, как было дело. Марк тосковал, он не мог оставаться в одиночестве, прежде домосед, он стал ходить по знакомым. Он пошел к Краснову-Левитину (Анатолий Эммануилович был тогда накануне ареста и, конечно, под приглядом). Пришел выпившим. Ушел поздним вечером, часов в одиннадцать. Анатолий Эммануилович жил на окраине, где сносили старые деревянные дома и строили новые "хрущобы". Утром прохожие, проходя мимо такого дома без окон, без дверей, обреченного на слом, услышали стон. Там обнаружили Марка раздетым, в одном нижнем белье, умирающим. В больнице, не приходя в сознание, он скончался.

Преднамеренное было убийство или, как называют, "немотивированное преступление"? И в том и в другом случае это не походило на обычную уголовщину. Грабителям нечего было взять у профессионального бедняка. Звери-хулиганы, если бы даже поднялась рука на несчастного, вряд ли польстились бы на ветхие шмотки. Нет, его кто-то другой убивал. Убивал с особенной подлостью, не добывая, бросив оглоушенного пьяного человека окелевать на морозе. Кто мог это сделать? Зачем?

Впрочем, эти вопросы не к преступникам...

В тот миг, когда я узнал о гибели Марка, меня пронзила дикая, невероятная мысль: он погиб вместо меня! Его приняли за автора "Виктора Вельского"! Он подходил на эту роль всем образом своей жизни, своей скрытностью, своими знакомствами, занятостью религиозными вопросами, больной психикой, страхом жизни и страхом смерти. Но за одно лишь подозрение в авторстве убивать? Не только. Он вообще был для "них" нежелательной фигурой. Он дружил с религиозными диссидентами. Был знаком с арестованным Добровольским. Его дом, до переезда в однокомнатную квартиру на окраине, был центром распространения религиозной литературы. Никому иному, кроме "них", Марк не мог мешать.

И все равно я отверг тогда эти доводы. Слишком невероятно они звучали. Как ни говорили мы, что "от них всего можно ожидать", но, казалось, не такого. Индивидуальный террор, убийство по подозрению, грязная уголовщина – даже для "них" это слишком. Да и представить, что кого-то убили за тебя, не только неуместимо жутко, но и невероятно греховно.

Оставил я тогда, отмел эту мысль – нельзя так думать, нельзя жить с такой мыслью. Но каждый раз, когда приходила весть о загадочных убийствах или покушениях на убийство диссидентов, вспоминал я Марка. При этом жертвами всегда оказывались нежелательные "им" лица, против которых нельзя состряпать дела.

Страшно сказать, но, похоже, тогда я был прав.

Вспоминал я Марка не так давно, когда узнал об убийстве о. Александра Меня, и еще узнал, что незадолго до этого преступления было совершено другое: из электрички, которой обычно ездил отец Александр, был сброшен на полном ходу похожий

на него человек. Значит, можно убивать по одному подозрению? Похож человек – и достаточно. Убийца разве обладает щепетильностью?

Убийство о. Александра было последним в цепи загадочных преступлений такого рода. Ныне мы вправе говорить о превентивных актах террора. Мы не знаем, какой тайный план убийства, подобный нацистской "Ночи в тумане", был у тогдашней Лубянки, но фактов достаточно. Недавно стало известно, притом от сотрудника органов, о попытке убить А. И. Солженицына незаметным ядовитым уколom (подобно тому, как был убит в Лондоне болгарский диссидент Георгий Марков). В те же годы было совершено покушение на Люшу Чуковскую, confidentку А. И. Солженицына.

Застой был в политике и экономике, в деятельности тайных служб шел прежний беспредел. В проклятые годы брежневщины был убит переводчик Константин Богатырев. Ему разбили голову бутылкой в подъезде собственного дома. В 1976 г. сгорел в своей мастерской питерский художник-нонконформист Евгений Рухин. Говорят, в окно была брошена толовая шашка, от которой загорелись лаки и краски, а дверь снаружи была кем-то заперта.

Ни Рухин, ни Богатырев, ни о. Александр не были политическими фигурами. Рухин был заметной фигурой среди художников-нонконформистов, но отнюдь не лидером. Богатырев дружил со многими писателями-диссидентами, дружил с Генрихом Бёллем, был известен в своем кругу, но незнаком широкой публике. О. Александр Мень был священником-интеллектуалом, ученым, писателем, проповедником, его знала, по преимуществу, верующая интеллигенция. Никто из них, думаю, допустить не мог, что им угрожает опасность расправы, ведь они не брали на себя никакой общественной

роли, никакого движения не возглавляли, оставались самими собой. Но кто-то судил иначе...

Эти "кто-то" продуманно направляли акты превентивного террора на людей, имеющих определенный общественный вес, но стоящих не на виду. Те, на виду, и так известны (как А. Д. Сахаров), находятся под колпаком, в любой момент к ним могут быть применены нужные меры. Иное дело — контроль за интеллигентской, инакомыслящей массой. Ее следует держать в страхе, внушая чувство преследуемости и незащищенности. Пусть каждый чувствует себя неуютно, наблюдаемым, подозреваемым, даже за рубежом. Террор проводится выборочно и отчасти случайно, что не имеет значения, поскольку цель — дать острastку интеллигентным кроликам — достигается.

Так или не так рассуждали тогдашние лубянские деятели, но действия их были таковы. Нашлись и подражатели у "старшего брата" — в Польше в годы "военного положения". Ксендз Ежи Попелюшко не был среди ведущих фигур "Солидарности", но все больше приобретал известность как священник-диссидент. Его убили польские гебисты, надеясь свалить на уголовщину. Это не удалось, и впервые в истории "органов" преступники понесли наказание (тут и то сыграло роль, что власть была военная, а военные традиционно к "органам" не благоволят).

Но ведь не только "мокрятиной" они занимались, были и другие, "физические" методы воздействия. Буковский рассказывает, как четыре гебистских лба страшно избивали его в каком-то подвале. Виноват он был лишь тем, что ходил на площадь Маяковского и встречался там с Галансковым и другими. Буковский, молодой, крепкий, уцелел, а Марк, больной, хилый их кулаков не выдержал. Поняв, что перестарались, те исценировали ограбление с раздеванием. Могло так быть?

Кто отдавал эти приказания? Кто эти преступники-невидимки? Уж им-то ничто не грозит. Приказания своей сволочи они отдавали не письменно, да и словесно не прямо, а намеком, как водится среди гангстеров. У них были и более мелкие методы воздействия. Например, проколоть колеса машины, коли ты приехал к знакомому иностранцу. Или – вовсе шутка – кинуть кусочек сахара в бензобак. А то инсценировать ограбление квартиры, а то поджог. И вовсе милое развлечение – хамские звонки по телефону.

Так и шло, повышаясь от мелкой подлости до большой, от хулиганства до убийства.

Но неужели, – спросим теперь, – так могло мешать одно произведение, опубликованное в самиздатском альманахе, или один несчастный человек, заподозренный в чем-то?

Дело в том, что тоталитаризму всё мешает: и абстрактное искусство (на него пускают бульдозеры), и фантастический реализм (авторов сажают в тюрьму), и даже современная мода (рвут и режут костюмы), короче всё, что выступает за рамки предписанных норм. Каждое малейшее проявление свободы во всем – в мыслях, в мнениях, в формах, в быту, в моде – грозит стать той песчинкой, которой начинается обвал (так и сбылось).

А если в книге герой произносит: "Я плюю вам в рожу, изверги!", то, право, нечего рассчитывать на хорошее отношение "извергов".

Нет, я не могу утверждать, что Марк погиб потому, что его спутали с автором "Вельского". Я только допускаю такую возможность. Но кто его убил – в этом для меня нет сомнений.

7

Однако и это было не всё. Впереди меня ждало новое потрясение.

До меня доходили слухи, что Алеша Добровольский понемногу раскалывается на следствии, но я им не верил. Представлялся он мне твердым, решительным борцом. Он уже бывал под следствием, знал, как себя вести, его до ареста уже вызывали лубянщики и предупреждали, а он ни в чем не поступился.

В одну из наших встреч мы договорились, что "в случае чего" мы друг друга не знаем – я ничего не давал, он ничего не брал. Я рассказал ему, как невольно засветился из-за злополучной папки, оставленной у Синявского.

– Ты напрасно так хорошо о нем говоришь, – заметил тогда Алеша. – Он же тебя предал.

Сказано было резко осудительно. Я же так не думал и Синявского ни тогда, ни позже не осуждал. Он не хотел меня предавать. Конечно, он мог бы не называть автора, тем более, что вещи были не подписаны, но легко судить, находясь на воле. Ему пришлось из первых принять на себя удар и вряд ли стоит его упрекать, тем более зная его твердое поведение на суде.

Но Алеша, мне казалось, имел право так говорить. Сам он, конечно, не оступится: я вспоминаю его решительный взгляд и решительные реплики. Я чувствовал свою вину перед ним: отчасти он страдал и за меня. Сердце мучилось жалостью: помнилась его тщедушная фигурка и как он самоотверженно запикивал рукопись за пояс. В ком, в ком – в нем я не сомневался.

Роль Добровольского в процессе Гинзбурга-Галанскова-Лашковой (начался 12 января 1968 г.) оказалась предельно постыдной: предательской и провокаторской. Он пошел на "сотрудничество со следствием" и сыграл отведенную ему роль: подтвердил связь подсудимых с НТС (зарубежный Народно-Трудовой Союз, в изображении советской

пропаганды нечто вроде Братства у Оруэлла в "1984"-ом). И христианство его, и монархизм, и решительность – всё оказалось внешним, наносным, а настоящим оказалось его блатное, безыдейное прошлое. Он поступил так, как ему было выгодно. Оправданий он не заслуживает.

И все же, и все же – меня он не выдал!

Всех бывших друзей предал, во всем раскололся, но не до дна. Почему? Две, думаю, тому причины. Одна та, что он высоко ставил мою вещь и, совершая "иудин грех", подобно Вельскому (снова можно подивиться, как книги совпадают с судьбами людей!), автора не выдал, этим искупая отчасти свой бóльший грех. Вторая та, полагаю, что по этой линии, по линии самиздата, на него не оказывалось сильного давления. Следствием ему была уготована иная роль, и он ее исполнил. Говорят, сыграло следствие и на антисемитизме, "с кем, мол, связались!" Бесы сдержали обещание, он вышел на свободу после процесса и, навсегда замаранный, исчез с горизонта.

Нет, я не отрекаюсь задним числом от благодарности Добровольскому. Для меня, может быть, единственного, добро он сделал (Добро – Вольский (Вельский), что это каламбур или снова судьба?). Я не знал тогда имени моего великого доброжелателя, а, узнав, еще не знал, что он мой доброжелатель. Это – Юрий Галансков.

Галансков, редактор "Феникса-66", воспринял мою вещь сугубо политически. В редакторской "врезке" он называет "Откровение Вельского" "самым значительным (и, пожалуй, единственным) памятником отечественной литературы второй четверти XX века". Подобное произведение, считал он, "не может родиться в недрах ССП" – последнее бесспорно.

В редакционном вступлении к публикации в

"Гранях", выше процитированном, говорилось, что "иудин грех" Вельского провоцирует отказ от Бога. Применительно к исторической действительности, к русской реальности, обратно, отказ от Бога ведет к "иудину греху". Но, увы, и приняв Бога, можно совершить "иудин грех", как Добровольский. И не приняв Бога (кажется, Галансков был религиозно индифферентен), можно стать героем. Ибо существует чистота натуры (тоже божественное понятие) и таким чистым человеком был Юрий Галансков.

Он принял на себя главный удар. Линию самиздатских связей Добровольского, как мы предположили, следствие не разрабатывало. За самиздат отвечали перед судом Галансков ("Феникс"), Гинзбург ("Белая книга" о деле Синявского и Даниэля) и машинистка самиздата Вера Лашкова. Мне передавали позже, что следствие допытывалось у Галанскова об авторе "Вельского", он, конечно, не знал (а знал бы, уверен, не сказал бы), но чтобы отвязаться, сказал "я". Органам ничего не оставалось, как провести стилистическую экспертизу и опровергнуть его, но проблему авторства это не сняло.

Ее, видимо, и не стали разрабатывать, хотя бы по двум причинам. Главной задачей процесса было заклеить НТС, и эту роль выполнили Добровольский и некий иностранный студент Брокс-Соколов (будто бы агент-связник НТС). Тема самиздата, неподцензурной литературы на первый план на процессе не выступала. По-видимому, хватило с них позора от процесса Синявского-Даниэля. Не нужна была новая литературная шумиха. Потому, наверное, и не допытывались столь вездливо (а могли бы, если понадобилось бы!), что не нужен был новый выявленный автор-невидимка. Ведь писали же в советских газетах, обличая Синявского и Даниэля: "врагам не удастся создать антисоветского литера-

турного подполья". И вдруг – самиздатский бум, появление новых имен и включение их в неконтролируемый литературный процесс. Не нужны были новые имена в страдальческом ореоле. К тому же, "они" могли считать, что с автором покончили...

Еще раз скажу: всё это останется предположениями излишне впечатлительного человека до тех пор, пока документы по делу "четверки", а может быть, и еще какие-то, не будут явлены.

Но тогда, потрясенный гибелью Марка, я почувствовал себя, как ни странно звучит, словно бы заслоненным этой трагедией. Был арестован человек, которому я передал крамольную рукопись, а я не ощущал опасности (хотя в менее опасных ситуациях ощущать приходилось). И когда я узнал о поведении Добровольского на суде, было ощущение свиста пролетевшей пули – уже не заденет. Ценой жизни одного и свободы другого мне оставлены жизнь и свобода – было мое убеждение после всего происшедшего.

Мне не надо было давать обет продолжать свое дело – я продолжал бы его при всех условиях. Со временем моя невидимость стала обретать заметные контуры в глазах близких друзей, правда, и времена становились иными. Меня знали как автора "Черной книги" ("Посев", 1978; новое полное издание М. "Столица", 1991), как автора рассказов и очерков о северорусских святым, публиковавшихся в "Континенте" между 1980–1986 гг. Но про "Вельского" почти никто не знал и, надеюсь, лишь теперь узнает из этого признания.

Май 1992 г.

Поэзии транзитный пассажир

Перемены в России коснулись самых разнообразных сфер жизни, и если я пишу о ситуации в поэзии, то это не потому, что она находится в таком же кризисе, как и страна в целом, и, можно подумать, нуждается в помощи. И не потому, что, будучи поэтесса, попадаю в какую-то зависимость от этих новых обстоятельств. Скорее наоборот, прожив в Нью-Йорке целую дюжину лет и основательно порастеряв свои "восточно-европейские" как политические, так и эстетические обоснования, замечая, что и в России сходным образом, судя по публикациям новых авторов, начинает осваиваться какое-то новое мироощущение. Условия для него складывались давно, но только вследствие усилий, предпринимаемых сторонниками гласности, стал очевидным довольно значительный сдвиг, что относится равно к умонастроениям и к средствам массовой печати. С осторожностью приступая к такому тонкому предмету как поэзия, приходится иметь в виду, что какой стороны российской жизни сейчас ни коснись, открывается довольно болезненная картина. В поэзии это заметно не менее, чем в прочих сферах, поскольку одним из свойств ее является способность распознавать, собирать, словно в фокусе, и формулировать проблемы индивидуальные и общие, касающиеся всех. Разумеется, поэзия это всего лишь один из такого рода способов. Тем не

менее именно в России, где таковая форма выражения является традиционно весьма влиятельным элементом культуры, в настоящее время прослеживаются чрезвычайно многообещающие процессы. Предлагая в данном случае какой-то иной подход к их рассмотрению, я делаю это не потому, что он нов, но потому, что о нем еще не пишут, т. е. он как бы неизвестен.

Так же, как в других областях культуры, мы наблюдаем в текущей периодике сосуществование старых знакомых и новых имен, неизвестных ни читателю, ни специалистам, под последними я понимаю, в первую очередь, поэтов самих, численностью и разнообразием сравнимых с американскими; а также критиков и, в силу обеднения централизованной кормушки, несколько поредевшие окололитературные круги. Многочисленные публикации новых и неизвестных поэтов появляются в периодических изданиях, в свою очередь умножающихся за счет маленьких частных или кооперативных издательств с такой скоростью, что даже самый заинтересованный читатель не успевает уследить за этой стихотворческой лавиной. Не помогает делу и обращение за помощью к коллегам, ни к недавно переехавшим на жительство в США, ни к визитерам из отечества, поскольку наборы имен, ими называемых, отличаются один от другого до такой степени, что какие-то имена если и повторяются в них, то разве что в редких случаях. Возникшее на фоне исторического и литературного прошлого с непременно сопутствующим ему эпитетом "великое" столь множественное число поэтов свидетельствует само по себе о том, что какая-то демократизация и в самом деле имеет место.

Во всяком случае, американскому поэту таковая количественная ситуация давно и хорошо знакома. Другое дело, как он внутри этого явления

выживает. С феноменом количества в данном случае ничего не поделаешь, хотя поначалу мне казалось, что поделаться с этим что-то совершенно необходимо, однако попытки применения прежних, привезенных с собою в конце 70-х годов из Союза, мерок не соответствовали параметрам местной реальности, так что пришлось с ними постепенно расставаться. Само собой разумеется, хороших поэтов много не бывает. С другой стороны, как называть тех многочисленных, которых невозможно квалифицировать как "хороших", являются ли они в силу разницы с ними "плохими"? Подходя к вопросу академически, т. е. способом, которому поэты обыкновенно противятся, приходится признать, что во все времена существовали поэты "крупные" и помельче. Русскоязычная поэзия в этом плане мало чем отличалась от английской, китайской, немецкой, польской, французской, хинди, японской или других культур, в которых во все времена имелся довольно толстый слой начинки, образованной стихослагателями. (Под последними понимаю тех, у кого пристрастие к этому занятию, обычно возникающее в юности, не прошло с возрастом. В качестве реплики в сторону замечу, что именно этого-то я от себя и ожидала в молодости, и с каждым новым стихотворением все больше удивлялась, что этого не происходит. Вообще говоря, окончательно привыкнуть к этому занятию, по-моему, невозможно.)

После вечеринки у Аполлинера, где "толпу" составляли поэты, Гертруда Штейн написала, что множественного числа поэтов не бывает. В наше время это не только "бывает", но и наблюдается повсеместно и глобально. В конце концов мне стало казаться, что эта наша российская инфантильная беспомощность в государственном масштабе, подростковая привязанность к абсолютам и к максималистским оценкам мешает нам принять этот

факт как есть. Не последним обстоятельством, вследствие которого это явление еще не признано, является то, что среди новых имен в российской поэзии не присутствует, как это бывало прежде, одного-другого "великого". Отсутствие сего первого и главного, победителя заезда или на коне генерала армии поэтов выявляет не столько нефункционирующую более шкалу оценки, сколько то, что измерять ею более нечего: иерархия разрушена.

Как после землетрясения, в России происходит перемещение ценностных геологических слоев. Обнаружились несколько непривычные условия существования: прежняя система мер не имеет хождения, некого принять за образец и некому поклоняться, так что приходится полагаться на собственные только возможности, что в стране запрещенной в течение 70-ти лет частной инициативы есть дело вполне непростое. Каждый, причем буквально, поэтов включая, стоит перед необходимостью решать самому и самой за себя, а этого-то мы и не умеем. Исчезновение централизации само по себе уравнивает возможности и тем самым их как бы усредняет. Остается добавить, что в этом смысле положение и в политике, и в экономике, и во всей культуре чрезвычайно сходное. Так что происходящее в поэзии есть лишь малая часть этого общего процесса.

Новая ситуация возникла в том поколении, зрелость которого пришлось на времена перестройки. Надо сказать, что говорить мне о нем легче, чем о каком-либо ином, поскольку это есть и мое поколение. Его возраст 40 плюс-минус 5; условно его можно назвать "послевоенным" в отличие от предыдущего, детство которого пришлось на годы войны. Те вступали в литературу совсем молодыми в конце 50-х - начале 60-х годов, почти чудом возникнув на фоне закатывающегося соцреализма,

они-то его и доконали. Нам же воевать, на первых порах казалось, было совершенно не с кем и, словно детям с замедленным развитием, выпало ожидание длиною в четверть века. Рожденные стоять в очередях, мы относились к этому довольно безропотно, однако только до того момента, когда для нас образовалось пространство.

Несколько упрощая, можно сказать, что в Москве выход на свет предыдущего поколения состоялся через — понятно какой организацией — гостеприимно распахнутые двери Бюро пропаганды литературы (название, от смысла которого коленки слабеют и сейчас). Мировая слава, обрушившаяся на Пастернака с новой силой после присуждения ему Нобелевской премии, и последовавшее его отступничество, возможно, сыграли свою роль в их выборе. Эти находчивые молодые люди в дополнение ко всем выпавшим на их долю благам, изо всех сил хотели быть модернистами и это им замечательно удавалось. Они публиковали по книге в год, выступали с чтением стихов на стадионах и, зарабатывая на одной только поэзии — дело немыслимое ни в каком другом государстве, кроме страны счастливого детства и централизованной литературы — стали ее золотой молодежью. В их стихах звучало, хотя и умело замаскированное, но слышимое ясно, строго дозированное и санкционированное сверху подобие свободы, свидетельствующее о самых тщательных, вроде военной тайны, попытках скрыть ее ограничения. Что не без помощи переводчиков виртуозно до поры до времени удавалось, и что съели Штаты и Западная Европа с большим аппетитом.

В Питере дело происходило на ином фоне: открывшейся многомиллионной братской могилы жертв режима, на краю которой стояла легендарная Ахматова, самый голос которой звучал как реквием. В качестве реакции на столичный и об-

скакавший их в официальном порядке модернизм здесь произошло заражение классицизмом. Стилистический этот вирус распространял не столько архитектурный ансамбль, внутри которого те юноши произрастали, сколько желание реабилитации и легализации его в чистом виде, без дешевых соцреалистических примесей. Отсюда их прямое участие в процессе возвращения к жизни и реставрации дореволюционной культуры. Они-то и составили литературный андеграунд; их не печатали, они были неимущими и невыездными. Обездоленность и обойденность слышны в мотивах их самых ранних стихотворных опусов. Первый из них, не ставший отступником, вернувшийся в середине 60-х годов после двухлетней ссылки Бродский был интеллектуальным лидером этого поколения.

Разумеется, и в Москве были свои диссиденты, а в Ленинграде свои конформисты и пай-мальчики, но если я позволяю себе несколько схематизировать, то только для того, чтобы сказать, что эти два лагеря поделили территорию русской поэзии без остатка и очень надолго. Их конфронтация, начавшаяся в 60-е годы, продолжается и по сей день, и пока что незаметно какого бы то ни было их сближения, ни взаимной симпатии. Потому-то в России никого не удивил тот факт, что прием Евтушенко в Академию американских поэтов повлек за собой немедленный выход из оной Бродского. Их невозможно было представить членами одного и того же, пусть даже и столь "потустороннего", института. Сия бойцовая непримиримость не распространялась, впрочем, на Беллу Ахмадулину, что соответствует куртуазности мужской культуры в целом, российской, в частности: к даме позволено отношение куда более снисходительное.

Так или иначе, но последующему поколению поэтов просто долго не находилось места за отсут-

ствием той нейтральной грядки, на которой можно было бы взойти. Результатом отсутствия этого хотя бы самого минимального пространства является их позднее появление на свет как личностное, так, естественно, и творческое. Предыдущему поколению в определенном отношении было гораздо проще: им казалось, что перед ними раскинулась необозримая и никем прежде не заселенная пустошь. Перед нами же стоял непроходимый лес имен; тех, почти тотемистических фигур русского Серебряного века, и этих, еще молодых, но уже очень знаменитых. Это "опоздание", как ни странно, кажется мне теперь, по истечении времени, фактором, нам безусловно благоприятствовавшим. Ибо оно не только уменьшило количество исписанных страниц и совершенных на них ошибок, но, что важнее, оно позволило нам углубиться в себя и дорасти до собственной зрелости, причем, неизуродованными публичным вниманием. Во всяком случае, в настоящее время наблюдается чрезвычайно интенсивный рост того круга поэтов, которые оба лагеря в предыдущем поколении склонны были считать "несуществующим", — возможно, это был выбор эвфемизма, избавившего их от необходимости квалифицировать нас как "плохих".

Меньше всего мне хотелось бы здесь излагать историю современной русской поэзии, но без знакомства с ее основными координатами невозможно понять тот новый контекст, который исподволь давно в ней нарастал, но проявился публично не ранее и вследствие перестроечной эры. Немаловажно и то, что это новое, вышедшее наконец-то наружу поколение не имело территории не только в советской официальной литературе, но и в неофициальной, в самиздате, например; а также то, что оно и вообще-то не участвовало ни в политике и не занималось какой-либо карьерой, включая писа-

тельскую. Окончив или побросав университеты-институты, они, как правило, находили себе службу типа профессии ночного сторожа, на чем их социальные амбиции заканчивались. Что касается политики, то официальная идеология была скомпрометирована в наших глазах полностью уже вторжением в Венгрию в 1956-м, после чего никаких иных чувств, кроме молчаливой ненависти и желания устраниваться, у нашего поколения к властям не было.

Диссиденты и правозащитники вызывали наше молчаливое восхищение, но – и если я ошибаюсь, то ненамного – никакой готовности украшать своим присутствием скамью подсудимых в зале суда, принимающего свои постановления согласно "самому гуманному в мире" кодексу законов, ни идти по милости тоталитарных троглодитов в их многочисленные тюрьмы у нас не было. Общественный героизм к концу 60-х годов заметно выдохся. Страсть к самопожертвованию во имя каких бы то ни было идеалов нашему поколению вообще была не характерна; если чего-то и было в моем поколении больше, так это алкоголизма, что действительно стало национальной трагедией. Реалии жизни в 70-е годы постепенно установились таким образом, что они требовали очень экономного расходования душевных движений такого рода, будучи постоянно используемы по мелочам на повседневном уровне. Регулярное и обязательное посещение политинформаций, сдача экзаменов по идеологическим предметам и прочие будничные требования режима, а также вполне "на высоком художественном уровне" эксплуатация собственных возможностей для доставания самого необходимого: еды, одежды и даже книжек – того и гляди грозили превратить человека в активного коллаборанта с властями. Так что в силу желания сохранить хотя бы свою

личную порядочность человек не мог остаться вне диссидентской деятельности, пускай на уровне пассивном. Не говоря уже о том, что у многих появились дети, а растить их, сидя в тюрьме, как бы "по-женски" ни звучал этот довод, понятно, невозможно, так что выбор был произведен. После вторжения в Чехословакию ничего, кроме стыда быть гражданином собственной родины, мы не испытывали. Об этом писали многие. По-видимому, это подавленное и глубоко запрятанное гражданское сознание послужило толчком к тому, что именно это поколение превратилось в перестроечные времена из самых "аполитических" в самое политическое, точнее, из самых фаталистических в самых активных. В нем не услышишь никаких поэтических претензий на то, чтобы воспроизводить "голос народа" или быть голосом из "народа", они и есть народ, толпа, которая ощущает политику и экономику собственным горбом.

Стоило их первым публикациям появиться в печати, как тут же и выяснилось, что этому поколению свойственно совершенно иное мироощущение, чем предыдущему, хотя в юности мы идентифицировали себя с ним полностью, как со старшим братом. (Позволим себе опустить замечание о чисто оруэлловском звучании этого сравнения, ему еще предстоит прозвучать в будущем.) Во всяком случае, оценки предыдущего поколения превалировали в нашем сознании, самообразовании и поведении, выстроив нашу систему ценностей. 60-е годы, надо сказать, были во многих странах временем повального увлечения поэзией. Такие моменты, когда стихи не просто читают и пишут, но это становится как бы предметом первой необходимости, случаются в истории. Наше поколение начало читать стихи в таком нежном подростковом возрасте, когда эта страсть никоим образом не могла проис-

ходить из "образованности", скорее наоборот, тяга к образованию этой страсти обязана. Поэзия, похоже, действительно обладает особыми средствами коммуникации, чтобы наэлектризовывать юные души; отсюда последующие громы и молнии.

Желание высказаться возникает, вообще говоря, безотносительно к эстетике. Поколение предыдущее в этом поголовно со мною не согласится, ибо они росли либо законченными эскапистами с имперским – в советском варианте, т. е. крайне заниженного стардарта – "элитарным сознанием эстетов", либо тяготая к образу "площадного поэта" типа Маяковского, разрывавшегося между хорошо оплачиваемой позицией профессионального пропагандиста и не имевшего права на существование в глазах его работодателей лирического героя. В силу хронологии наших дат рождения мы начали читать их стихи и стихи наших общих кумиров одновременно. Ни в какое сравнение те молодые поэты с Цветаевой, Мандельштамом, Ахматовой и Пастернаком не шли. На том имперском пиру они казались самозванцами. Бродский, хоть и в роли парвеню, представлял им как бы младшую ровню. Чем больше мы узнавали о них, мертвых, и чем большее поклонение они у нас вызывали, тем более оно распространялось на него, живого.

Мироощущение моего поколения связано с послевоенным периодом наших детств, тогда как у предыдущего мир разделялся на "наших" и реальных "врагов", в нем присутствовал осязаемый страх смерти, а взаимоотношения между людьми подменялись субординацией старшему по чину или по возрасту, дисциплиной и презрением к слабостям, большую часть которых составляют, судя по всему, человеческие эмоции. Их поколение есть последний остаток и прямое производное войны, до сих пор остро ощущаемое. Стоит иметь в виду, что

российское общество, хотя и живет с хрущевских времен в пост-гутенберговское, как говорила Ахматова, время, оно, тем не менее, существует в эпоху дофрейдовскую. Отсюда травмы как личные, так и коллективные, будучи пока не диагностированы, все еще при нас. Отсюда же и мотивы творчества поэтов того поколения, звучащие подчас как описание синдрома травмированного сознания. Тотальное неутоляемое одиночество, установка на грандиозные величины, в том числе в плане личных качеств, всеразъедающая самоирония, разрушение эмоции и замещение ее идеализированным сентиментом, абстрагирование отношений даже с предметом страсти и в то же самое время страсть к обобщениям, категорическим тем более, чем более блеск фразы с помощью чрезвычайно податливого русского синтаксиса тщится это скрыть. Дальнорукость по отношению к детали сочетается у них с нарциссической аберрацией зрения на расстоянии вытянутой руки, а частота словоупотребления, связанного с временем и пространством, конкурирует в их стихотворениях только с одной темой: ожидания собственного конца. Разумеется, это было предсказуемой реакцией на почти маниакальный оптимизм, которым их наспиговывали в детстве, возможно поэтому это "умирание" не менее монументально, чем в каноне соцреализма полагалось быть оптимистическому жизнеутверждению. На более глубоком психологическом уровне такое как бы смерте-утверждение выдает само по себе подростковое, недопережитое ими ощущение экзистенциального конца.

В период роста моего поколения мы находились от перечисленных выше мотивов в полнейшем восторге, что грозило бы перейти в затяжную форму, если бы – благодаря исторической паузе периода загнивания – мы не доросли до собственной зре-

лости и не открыли, что такое мироощущение нам совершенно чуждо. Начала сказываться разница между нами, существенная и все глубже осознаваемая. Во-первых, стало понятно, что одиночество — это нормальное состояние взрослого человека и что разрушение эмоции свидетельствует об отсутствии коммуникации с другим человеком. В нашем сознании произошли какие-то сдвиги в этом плане в явно положительном направлении. Затем видно стало, что за счет такого драматического умирания, безотказно вызывающего, как бы в качестве вознаграждения, массовый сочувствующий всхлип, происходило довольно успешное выживание в плане успехов личных и социальных. Этого никак невозможно было не заметить, но что удивительно, так это то, что восприятие жизни, свойственное "мирному" поколению, привело его к тому, что оно стало с возрастом принимать и естественный конец жизни, поэтому дидактикой смерти запугать или давить на нас стало невозможно, ни тем более восхищать нас ею, преподнесенной даже со столь академическим пафосом. Уж до этого-то мы додемократизировались: до понимания, что смертен — каждый.

Разумеется, державным и иерархическим своим характером русская поэзия обязана основательно чувствующимися в ней остатками недопережитого и тем самым неизжитого романтизма. Какими бы заржавелыми ни выглядели его амуниция и эмоциональные апофеозы, они не могли не прельстить сердца молодежи, выросшей в стране запрещенного индивидуализма. Не потому ли голоса новоявленных олимпийцев, парнасцев или "золоторотцев", вещающих откуда-то сверху, пеняющих "толпе" за свои поэтические горести и обзирающих эту толпу как человеческий муравейник, чрезвычайно всех привлекал в 60-е годы. Именно

такой поэт, герой улицы или надевающий "классические" маски, то ли для устрашения, как варварский воин, то ли для неузнаваемости с целью создания собственного мифа, который обыкновенно, как мы знаем, довольно сознательно эксплуатируется для того, чтобы, напуская туману, скрыть нечто о самом авторе, импонирует тогда читающей публике. По всей видимости, мы долго отождествляли себя именно с такой моделью поэта и с таким его видением мира соглашались; но много изменилось со временем: и самый мир, и мы сами. Почва под ногами для такой модели исчезла, в результате чего такой образ поэта потерял свою ценность и перестал ощущаться как невинный или безвредный; а ведь именно этого, как минимум, качества, как от врача, от поэзии ожидаешь.

Тоталитарная психозстетика, в которой выросло старшее поколение поэтов, строжайшим образом соблюдала установленную иерархию и канон. Сила ее в том-то и заключалась, что ей удалось распространиться на все сферы человеческой деятельности, будь то игра на фортепиано, выращивание пшеницы или освоение космоса. И, видимо, не случайно во времена великих тиранов рождаются великие поэты. Механизм поклонения работает в этом случае хотя и поляризованно, но одинаково; он нацелен на "великого": поэта ли, тирана ли. Александру Блоку, например, поэту-символисту начала XX века, досталось такое тотальное, почти с фанатическим трепетом, поклонение современников. Русская интеллигенция, в других случаях очень внимательная к таковым проявлениям, закрыла глаза как на его, желающего скрыть свое еврейское по отцу происхождение, антисемитские высказывания, так и на якобы слышимую ему — вполне возможно в периоды запоев — "музыку революции". Его младшие современницы, Цветаева и

Ахматова, обе чрезвычайно зоркие и чуткие по отношению к такого рода вопросам, оставались верны своему кумиру до конца жизни. Ахматова и четверть века после его смерти поминала в своих стихах "разбойный посвист молодого Блока". Что говорит в их контексте не столько о верности себе, сколько о верности иерархии.

Отношения между искусством и нравственными понятиями – тема куда более широкая, чем состояние современной русской поэзии. Скажу только, что лишь мы, российские жители, да немцы, заучивая наизусть в школе, знаем километры стихотворений наизусть и при их чтении вслух, что характерно, смахиваем слезы. При этом лишь мы и немцы в этом веке ухитрились укокошить такое количество как своего, так и чужого народонаселения, так что гордиться нам совершенно нечем. Неудивительно также, что именно в истории двух наших народов такие заурядные и банальные психопаты, как Гитлер и Сталин, назывались "гениями" и "отцами народов", их мания величия поощрялась целыми народами. Роль шизофрении в истории есть довольно хлебная тема для исследователя. Кстати, о гениях. До романтизма это понятие употреблялось в ином значении, чем, скажем, после Ницше. Место художника в обществе не подвергалось столь пыточному сомнению, само по себе наличие художника в нем с доисторических времен естественно устанавливало его законорожденность, закрепляя за ним функцию некоей интеллектуальной надобности, интеллектуального развлечения. Творчество, между прочим, включено в порядок мироздания, а, следовательно, в нем отведено место художнику, поэту, как и всем остальным людям.

(Позволю себе в скобках заметить, что я не разделяю мнения тех, кто считает, что творческий импульс исходит из таланта, мне думается, что он

исходит из инстинкта выживания, поэтому, вероятно, в нашу термоядерную эпоху, когда для осуществления конца света не требуется более даже идеи о Божьей каре, так много людей, безотносительно к наличию таланта или профессионализма, пытаются творить. Как это у них получается, совершенно не мое дело. Единственное, что, основываясь на опыте, могу сказать, что "чисто коммерческий" подход, с которым принято связывать американский рынок искусства, и "чисто эстетический", который приписывается европейским оценкам, совершает одинаковое количество ошибок во времени.) Что же касается романтизма, то он пробовал наделять художника сверхчеловеческими, мистическими или магическими качествами, однако преуспел лишь в том, что открыл некоторым личностям более широкий путь к фрондированию, эпатированию, презрению к толпе и негодованию по поводу невнимания к ним рынка. Мягко говоря, жить, принимая условия таковых гениев, столь же некомфортabelно, как и принимая условия тиранов. В обоих случаях это означает принятие навязанного ими условия признания их чисто человеческого превосходства и, следовательно, попадание в придворную атмосферу сервилизма, лакейства, фаворитизма, зависимости от их похвалы или порицания, письменного или устного, и от их постоянного – на публику – показа, кто здесь начальник. Актуально, в конце концов, то, что в этом плане наше поколение чрезвычайно везучее: его "демократически" оставили без гения, без лидера и без вождя.

Субординация, столь свойственная российской истории по всем измерениям, вообще говоря, не лишена садомазохистского комплекса; ощущение собственной неполноценности ведет к поддерживанию у другого комплекса превосходства, и одно не осуществляется без другого. С психоаналитическим

подходом, впрочем, придется в России некоторое время подождать за неимением такового предмета как в теоретическом, так и в практическом приложении. По правде сказать, я замечаю, что никто там в подсознание еще не верит. Моя задача, впрочем, заключается вовсе не в том, чтобы забираться в социальную психологию, хотя именно гипертрофированное значение, придаваемое в России искусству и литературе, поэзии, в частности, правомочно было бы рассматривать в рамках этой науки.

Для наглядности стоит привести два пока что незыблемых там постулата, или, если такое определение покажется более точным, клише. Там, например, все еще считают, что гений создает собственный контекст. Эта идея, отторгающая художника от действительности, навязывает ему задачу абсолютно непосильную, к тому же не имеющую прецедента. Кроме того, художник и сам-то себе такой задачи не ставил никогда, ибо в создании контекста времени обычно задействованы немалые социальные силы; единственное, что художнику удавалось, так это быть этому контексту адекватным, и чем лучше у него это получалось, тем более долгая жизнь была его произведениям суждена. Далее, там верят в то, что гениями не становятся, ими рождаются. По этому поводу существует довольно обширная библиография на английском и других языках, превращающая это клише в далеко не бескорыстный со стороны художника блеф. Замечу, кстати, что это решение "стать великим", "стать гением" приходит обычно в ранней юности и более, чем о каких бы то ни было иных резонах или предполагаемых в будущем привилегиях, оно свидетельствует о психической нестабильности, свойственной непосредственно этому возрасту. Что касается нашего поколения, то его долгое пребывание внутри собственной раковины и чрезвычайно по-

степенный рост от принятия вышеописанных решений его избавили.

В приложении к поэту или к любому иному лицу, но хочется также остановиться на эпитетах "великий" и "малый". Русская проза XIX века была крайне озабочена судьбой так называемого "маленького человека", т. е. человека неродовитого, небогатого, зарабатывающего на жизнь своим трудом. Тема эта присутствует уже в повестях Пушкина и безусловно свидетельствует о гуманистической направленности его стараний всмотреться в жизнь человека, затерянного в ней на фоне самодержавной пирамиды. Эту тему не обошел ни один из русских прозаиков прошлого века: Гоголь, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Толстой, Чехов и Бунин. В нашем веке, можно сказать, сюжет исчерпался, кризис жанра налицо. XX век массового уничтожения, войн, революций, погромов, лагерей, пыток, газовых камер и прочих катастроф покончил с этими категориями: "человек великий", "человек маленький". Они остались в довоенном времени как предмет изучения истории. Перед лицом современной технологии уничтожения нет более ни тех, ни других, люди в таких обстоятельствах оказались равными по величине. Не этот ли факт привел к тому, что нигде в мире более нет ни "великих писателей" и "великих литератур", ни грандиозных покушений на великие социальные задачи; и те и другие, к счастью, оставили мир на некоторое время, ибо это одного поля ягоды. К тому же, человеку в наше время приходится иметь дело с проблемами, безотносительными к той прежней шкале измерения. Поэзия, надо сказать, и вообще-то не самоцель, а в этих условиях особенно, и тот, кто содействует выживанию цивилизации или с наименьшими потерями переходу ее в следующую фазу, тот, в конце концов, и является настоящим художником.

Надо признать, что новое поколение российских поэтов чрезвычайно смущало бы существование в категориях "великого и малого". Не случайно мы явились непосредственными свидетелями того, как временем стираются эпитеты превосходной степени. В целом, эта тяга к величию, к славе, к награде отдает какими-то трубами-фанфарами чужого детства, не нашего. В нашем поколении поэтому прижилось прилагательное "нормальный", описывающее самые разнообразные явления, а в приложении к слову "поэт" оно, похоже, интуитивно набрело на терапевтическое средство. Без какового русской поэзии грозит столь же бедственное состояние, как и экономике или политике; параноидальная забота о литературе и искусстве, свойственная империям, на этом фоне вообще неуместна. К слову сказать, знаменитости дело не спасают, но лишь подчеркивают плачевность данной ситуации.

Есть одна причина, довольно редко обсуждаемая, способствовавшая эволюции отношения к поэзии в моем поколении. Специфика истории России XX века оказалась такова, что для возведения в сан святых она не оставила прямых кандидатур, возможно за астрономической вероятностью массовости последних. Канонизированными оказались поэты: Мандельштам-Цветаева-Ахматова-Пастернак звучало в нашей юности как молитва. К их строчкам прибегали как к высшей нравственной категории, цитируемой для доказательства правоты, со всем пылом неофитов. Они безусловно спасли наш язык. Можно даже, при этом не очень преувеличивая, утверждать, что мы отождествляли себя с ними. Отчасти наша инфантильность затянулась по причине почти ритуального характера наших им подпеваний. Кстати сказать, в отличие от нашего поколения, именно ощущение отсутствия каких бы то ни было "предков" способствовало раннему

творческому повзроslению поколения предыдущего. Так или иначе, но последнее десятилетие ввело в читательское обращение множество новых мемуарных источников и исследований как внутри, так и вне России, развенчавшее этих идолов и кумиров, превратив их из объектов культа в тех, кем они и были: в поэтов, не в ангелов, не в святых, в людей.

Этот процесс начался с книги Андрея Синявского "Прогулки с Пушкиным", очеловечившей бронзовую фигуру на постаменте. Назову лишь нескольких авторов, способствовавших деканонизации образов "поэтов-святых" в России: Лидия Чуковская "Записки об Анне Ахматовой"; Лазарь Флейшман "Пастернак в 30-е годы"; Эмма Герштейн "Новое о Мандельштаме" и, наконец, Вероника Лосская "Марина Цветаева в жизни". Нисколько не преуменьшая драматических, а подчас трагических, обстоятельств их судеб и одновременно с подтверждением блеска и обаяния их персонажей, в этих книгах разрушается множество мифов, решительно излечивающих читателя от иллюзий. Таковы, к примеру, легенды о бедности Цветаевой во Франции и Мандельштамов в ссылке, особенно непереносимых на фоне "коллективной" нищеты их незапамятных современников. Таковы же усилия Пастернака, пытавшегося создать алиби "истинного христианина" для демонстрации еще большей лояльности еврея по отношению к доминантной культуре. Викторианская же фигура Ахматовой при приближении отрезвляла окончательно. Не приходится напрягать воображение, чтобы представить ее в конце жизни, с театральным пафосом спускающую с лестницы, не знаю чем уж в ее глазах провинившуюся, 18-летнюю начинающую поэтессу Елену Шварц, так и оставшуюся под той, теперь уже символической лестницей, на всю жизнь. Как подобает дамам в дофеминизированных обще-

ствах, Ахматова попросту предпочитала юнцов мужского пола. Отсюда еретическая строчка Елены Игнатовой, написанной в 70-е годы и нашедшая отклик у столь многих, что превратилась в устойчивое сардоническое выражение: "Уже Ахматова мертва и раздражает отдаленно..."

Давно пора было бы назвать имена этих поэтов, но этого-то я как раз и не собираюсь делать, поскольку одно перечисление заняло бы не один абзац, и при этом наверняка кого-нибудь забудешь. И наоборот, возможно кто-то из мне известных взял да и перестал в это время писать стихи, перешел на прозу, в журналистику, в театр, в кино, в политику, в собес, в бизнес или просто занят зарабатыванием на пропитание так же, как и весь остальной народ. Снова для этого поколения складывается крайне невыгодная ситуация в плане снискания славы, добывания успеха и признания, особенно если учесть, что с имперской иерархией ценностей исчезает "надстроечное", надмирное местоположение художников и интеллектуалов. Попытки в нем удержаться равнялись бы цеплянию за привилегии или потугам на духовное избранничество, давно скомпрометированное, вышедшее из обихода и несостоятельностью своею равновеликое отечественным дензнакам. Еще важнее то, что, вопреки распространенному там мнению, такие категории, как вера, любовь или искусство, находятся не где-то вне нас, не в стороне от человеческих взаимоотношений и реалий бытия, но исключительно внутри них и только в них реализуя и материализуя свой духовный импульс. В противном случае, исчезая из системы коммуникаций между людьми, эти категории, как мы знаем, выбывают из реальности вообще. С чем приходится согласиться аксиоматически и эмпирически, ибо образующиеся на их месте пустоты имеют свойство замещаться массо-

выми психозами, фанатизмом, военным положением и прочими не раз случавшимися в истории человечества катаклизмами.

Что касается нового поколения поэтов, то внеиерархический характер их мироощущения организует какую-то новую систему коммуникаций внутри их стихотворений, пока что на самом для поэзии ценном, интимном уровне голосоведения. Таковые качества их словаря и интонации свидетельствуют о том, что они тяготеют к относительно глубокому уровню самоанализа и достигают его, результатом чего становится несколько более адекватный подход к реальности. Именно поэтому мне кажется, что этот лингвистический опыт оставит след в языке. Это новое поколение поэтов, о котором я пишу и к которому принадлежу сама, есть явление живое и растущее и, как все живое, оно изменчиво и не имеет застылой формы. Ни сами они о себе не знают, до чего им суждено дорасти, ни о том, какие открытия им предстоят на этом пути. Этого я не знаю и о самой себе тоже. Введенный в недоумение всем вышеизложенным, читатель может спросить, уж не имею ли я намерения спрятаться за эту эфемерную категорию под названием "поколение" и почему бы мне не писать только о себе самой, взяв тем самым ответственность за столь неортодоксальные для русского поэта мысли на свои плечи.

Ответить же ему можно таким образом, что мы все являемся, хотя и индивидуальными, но продуктами определенной культуры и что человеческая универсальность при этом нисколько не противоречит человеческой множественности. Это касается поэтов в той же степени, как и не поэтов; и уж если мое существование, причем на столь ошутимом географическом расстоянии, как оказалось, имеет место в этом, кажущемся многим загадоч-

ным, занятии писания стихотворений, то и все остальные "несуществующие", некоторая часть из которых есть мои личные знакомые, могут быть спокойны, по крайней мере, на этот счет: они существуют в поэзии тоже.

Существенным моментом отличия моего поколения мне представляется то, что оно никогда – вплоть до самого недавнего времени – не дорывалось печататься. Во-первых, потому, что опыт неопубликованности текстов уже закрепился в сознании нескольких поколений русских поэтов и читателей и интерпретируется скорее как положительная характеристика поэта. А во-вторых, то, что стало известно на Западе сравнительно недавно, а нам было известно, кажется, от рождения, что акция опубликования неизбежно была связана с пересечением с цензурой, т. е. с КГБ, институтом, которого мы всячески сторонились. Нам всем приходилось с детства уступать идеологии в определенных пределах, хотя бы уплатой профсоюзных взносов или по долгу службы сидением на собраниях, набрав в рот воды. Если мы в чем-то и преуспели, так это в искусстве уклоняться от вездесущности властей, и приближаться к ним, тем более добровольно, никто желания не испытывал. Годами мое поколение было занято чтением самиздата и разговариванием с друзьями на кухне, что и выстраивало в свою очередь во внутреннем мире и в мире творческом довольно просторный интерьер, который обнаружился в недавно опубликованных текстах. Многолетняя невозможность выхода в печать превратила нас, в отличие от экстрровертов предыдущего поколения, в закоренелых интровертов, она же, однако, освободила от необходимости писать между строк, прибегать к иносказаниям и закапываться в эзоповские приемы. Описываемые характеристики зажима свободы творчества пре-

дыдущее поколение литераторов почему-то склонно было рассматривать как дополнительный импульс к творчеству, наподобие каторжан, пытавшихся извлечь положительные эмоции из факта ношения кандалов. Популярная в предыдущем поколении мысль, которую приходится слышать с одинаковой частотой, как от восточно-, так и западноевропейских умников, что, мол, цензура создает метафору, все чаще кажется мне продуктом имперско-тоталитарного развращенного мышления. Новому поколению поэтов несвойственна также и позиция парвеню, ибо им просто некуда было выбиваться. О какой элите можно всерьез говорить в рамках тоталитаризма — о номенклатуре партийного эстаблишмента, о "шикарных" замашках снобов, назначенных служить интеллигенции? На мой взгляд, замечательной превентивной мерой являлось отсутствие в анамнезе нашего поколения комплекса принадлежности, в том числе к каким бы то ни было отечественным "художественным кругам".

В голосах поэтов нового поколения слышна тяга к целостному мировосприятию, к органической космогеничности бытия, возникшей вслед постмодернизму. Это поэзия нутряная, исходящая из собственного первого лица, обходящаяся без маски, тяжеловесной аллегории, ссылок на античность, на восточную лирику или западные образцы. Это произошло не столько потому, что они знают на собственном опыте, что образование есть дело наживное, сколько потому, что эти прежние образцы, уже порядком поэзией XX века поизрасходованные, не срабатывают более, заставляя искать иные средства. В их языке нет свойственного предыдущему поколению лингвистического ерзанья от патетики музейных гипсов XVIII века до жаргона парий, поэтому они меньше фальшивят на модуля-

циях. Не знаю, по какой причине и, как бы универсально это ни звучало, уж не желание ли человека выжить в эпоху глобального разрушения экологии в этом повинно? — но этих поэтов занимает исследование, происхождение и созидание положительных эмоций, каковыми во всяком случае владеть труднее, чем отрицательными. Замечу, что это первый случай в России, когда язык, претерпевший после-революционный период истории, сплавился в единую массу, неразделенную образовательным цензом на сословия, ибо на нас окончилось социальное неравенство в прежнем виде, возможно поэтому и способ выражения превратился в значительно менее эклектичный. Эти новые свойства языковой материи привели к замечательному разнообразию современного русского стихосложения; достаточно упомянуть вышедшую в прошлом году в Москве более чем семисотстраничную "Антологию современного русского верлибра", в списке авторов которой насчитывается более трехсот имен.

Характерно, что примерно половина этих имен свидетельствует о нерусском происхождении их авторов; встречаются фамилии украинского, польского, татарского, грузинского, армянского, немецкого, еврейского, казахского и, не будучи экспертом ни в национальном вопросе, ни в науке об именах, я просто не решаюсь продолжать. Касаться темы национальных меньшинств, часть которых количественно лишь немногим уступает национальному большинству, в России есть дело чрезвычайно рискованное. Находя поддержку в том хотя бы, что на страницах этой антологии имеет место мирное сосуществование народов без оспаривания границ и разного рода гражданской и военной недвижимости, и принадлежа и сама к такому меньшинству, остановлюсь на этой теме. Иногда мне кажется, что есть один народ на свете, который в

отличие от знающего о его существовании всего остального человечества, сам о себе понятия не имеет: это русские евреи. Всячески поддерживая национальное возрождение любого этноса, разве что оно заключается в самоутверждении за счет другого народа, и вовсе, разумеется, не будучи сторонником русификации какого бы то ни было народа, мне представляется все-таки необходимым осознавать, что родной язык человека часто не соответствует языку-оригиналу его этнической группы. Это явление встречается в мире повсеместно. Совершенно очевидно, что годы, прожитые мною в Америке, избавили меня от чувства неловкости в данном вопросе. Поэт пишет на родном языке, в данном случае русском, при этом часто русским по рождению не являясь, как, например, это было с большинством поэтов пушкинской среды, начиная с Пушкина самого, учитывая его эфиопского прадеда. Или с большей частью позднелатинских поэтов.

Мое собственное положение отличается от моих коллег-поэтов в отечестве тем, что моя действительность — это эмиграция. Питание здесь действительно лучше, тем не менее и несмотря на то, что как человек я живу в американской культуре, как поэт я продолжаю жить в культуре русской, точно в такой же, как и они. То есть в культуре, где преобладают "великие" устремления предыдущего поколения, равновеликие силе тирании, иначе, видимо, с нею невозможно было ни бороться, ни выживать художнику при прежней власти, а также чрезвычайно импонирующие ему понятия элитарного эстетства, оборачивающиеся в демократической культуре карикатурой. В силу таковых обстоятельств можно сказать, что далеко я не уехала. Тем более не странно, что обе книги моих стихов вышли, во-первых, вовсе не в Штатах, по месту жительства, но в Париже, в издательстве "Синтаксис"; а во-вто-

рых, это произошло сравнительно недавно, во второй половине 80-х годов. Так же точно, как и многим другим поэтам моего поколения, мне удалось опубликовать впервые результаты порой 20-летнего творчества, а также познания себя, переваривания опыта поэзии других, преодоления собственной низкой самооценки и неуверенности в себе, усугубленной существованием на фоне гигантских памятников "отцам пещеры" поэзии. Плюс парализовавший магнетизм образа некоего духа-изгнанника, покинувшего пределы отечества именно тогда, когда мы только начинали свои первые опыты в стихосложении, и полностью монополизировавшего эту сферу.

Возможно, действительно, русскоязычным архетипом модели постмодернизма, построенной на развитии цитаты, на фрагментарном мироощущении и на сознании обломка, является Иосиф Бродский, оттого-то многим сейчас кажется, что он есть "последний из великих". Мысль эта сама по себе однако есть плод постмодернистический и продолжить ее с целью создания более целостной картины можно в том направлении, что крупные слитки находят не на пустом месте, но внутри золотой жилы. Добавим к этому, что в русскоязычной поэзии наблюдается в настоящее время нечто вроде золотой лихорадки, прирост капитала с которой, надеюсь, нам с вами предстоит читать в обозримом будущем. На фоне происходящего Бродский на наших глазах превращается в рядового поэта и человека, что вызвано отнюдь не личными его стремлениями к скромности, но опять-таки осязаемыми изменениями в культурном климате России. Время, как это ему и свойственно, сбросив на ходу залежавшееся ветхое клише, обогнало поэта. В результате чего высказывания последних лет, что Бродского, что Евтушенко, стали звучать совершенно идентично.

– Меня не оставляет ощущение, что для всего "поколения Бродского" стать поэтом-художником представлялось необходимостью, без которой их существование было неполным, даже как бы человечески-неполноценным. Меня же эта установка на "стать великим поэтом" никогда не привлекала, не казалась мне резонан, достойным того, чтобы о нем заботиться. В юности, когда я только начинала писать, менее всего хотелось мне быть поэтом, поскольку в России это как бы само собой предполагало исключение тебя из среды просто людей, на что я совершенно была не согласна. Мною двигали иные импульсы, побуждавшие писать, чтобы зафиксировать свои мысли и тем самым превратиться именно не-в-поэта, но в человека более состоятельного, на что-то способного. Вживание в иную культуру и жизнь в Штатах излечили меня от этого мифа поэта-сверхчеловека, свидетельствующего более всего о склонности к мании величия как самих представителей этого занятия, так и среды их обитания. Единственное, чем я могла бы поделиться с соотечественниками, это опытом транзитного состояния при переходе из одной культуры в другую, который я проделала и над каковой проблемой они и сами стоят и ломают себе головы в данный момент. Что происходит с человеком, попавшим из прежних отечественных условий и представлений в культуру демократическую, свободного предпринимательства, этнического и всякого иного плюрализма, включающего двуполость человечества, присутствие критериев не единственно мужских, и при этом на всех уровнях *несовершенную и небезконфликтную* – об этом я и пишу новую книгу. Мне хотелось бы, разумеется, увидеть ее опубликованной на этой земле по-английски, но сначала я предполагаю издать ее на языке оригинала, в России.

Нью-Йорк, 1992

Гражданская война и семья Клокачевых

*От публикатора**

Адресат - на бронепоезде

Пачки этих писем, аккуратно перевязанные и сложенные в стопки в хронологическом порядке, попали к нам вместе с партией купленных книг. Вероятно, как это часто случается в эмиграции, наследники Дмитрия Модестовича Клокачева уже не говорили по-русски или просто мало интересовались историей своей семьи.

Первые письма датированы семнадцатым годом, потом - пробел. Три сестры Дмитрия Модестовича и мать пробираются на юг России, сам Дмитрий Клокачев попадает в Добровольческую армию.

Бронепоезд "Князь Пожарский", на котором начал свою службу Клокачев, входил в Третий бронепоездный дивизион Добровольческой армии, участвовал в военных действиях с марта 1919 года, при обороне Донецкого бассейна. Окончил боевую службу в январе 1920 года около станции Тирасполь. Клокачев вскоре переходит на службу на другой бронепоезд - "Слава офицеру" - легкий бронепоезд под командованием капитана Харьковцева. Он участвовал в боевых действиях с июля 1919 г. при наступлении по железнодорожной линии Харьков - Полтава, окончил боевую службу в марте 1920 г. при оставлении Белой армией Новороссийска.

Семья Клокачевых ушла в эмиграцию вместе с армией Врангеля. Дмитрий начал заниматься куплей-продажей редких книг, в чем преуспел. Обосновались они в Риме. Последние письма от родственников и знакомых из СССР датированы тридцатыми годами.

* Публикация и предисловие А. Окулова.

Просто семья, которых были тысячи – ушедших в эмиграцию в двадцатом году. Может быть, именно эта трагическая обыденность и делает публикацию этих писем уместной.

* * *

Ея Превосходительству
Александре Дмитриевне Клокачевой
Вас. Остров, 11-я линия, д. 52
Петроград, 28 ноября 1917 г.

Многоуважаемая Александра Дмитриевна,

Я звонила Вам, но все время получала ответ со станции: "звонок не звонит", "аппарат не в порядке".

Я хотела узнать, как вы все поживаете; где Митя? Будет ли панихида 1-го по Дяде? Где?

Мне очень хотелось бы поехать. Господи, что за время! И где конец? Я часто живу в Павловске, там тише.

А здесь... если вернешься домой цела и невредима – молебны надо служить.

Целую Вас, дорогая Александра Дмитриевна, и всю вашу милую семью.

До скорого свидания

Искренне любящая и преданная

З. Клокачева

Таганрог, вокзал,
бронепоезд "Князь Пожарский"
Д. М. Клокачеву

/.../ Впрочем, в наши дни разрухи оно, может быть, и лучше – не иметь семьи своей, меньше нравственных волнений, меньше за кого дрожать. Митя, родной, береги только себя, ведь понимаешь – все наши мысли только о тебе, а после того как мы узнали о твоих подвигах в военных делах за первые три месяца пребывания твоего на фронте ужасной гражданской войны, мы постоянно опасаемся за тебя! Как бы хотелось, чтобы скорее установилась

связь с Востоком. Ты понимаешь, это важно для меня только в силу стремления домой, туда, где Папина могила. Но и в силу чисто личных, эгоистических целей, ведь скоро год, что ничего не знаю от Муси из Одессы. /.../ Хотя бы сегодня от тебя было письмо, а то так страшно становится. Настроение какое-то тревожное, не мудрено после Мариуполя, ведь ты - так близко. Кажется, никакие танки не помогут, а что про них рассказывают - так это все газетная брехня. Что у вас слышно? /.../ Хотелось бы знать о твоей жизни более подробно - как ты устроился, каковы твои сослуживцы, хочется сказать "товарищи", как у вас вопрос со столом, в чем твоя работа? Антон Иванович, когда узнал, что ты на бронепоезде (последний раз на адресе я чуть не написала "броненосец"), очень удивился, что стал таким воинственным. Узнала от твоей невесты Пашеньки, что ее брат собирается все же на Аральское море - смотри, как бы не опередил тебя и не вышел раньше в наш родной город! /.../ Целую тебя крепко-крепко.

Надя

Ростов-на-Дону, 28.3.19.

От полковника Виктора Клокачева

Полевая почтовая контора № 2,
Бронепоезд "Князь Пожарский",
Дмитрию Модестовичу Клокачеву

Друг Дмитрий, после ряда мытарств - оставление Ростова в декабре 1918, эвакуации Одессы, которую французы продали большевикам, я попал в Новороссийск, а затем в Екатеринодар и состою здесь в должности воен. следователя. Ни о родных, ни о знакомых не знаю ничего, даже о сестре. /.../ Обо всем пережитом в письме, конечно, не скажешь. Даст Бог - увидимся. Если письмо до тебя дойдет - ответь по адресу: Екатеринодар, Главпочтамт, до востребования. Сколько времени останусь тут - не знаю, т. к. получил назначение на должность военно-морского следо-

вателя в Новороссийске. Сообщи, во-первых, о себе, во-вторых, - если знаешь, о наших родных и знакомых.

Твой брат Виктор Клокачев

10 мая 1919 г. Екатеринодар

Ростов-на-Дону
до востребования
Дмитрию Модестовичу Клокачеву
Кисловодск, 17 марта 1919

Удивительный ты человек, ну чего радуешься, что к Ростову двигаешься - ведь к Петрограду не ближе, а от нас все дальше. Ради Бога, будь осторожен, не рискуй. Когда мы за тобой двинемся, еще не знаем, может, за 2 дня соберемся, а может, застрянем, в зависимости от внешних и внутренних причин. /.../ Береги себя, будь осторожен.

Твоя Вера

Добровольческая полевая почтовая контора № 2
Бронепоезд "Князь Пожарский".
Поручику Дмитрию Модестовичу Клокачеву
Кисловодск, 23 мая 1919

Дорогой Митя, ты пишешь, что будешь в 15 верстах от Нерослевского воеводства - очень вы что-то вперед лезете, надо быть поосторожнее, а то страх за вас берет. Относительно денег - не беспокойся, напрасно ты думаешь, что мы в крайности, больше не будем займы продавать. /.../ Сегодня Мари привезла из Пятигорска 2 твоих старых открытки от 1 и 3 февраля 1918. Где они валялись - Бог его ведает, может, на какой-нибудь станции, которая теперь перешла в ваши руки? /.../ Что я теперь зарабатываю - пустяки сушие, на одну стирку не хватит. /.../ Нина, та сегодня мне пишет, что уже к осени надеется быть в Петрограде, а потом уже оттуда ехать за границу. Я, поло-

жим, таких радужных надежд не питаю и очень боюсь, что мы еще зиму здесь просидим. /.../ В газетах все пишут, что Петроград скоро падет, а он - все ни с места! Совершенная Вампука! /.../ Крепко, крепко целую

Твоя Вера

Добровольческая армия, Полевая почтовая контора № 2
Бронепоезд "Князь Пожарский".

Поручику Дмитрию Модестовичу Клокачеву

Кисловодск, 20 июня 1919

Дорогой Митя! Только по газетам знаем, что ты уже в Харькове. По правде сказать, когда ты говорил и писал, что собираешься туда, - я совершенно не верила, что твои мечты могут осуществиться. Воображаю, как ты счастлив, что несколько придвинулся к желанной цели. Дай вам Бог дальнейших успехов, но будьте осторожны - не зарывайтесь! Мы следим за вами по краткому путеводителю. Слава Богу, что взяли Царицын - только бы теперь удержать его! Оба этих пункта - большой шаг вперед! /.../ Вот уже полтора месяца прошло, как ты уехал... Не удивляйся, что по всем делам ходят Лида и Зина, я по утрам ежедневно занята по 4 часа - занимаюсь подготовкой детей в 3 и 4 класс. Это хорошо, что я занята, - меньше волнуюсь и нервничаю - некогда. Заработок небольшой по теперешним ценам - но лучше, чем ничего. Недавно я за перевод английской сказки получила 30 рублей. Жаль, что нельзя этим часто зарабатывать, - это приятнее уроков. /.../ Получил ли ты свои вещи в Таганроге? Дали ли вам английскую обмундировку или ты жаришься в старой рубашке?

Крепко, крепко целую

Твоя Вера

Добровольческая армия, 4-й бронепоездной дивизион,
Бронепоезд "Слава офицеру".

Поручику Д. М. Клокачеву

Кисловодск, 13 сентября 1919

Дорогой Митя, наконец-то, слава Богу, получили твои письма. Несколько успокоились, хотя Сергей Осипович, вернувшись, рассказал, что почта в Царицын не ходит. Мы все время тебе туда писали. Добился ты все-таки своего, попал к Харьковцеву. Ужасно ты настойчивый, так тебя и тянет туда, в опасность, и в Царицын-то попал в самые ужасные времена - здесь Суходольские уже прямо говорили, что Царицын сдан, да и не они одни, а всякая публика, бежавшая оттуда, можешь себе представить - какое у нас было паршивое настроение. Как ужасно, что пропали твои вещи! Зина на днях видела здесь китель, как две капли воды - твой, еще подумала: "как похож на Митин"! Может, это твой и был! Эта потеря очень чувствительна по нынешним временам, срам, что "заслуженные" погоны не оставил у нас! Напиши подробно - что тебе дали из английского обмундирования, много ли белья и дали ли сапоги - лишняя пара никогда не мешает. /.../ Из Ейска пришел ответ очень скоро после твоего отъезда; все наши вещи были по "последним" сведениям (но когда они были, эти сведения?) или в Петрограде, или в Москве и могут быть выданы нам только по возвращении учреждения в Петроград, так что тут получить ничего нельзя. /.../ Сегодня как раз год, что ты вступил в Добровольческую. Вспоминаются так живо все прошлогодние события, волнения. У всех было хорошее настроение. И вот уже год прошел, а о возвращении в Петроград еще и думать не приходится. Ходила недавно к гадалке, по-моему, это все чепуха, но она была матерью одной моей бывшей ученицы. Про тебя она сказала, что твое дело удастся, но хлопот будет очень много, но какое дело не связано с хлопотами? /.../ Крепко целуем, будь здоров и осторожен.

Твоя Вера

Харьков, Екатеринославская ул. 55
кв. 7. Т. Ю. Нерослевой -
Е.В.Г. Дмитрию Модестовичу Клокачеву
Кисловодск, 27 сентября (10 октября) 1919

Наконец-то дождались от тебя писем. /.../ Откровенно говоря, мы обрадовались, что тебя пока лишили 4-й звездочки. Будешь, дай Бог, осторожнее. /.../ Встретила Андреевских - тетя Мила скончалась в Новочеркасске, а Маруся и Александр Александрович выбрались в Екатеринослав. Уже после прихода Добровольческой армии махновцы провалились в их сторону и дом сожгли, много уничтожили. Ему долго пришлось скрываться при большевиках, а некоторые помощники были убиты. /.../ Кажется, обо всем написала, но довольно бестолково.

Крепко целую тебя, дорогой.

Лида

Кисловодск, 22/9 октября 1919

Возможно, сегодня будет оказия в Орел (едет бывший управляющий хозяина), вот и решили побеспокоить его. Все твои письма аккуратно до нас дошли, правда, мы ждали целых 9 дней. Итак, в Орле ты не был, бронепоезд "Офицер" - не ваш, а мы-то волновались за тебя, ведь в газетах о нем сказано, что он первым ворвался в город. Да не все ли равно? Орел ли, Верховье ли - все равно - фронт, всегда вы - впереди, и не волноваться за тебя мы не можем. Хорошо, когда можно жить спокойно и забыть о том, какая губерния соприкасается с какою, а тем более знакомиться с расположением всех мелких станций, местечек и т. п. /.../ Так бы хотелось покинуть славный Юг и переселиться на далекий холодный Север. /.../ Митя, родной, ты только подумай, что если верно, что занят наш родной город, воображаю, с какой энергией ты будешь стремиться туда. Боюсь, что если ты будешь слишком близко к цели, то придется отказаться от мысли ехать к нам, в далекий тыл. Может, и мы двинемся с тобой на Север, вот только с могилой Мамочки уж очень тяжело расставаться. Пожалуй, еще одну зиму просидим в Кисловодске. /.../ Гроб цинковый уже выслали из Тифлиса, конечно, будет это стоить огромных денег, будут трудности

с перевозом по Военно-Грузинской, но раз есть такая возможность, нужно сделать это не откладывая...

Целую

Вера

Кисловодск, 30 октября 1919 г.

Харьков, Добровольческая армия,
Штаб 4-го Бронепоездного дивизиона,
Бронепоезд "Слава офицеру"
Поручику Дмитрию Модестовичу Клокачеву

Кисловодск, 30 октября 1919

Дорогой Митя! Письма твои приходят более-менее регулярно, а вот мы не знаем, куда писать. Читали про ваш "разворот" у Кастиной, в самой-то вы каше - мы каждую минуту дрожим за тебя. За нас не бойся - мы всем обеспечены еще месяца на два, да я еще скоро получу за уроки. Насчет квартиры - дело обернулось так, что при всем желании ничего найти не можем - цены аховые, да и нет почти ничего, много реквизировано, да и беженцев сюда сбежалось. Встретила знакомых - их уезд практически не существует, и все благодаря "комми" и Керенскому. Сын знакомых получил открытку для окончания университета - он юрист последнего курса, прапорщик. Мы подумали - нельзя ли и тебе получить отпуск хотя бы месяца на три, для сдачи последних экзаменов. Если будешь в Харькове - зайди в университет, как было бы хорошо, если бы сдал экзамены да и отдохнул бы немного. /.../ Сахар здесь уже 45 рублей за фунт...

Храни тебя Бог!

Вера

Харьков, Екатеринославская ул. 55. Т. Ю. Нерослевой
для поручика Д. М. Клокачева

Ростов, Госпиталь, 30 октября 1919

Дорогой Дмитрий Модестович!

Очень был обрадован, получив твое письмо. Жаль только, что дошло оно до меня со страшным опозданием (больше месяца). Судя по письму, ты не очень-то доволен своей судьбой, конечно, в определенном смысле я тебя вполне понимаю. Очень жаль, что ничем тебе помочь не могу - вот уже больше двух недель, как я лежу в Ростове в госпитале и сам себе неясно представляю свою дальнейшую судьбу. И у меня проблемы с печенью - врачи советуют ехать в Ессентуки - лечиться. Тоска здесь смертная, и если я добавлю, что в сутки мне дают два стакана молока и манную кашу, то ты поймешь, что настроение мое так себе. /.../ Часто и с большой грустью вспоминаю время в корпусе, лагеря, наши вечерние концерты с гитарой. Моя болезнь теперь особенно неприятна, т. к. перед самым заболеванием я пошел переводиться в танки и был уже принят в школу. Теперь об этом на время придется забыть. Кончаю, т. к. быстро устаю. Буду рад, если напишешь по таганрогскому адресу. Крепко жму руку.

Твой Л. Максимов

Харьков, Штаб 4-го Бронепоездного дивизиона,
Бронепоезд "Слава офицеру", поручику Д. М. Клокачеву
10.11.1919

Вчера прочитали в телеграммах о ваших делах, дорогой Митюшка, на станции Курбатово. С нетерпением ждем вестей от тебя, как очевидца и участника дела. Страшно нам за тебя, волнуемся, а как хочется вместе с тем, чтобы вы достигли общей цели. Верю, верю, родной, что так оно и будет. Холодно у вас, наверное, заведи себе теплую одежду, сколько бы это ни стоило, на это денег не жалея, а о нас не беспокойся. /.../ Радуемся, что ты стал больше о себе думать в сфере духовных интересов, а не так много мечтаешь о звездочках.

Целуем крепко, поздравляем с днем ангела.

Вера и Зина.

Кисловодск, 11 ноября 1919

Дорогой Митя! Решили писать на Танин адрес - может быть, ты таким образом хоть что-нибудь от нас получишь. /.../ Хотя, судя по событиям, тебе очень трудно вырваться. Нового у нас ничего, кроме затруднений с хлебом - в эти дни он вдруг исчез - кошмар! Возмутительно при том, что пирожных делается столько - ими торгуют спекулянты смуглых национальностей. Запретили бы производство сладкого, раз муки не хватает. Ввели бы карточки - город ведь ничего не делает по обслуживанию. /.../ Нина все мечтает о Петрограде, но мы видим, что раньше весны нам ничего хорошего не дожидаться, и вооружаемся терпением "до зубов". /.../ Как хочется тебя повидать! Целуем.

Вера

Боржом, Гофмейстерская д. Левадопуло
кв. княгини Багратион-Мухранской
Вере Модестовне Клокачевой

Тифлис, 29/16 июля 1920

Вера, дорогая! Получили твое письмо и открытку. Очень хорошо понимаем твои чувства и переживания и мысленно все время с тобой, как и с Митей. Одно общее у нас у всех желание - быть опять вместе. Надеюсь, письмо наше с подробным изложением всех собранных нами сведений о положении дел дошло до тебя, оно хаотично, т. к. исправлялось, что-то из него исключалось, но все же дает представление о том, что делается здесь и что мы делали для нас всех. Вчера были у английского консула, но он не посмотрел документов, а направил нас к властям в Батум. Сегодня Батумский вопрос решен в пользу Грузии, каковы будут последствия этого для нас, - сказать трудно. /.../ Военным предоставлено отсюда выехать в короткий срок, так сообщил нам про своего брата, приехавший вчера Крестников. Он, как и ожидали все, с первых слов не проявил ужаса в отношении пережитого, но из его более подробных

рассказов обнаружили правду в отношении того, что писали в газетах, и сказали, что было бы лучше, если бы пребывание его там было бы более кратковременным. Достаточно было бы и недели. Пришлось ему продать свое пальто, т. к. тут безумно дорого. Имели удовольствие видеть супругу командующего фронтом - весьма шикарную женщину - дочь профессора Кассо Ф. Из газет есть проект договора "красавцев" с сородичами Ивана Алексеевича, женат на О. Ковалевской. Признание правительства "красавцев" - торговля на золото, непроникновение в Азию, посредничество Англии в переговорах "красавцев" с Польшей, отказ от помощи нашим, признание со стороны "красавцев" всех маленьких республик. Тетя Маня и Нина заполнили листки для французской визы. Хоть бы были от Мити еще вести после возвращения.

/без подписи/

Хюлемте, Турция, 23 ноября 1920

Милый Митя, вчера пришла бумага никого в лагерь не пускать впредь до нового распоряжения. Не знаю, что делать, как вырваться? Попробую устроить Лиду на завтра, но вряд ли удастся. Наша же законная очередь на выход - через 11 дней, можно совсем протухнуть здесь, притом питают нас преимущественно бобами - опротивели за 4 дня. Режим становится тюремный, даже для дам устроили "фриссон" за отлучки и т. п. Ты ведь знаешь нас - мы не храбры, а теперь окончательно струсили. Пойди на почту и спроси - нет ли от нас письма, мы сегодня послали с оказией. Не знаем, как вылезти отсюда, и боимся выйдя сесть тебе на шею, просто ума не приложу, что делать? Решай сам, ты лучше знаешь. В. А. удрал с семьей в Булок Деро. Целуем.

Вера

Отвечаю сразу на вопрос 1 твоего письма. В смысле здоровья все благополучно, до сих пор прививки от чумы

не сказались совсем. Везти нас пока никуда не собираются. Идея перебраться в Константинополь в смысле пребывания с тобой и свободы действий очень нас привлекает. Но есть свои "но". По слухам, здесь стали проявлять свою деятельность те, от кого мы бежали. В таком случае общежития могут быть закрыты, а если окажемся на улице? Лучше всего решай сам, делай все так, как тебя лучше устроит. /.../ Сюда, наконец прибыл новый комендант лагеря, верю, какие-нибудь новые распоряжения будут. Не приспособленные мы какие-то, пассивные.

Целую мысленно

Зина

Русская почта. Константинополь, 6.12.1920

Дорогой Митя, кажется, завтра будет оказия, а сейчас Патон передал твою записочку относительно русской почты. Ужасно нас изводит невозможность вырваться в город, повидать тебя и сговориться о дальнейшем. Говорили, как сделают прививку, так будут выпускать беспрепятственно в город, но свидетельства о прививках до сих пор не выдали. Злость берет сидеть тут, особенно Лида изводится, я как-то не замечаю, так как дел у меня по горло по обыкновению: всякие раздачи, списки и работа в бюро. Только бы французы не засадили нас в постоянный карантин, так как у нас есть один случай сыпняка, а французы его почему-то боятся хуже чумы, удивительные они в этом отношении. Анна с семьей удрала в русское общежитие в Булок-Дере, у нас здесь сносно, жить бы можно - угнетает только невозможность быть с тобой и лишение свободы. Благодаря этому вместо 2600 уже осталось 1900 человек. Правда, они ушли законно, т. е. с помощью бумаги из французского Главного Командования, без такой бумаги никого не выпускают. Говорят, в Сербию не пускают, правда ли это?

Очень нас беспокоит, как ты живешь без денег, ведь устроиться здесь, говорят, абсолютно невозможно. О нас, ради Бога, не беспокойся и распоряжайся нами как хо-

чешь. Порядок выхода отсюда такой - если принесли бумагу от французского Глав. Ком., то на другой день надо пойти к доктору на осмотр (формальность), в 12 сдать вещи (матрац и т. д.), а в 3 выпускают. Крепко целую тебя.

Твоя Вера

(На другой странице того же письма.)

Дорогой Митя, вот моя приписка для того, чтобы у тебя не было никаких сомнений в том, что мы все 3 живы и здоровы. Ужасно стремлюсь в Константинополь, на волю, главное, конечно, повидаться с тобой. Боюсь, что живется тебе очень несладко (по словам твоих приятелей), главное, что меня беспокоит, что ночевать приходится чуть ли не под открытым небом. Конечно, ужасно хочется быть вместе, но боимся, что по своей неприспособленности к жизни лишь будем тебе лишней заботой. /.../ Собираюсь к тебе, но это довольно затруднительно - зорко смотрят и все лазейки распознали, да и я не смогла бы лазать через окна. Целую крепко.

Лида

Рим, Италия, Виа Гаета 3

Мсье Дмитри Клокачэфф

Константинополь, 15.7.23

Дорогой Дмитрий Модестович!

Столько времени тебе не писал - извини великодушно, но повод для извинения налицо: целый год я торгую газетами по улицам и площадям, непрерывно, каждый день - в погоне за пиастром. Голова полна мелочных расчетов, а к вечеру так устаю, что не хочется ни думать, ни читать.

О тебе были сведения от мужа твоей кузины: все вы здоровы, живы, живете не роскошно, но не жалуетесь. Теперь обращаюсь к тебе с большой просьбой: жена получила из дому деньги и хочет поехать в Италию для продолжения своего музыкального образования. Так как визы отсюда получить невозможно, то не откажи похлопотать о

выезде жены в Рим. Она приедет одна, т. к. я поеду в Сербию - торговать. Все расходы, какие будут, - напиши, я вышлю деньги. Этим ты меня и жену очень обяжешь, дорогой Дмитрий Модестович.

Напиши мне, как поживают твои сестры. Вообще, подробно опиши вашу жизнь и жизнь русских в Италии. /.../

Шлю вам сердечный привет

Твой В. Хакнивец

Италия, Рим, Виа Гаета 3

А синьор Д. Клокачэфф

Петроград, 1.4.23

Дорогой Митя!

Только недавно получили твою открытку, пролежавшую чуть не полгода. Очень были рады весточке от вас, с далекой чужбины. Хорошо, что вы здоровы, а главное бодры. Мы пережили здесь ужасные годы как морально, так и материально, но сейчас старые раны понемногу затягиваются и внешне жизнь выравнивается и принимает вид более или менее близкий к прежнему. /.../ Сережа женился и живет в Москве. Остальные три брата или погибли или пропали без вести. Я весной прошлого года поступила в университет. /.../ Получаю академический паек и кое-какое денежное пособие, на что все мы и существуем. /.../ Ужасно, что вы все так далеко. О, как бы я хотела к вам! В теплый, красивый край! Воображаю, как прекрасен Рим, о, счастливыцы!!

Надя

Ленинград, 12.4.27

Дорогие кузины!

Мама возится с хозяйством и детьми, когда тетя на службе, дела по горло. У нас - телефон и радио. Только что слушали речь т. Рыкова - доклад правительства на открытии Съезда Советов из Москвы. Слушаете ли вы передачи из СССР? Целуем вас всех крепко, крепко.

Надя

Кисловодск, 26 ноября 1928

Многоуважаемая Вера Модестовна!

Ремонта я еще не произвела, но сделаю это весною. Денег не переводите - у меня их достаточно. В прошлом году я не имела возможности написать Вам, а потому и вышло, что я не ответила на Вашу открытку. Как только поставлю крест и окрашу ограду, - сообщу Вам. Мы должны менять квартиру, адреса своего не могу дать, а следовательно, воздержитесь мне писать. Сестра и я крепко целуем Вас. Привет наш всем. Будьте здоровы.

Ваша Нина.

Леонид РАДЗИХОВСКИЙ

Две оппозиции

*О, не верьте этому Невскому проспекту! ...
Всё обман, всё мечта, всё не то, чем ка-
жется!*

Н. Гоголь. "Невский проспект"

Поучительно сравнить "старую" оппозицию 1987-90 годов и ее "зеркальное отражение" - "новую" оппозицию 1991-92 года.

"Старая" оппозиция была направлена против коммунистического режима. "Новая" направлена против режима антикоммунистического, направлена, казалось бы, против вчерашних оппозиционеров, ныне ставших победителями.

Однако мы с легкостью обнаружим знаменательный факт: в оппозиции остались примерно те же самые люди! Если бы, действительно, был в России хоть какой-то аналог двухпартийной системы (ну, скажем, какая-то "двухполюсная" система), то этого бы быть не могло. "Тупоконечники" в оппозиции, "остроконечники" у власти и наоборот. Кто приходит к власти в результате выборов, тот формирует кабинет, другой уходит в оппозицию, создает "теневой кабинет". Но в России нет ничего подобного.

Кто сегодня входит в оппозицию Ельцину? Казалось бы, самый естественный ответ - коммунисты. Но это неверно, точнее, не совсем верно. Во-первых, почти все члены правительства, все окружение Ельцина, все руководители департаментов в центре и администраций на местах, все они, или 90% из них - бывшие коммунисты, многие - члены номенклатуры.

Во-вторых, среди лидеров нынешней оппозиции почти нет вчерашних "крупных коммунистов". Исключение составляет, пожалуй, лишь Г. Зюганов - бывший секретарь ЦК российской компартии, ныне возглавляющий Совет народно-патриотических сил России, да бывший при Черненко член ЦК КПСС, пламенный философ Ричард Косолапов, личный враг Горбачева, прославившийся тем, что написал статью о "Гамлете". Он так ответил на вопрос наивного датского принца: "Быть, быть, быть! Быть коммунистом!". Даже, пожалуй, членом ЦК КПСС...

Так вот. "Номенклатурные бароны", ставшие Робин Гудами оппозиции, - редкое явление природы. Все остальные депутаты Верховного Совета России от номенклатуры, все эти бывшие первые-вторые секретари обкомов, входящие в парламентскую группу "Россия" (бывшие "коммунисты России"), конечно, перешли в оппозицию - но, разумеется, вяло, без огня, чисто формально. Шахрай, выступая на процессе по делу КПСС, был прав: никакая это, разумеется, не партия, а крупное гос. учреждение. И солидные чиновники чиновниками и останутся - они конформисты по определению, они в союзе с любой властью просто потому, что она - власть. В оппозиции коммунистический чиновник чувствует себя, как почтенный семьянин в постели проститутки - щекочет нервы, но неуютно... Большинство этих секретарей осталось на своих постах (ныне, соответственно, председатели областных советов), многие ушли в коммерцию или и вовсе удалились от дел, немалое количество пасется в коридорах на Старой площади, где ныне сидит российское правительство и ловит крошки с государственного стола... В общем, ни социально, ни психологически, ни политически они никак не годятся на роль боевых оппозиционных петухов.

Чтобы сразу покончить с "коммунистической оппозицией", надо сказать, что возглавляют ее бывшие аутсайдеры КПСС, вроде Нины Андреевой, или странноватого журналиста Анпилова, рабочего Тюлькина и т. д. Это народ менее чиновный, в котором еще сохранились какие-то от-

голоски "большевистского пламени". Впрочем, коммунисты не задают тон в оппозиции - ни в парламентской (там из таких "большевиков" сверкает глазами лишь бывший судья Слободкин, готовый живот положить за родную партию), ни даже в "непарламентской". Например, В. Анпилов, хотя и сумел притащить несколько тысяч старух и алкоголиков под истинно-коммунистическим лозунгом "Бей жидов!" к Останкинскому телецентру в июне, так и не смог ни развить, ни закрепить свой успех, а официальные лидеры "непримиримой оппозиции" стараются держаться от него подальше.

Все эти лидеры большевиков при сохранении у власти своей любимой КПСС так и остались бы никем и ничем, кухонными ораторами или номенклатурой 10-го уровня. Только крах КПСС, когда в обход всей партийной табели о рангах всякий Анпилов может провозгласить себя "сам-себе Генсеком", дал им возможность выдвинуться, хотя бы попасть на страницы газет. Ну что ж, - они, как водится, платят демократическим властям обычной человеческой неблагодарностью...

Но если старый партийно-чиновный аппарат а) неплохо устроен при новой власти, б) в силу своего менталитета совершенно не годится на роль оппозиции, то кто же составляет оппозицию правительству сегодня?

Оппозицию составляют ровно те, кто был в оппозиции и раньше, кто является оппозиционером по призванию и профессии.

Ельцин возглавил правительство не в результате победы какой-то партии на выборах. Он был "связан" с Дем-Россией, но не более того. Поэтому он совершенно свободно, игнорируя партийную принадлежность, а исходя из профессиональных качеств, личных отношений, каких-то иных соображений и собирал свою команду. Сама эта команда образует лишь верх государственной машины, низы которой остались, фактически, без изменений. В результате в правительство (которое в России не является "самым главным"), в разные не вполне понятные структуры "при

Президенте" попало очень немного людей (Старовойтова, Шахрай, Станкевич) из числа лидеров "старой", антикоммунистической оппозиции. Ключевой пост из них занял один Бурбулис - и то вовсе не потому, что был он "лидером оппозиции", а только потому, что доказал личную преданность Ельцину и нужность (дал несколько удачных советов, руководил избирательной кампанией и т. д.). Дальше судьба "демроссов" в окружении Ельцина сложилась по-разному. Те, кто "не могли поступиться принципами" (та же Старовойтова, отчасти Шахрай), как говорил т. Сталин "выпали из тележки". Зато за края правительственной тележки крепко ухватился проклятый всеми демократами за "измену" Сергей Станкевич, который стал видеть какие-то "сны о державе". Сны оказались более чем в руку - и демократ-государственник с ясными голубыми глазами пока удерживается на вращающемся кругу правительственной машины.

Большинство же "агитаторов, горланов, главарей" никогда и не попадали ни в правительство, ни в окружение Президента. Ю. Афанасьев, Баткин, Буртин, Салье - все они были и остались вне правительства. Уже это предопределило их уход в оппозицию, вернее, их "невыход" из перманентной оппозиции любой власти. Впрочем, в самой их оппозиционности чувствуется какая-то растерянность. Во всяком случае, их политическая активность становится все тише, все глуше, все мелочнее - люди, кажется, не знают ни что сказать, ни что делать.

Подлинными же лидерами боевой оппозиции стали, как известно, люди из другого рукава "ДемРоссии": М. Астафьев, В. Аксючиц, И. Константинов, Ю. Власов, соединившиеся с такими противниками ДемРоссии, как Проханов, Распутин, генерал Стерлигов. Эта-то группа и составляет разлохмаченный клубок "непримиримой оппозиции". У них нет единой структуры, есть десятки структур с пышными названиями (вроде "Русский национальный собор", "Вече народной думы" и т. д. и т. п.), но всех их я условно объединяю в единый фронт. Назовем его, по аналогии с ДемРоссией, - НацРоссией.

Что же характерно для НацРоссии, что ее руководителей роднит с ДемРоссийскими лидерами, а что отличает?

И ДемРоссия, и НацРоссия играют согласно логике предлагаемых обстоятельств. Они вынуждены действовать в совершенно не структурированном социально-политическом пространстве: нет групп с четко выраженными интересами (идейными и материальными), нет устоявшихся правил политической игры. Есть некий общероссийский бульон, одно перетекает в другое и все, вроде бы, кипит на медленном (или быстром?) огне. В такой ситуации не важны (да и не нужны) программы, в такой ситуации нельзя даже учесть политические силы. Есть "течения", эмоции, которые надо уметь гнать волной, оказываясь на гребне волны и не ломая голову мыслями - куда же она тебя вынесет.

Именно так действовала ДемРоссия в 1989-91 годах. Это и принесло победу. Я называю это "тактикой Гамлета". Вспомните: принц совершает абсолютно бессмысленные, никому и ни для чего не нужные действия (прячет такую ценность, как труп Полония!). Однако в итоге массы таких нелепых телодвижений его противник - Клавдий - вынужденный все время играть по непонятным ему и абсурдным правилам, окончательно теряет голову, лепит ошибку за ошибкой и, подавленный, проигрывает. Так ДемРоссия гнала митинг за митингом, нападала с самых разных (подчас взаимоисключающих) сторон на действия правительства и КПСС, обещала всем все, что невозможно. Главная цель была - морально подавить противника, превратить самое его имя ("коммуняки") в бранную кличку, добиться того, что никто даже не будет вдумываться в то, что, собственно, предлагают эти противники - вполне довольно, что это предлагают ОНИ. Игра шла не в мяч, а только в игрока... Чистый случай - знаменитая, ныне полузабытая программа "500 дней" (сентябрь 1990 года). Тогда "коммунистическое правительство Рыжкова" предложило альтернативную программу. Никто, разумеется, знать не знал, что содержится в той и иной программе, но все зна-

ли, что одна предложена "нашими" (хотя даже не ДемРоссией!), а, главное, вторая уж точно придумана коммунистами. Все. Для общественного мнения все было ясно. Вот это уже - итог пропагандистской кампании, означающий, что победа одержана.

В принципе, такой тактике стараются следовать и лидеры НацРоссии. Такие же шумные митинги (во многом со сходными участниками, вчерашними "разочаровавшимися демократами"), крайние формы обвинений. Выдумали даже звонкую формулу "Временное оккупационное правительство Ельцина". Все вроде бы похоже - а эффекта за год безудержной пропаганды да резко падающего уровня жизни все равно нет! То есть эффект, разумеется, есть, но куда меньший, чем у ДемРоссии.

Здесь есть несколько причин.

ДемРоссия была едина, имела общего лидера Ельцина. НацРоссия разодрана в клочья, а лидера нет.

ДемРоссии страшно повезло - она вела свою пропаганду, имея в виду ясную цель: выборы в Верховный Совет. Но следующие выборы должны состояться в 1995 году, и уж депутаты (что из ДемРоссии, что из НацРоссии, что сторонники Ельцина, что его противники) не позволят провести их ни днем раньше. Поэтому вся борьба НацРоссии сегодня теряет конкретный смысл. Ведь никаких мирных способов смены власти, кроме перевыборов парламента, нет и быть не может. Зачем же тогда митинги? Чтобы погреться? Или погреться так хорошо, чтобы даже строить баррикады, устраивать всеобщую забастовку, силой свергать власть? К этому не смеет открыто призывать НацРоссия, больше того, я уверен, что огромному большинству ее лидеров такой путь и в душе противен, страшен. В конце концов, сколько бы эти прохановы и бабурины ни кричали "страшные слова" про "партизанскую" борьбу с "оккупационным режимом", они, конечно же, люди системы. То есть в рамках существующей системы есть место и им, и их оппозиции. Они, в любом случае, не сторонники насильственного разрушения всей системы, слова про

"партизан" - это только литературный образ не в меру бойкого воображения и не в меру бескостного языка. В парламенте им есть что делать, на баррикадах - совершенно нечего (между прочим, поэтому они, простирая руки к "анпиловским орлам" в Останкино, так реально с ними и не соединились). Итак, внепарламентская борьба не вдохновляет лидеров НацРоссии, а возможности парламентской борьбы, борьбы за выборы сегодня почти равны нулю.

Но самое главное - победа ДемРоссии, конечно, не была заслугой этого движения. Кто-кто, а Афанасьев и К° могли с полным правом восклицать "Да здравствует КПСС - организатор всех наших побед!". Разумеется, к ним шли не "за", а только "против". Отвращение к коммунистическому строю, к КПСС - вот что несло вперед ДемРоссию. Отвращение было всеобщим, сам "ветер истории" сбивал КПСС с ног. Россия пробуждалась ото сна и, поднимаясь, стряхивала с себя КПСС. Это было настолько естественно, почти спонтанно, что все ошибки, противоречия, глупости ДемРоссии с лихвой покрывались огромным, массовым движением - от коммунистов! Можно даже сказать, что ДемРоссия только делала вид, что организует, направляет борьбу с КПСС - эта борьба шла сама собой. Флюгер не "организует" ветер, но показывает его направление - так и ДемРоссия лишь поворачивалась под порывами антикоммунистического урагана.

Сегодня ничего подобного нет. Сколько ни надувают щеки бывшие "бело-сине-красные", ставшие от непосильного политического напряжения "красно-коричневыми" (все эти Астафьев, Аксютин, Константинов, Бабурин, Исаков), организовать ветер им не удастся. Несомненно, народ в огромной массе горько разочарован в "демократах". Общее мнение: они нас обманули, им бы только до власти дорваться да взятки брать и за границу ездить. Но единого всеобщего отвращения к демократической власти все равно нет. Да и само разочарование не придает бодрости: обжегшись на "демократах", избиратель тем более дует на "патриотов". Невинность российского избирателя

уже потеряна (этот цветочек как раз ДемРоссии и достался). Отныне все политики рассматриваются прозревшим народом как мелкие, корыстные люди, которые вешают "лапшу на уши" избирателям. Но эти уши, широко распахнутые в 1990 году, ныне подняты "топориком" и развесить на них новую лапшу будет чертовски сложно. У избирателя выработался комплекс презумпции виновности любого политика. Поэтому НацРоссии предстоит пробиваться через завалы свинцового недоверия там, где в 1990 ДемРоссия с колокольчиком ехала по открытой дороге. Наступать по голодной "старой смоленской дороге", по которой отступает ДемРоссия, - не радостное занятие...

Если против коммунистической власти с ее ложью, насилием и ханжеством накопилось всеобщее отвращение и активная ненависть, то по отношению к куда более открытой (во многом - более цинично-открытой) демократической власти царит полнейшее безразличие. Например, в июле 1992 проводились выборы народного депутата в одном из подмосковных округов. Хотя все политики - от Черниченко до Макашова - стаяй слетелись в этот несчастный округ, уважить их на избирательные участки явилось лишь 29% избирателей и то в основном старики.

Сколько бы ни хорохорилась НацРоссия, ее руководители отлично понимают все эти обстоятельства, понимают трудность своего положения. Их, однако, это не смущает. И здесь надо ясно понимать их подлинные - в отличие от декларируемых - намерения.

Сегодня все русские политики несомненно подпишутся под формулой Церетели о том, что "нет такой партии", которая всерьез хочет захватить власть. И даже если из зала, высоко подняв руку, выскочит человек и крикнет "есть такая партия!", то это будет всего лишь Владимир Бланк... простите, описался, конечно же, - Жириновский.

Да, немногие решатся с рабоче-крестьянской прямоотой экс-бригадира Травкина так и рубануть, что сегодня только сумасшедший, мол, стремится к власти - но почти все это понимают. Власти, ответственности, а уж тем более слома всей системы непримиримая оппозиция не хочет.

Я частенько иронизировал над ними. Они называют себя "националистами", "консерваторами", "государственниками", а собираются вести "партизанскую войну" с законным российским правительством! Ай да "государственники", черт возьми! Умом Россию не понять... Разве что умом Оруэлла, который, будто предвидя наших "государственников", писал свои лозунги "мир это война", "свобода это рабство" и т. д. Я сравнивал наших неогосударственников с крайними русскими нигилистами-"бесами", с большевиками, с их "чем хуже - тем лучше", чем хуже государству российскому, тем лучше нам... Но большевики хоть "патриотами" себя не величали!

Теперь я понимаю, что был неправ. Да, НацРоссия состоит из двух несоединимых половинок. Мы - государственники и мы - партизаны. Я считал, что они лгут (для прикрытия) в первой половине и ближе к правде во второй. Анализ же их поведения, в особенности их вялость в поддержке явно хулиганских, истинно "партизанских" действий "быдла" в Останкино, говорит об обратном. Они занимаются демагогией, когда говорят "мы - партизаны", они ближе к истине, когда величают себя "государственниками".

Иначе говоря - легче легкого надеть на нос очки, взять "Вехи" и вычитывать там все характеристики интеллигенции и прилагать их к нашим сегодняшним "непримиримым" из НацРоссии (которые, само собой, казенно отбивают поклоны в адрес "Вех" и кроют почем зря революционную интеллигенцию). То же нетерпение, фанатизм, неумение созидать, потребность в разрушении, отсутствие самодисциплины и постепенности и т. д. и т. п. Но нет! Перед нами не "юноши бледные, со взором горящим", не интеллигенты-"бесы"-нигилисты, а настоящие "образованцы" конца XX века. В чем разница? Она очевидна. "Образованцы", какие бы исступленно-крайние лозунги они официально ни провозглашали, прежде всего - спокойные конформисты, ценящие материальные блага.

Иначе говоря: лидеры НацРоссии просто ведут с прави-

тельством (и общественным мнением) торговлю "с запросом". Они ходят с больших козырей - "партизаны", "свержение оккупационного режима", чтобы в итоге взять маленькие взятки (в фигуральном, фигуральном смысле!). Изменение состава кабинета, назначение на пост посла в ненавистные США (а может, - даже в... Израиль?!), другие подачки - вот потолок их реальных требований. Под такую закуску непримиримые примирятся и с "распродажей" России - лишь бы быть в числе продавцов. Ух, какие "непримиримые", какие "фашисты"... Нет, их реальные цели не сокрушение системы, - а просто расширение своего места под солнцем в рамках той же системы. Перед нами - не "большевики", а "меньшевики", "реформисты", "социал-предатели", "соглашатели". Но, разумеется, сегодня они загибают самые высокие слова...

Вообще, слыша пафос "пеньковых речей" этой публики, видя, как они стараются накалить до истерики, до скрежета зубного своих сторонников, я всегда вспоминаю "Маскарад" Лермонтова.

Князь Звездич. Ва-банк.

...

2-й понтер (*насмешливо*). Я вижу, вы в пылу, готовы все спустить. Что стоят ваши эполеты?

Князь. Я с честью их достал, - и вам их не купить.

2-й понтер (сквозь зубы, уходя). Скромней бы надо быть с таким несчастьем и в ваши леты.

Вот именно! Скромней бы надо быть... Но если господатоварищи из "непримиримой оппозиции" и впрямь, сообразно своим несчастьям и летам, стали бы себя вести скромнее - кто же бы их тогда вообще от стенки отличил? Нет уж, приходится шуметь...

Между прочим, ретроспективно вспоминая деятельность лидеров ДемРоссии (теперь-то уж что! теперь, когда выборы прошли, а другие не скоро, можно бы и об этом сказать...), так вот, вспоминая "отчаянных демократов"

(того же Ю. Афанасьева, скажем), не могу отделаться от мысли: а ведь похоже, чёрт возьми! И они ходили с больших козырей, быть может, вовсе не имея в виду действительное разрушение той, коммунистической системы "до основания", а скорее отвоевывали себе место в ней? Конечно, не берусь судить обо всех бойцах, но некоторые, скажем, тот же С. Станкевич, всегда казались не "оппозицией Его Величеству", а - "оппозицией Его Величества"... Если так - то и в этом смысле НацРоссия наследует традиции ДемРоссии.

Здесь, конечно, невозможно обойти вопрос: "хорошо" это или "плохо"?

Конечно, ложь, игра, демагогия не вызывают сами по себе симпатии. С другой стороны, есть такая точка зрения, что это и составляет суть политики (в отличие от религиозных войн). Перефразируя академика Арцимовича: политика есть способ решения политиками своих частных проблем за счет государства и общества. И в этом смысле лучше "теплые", чем "горячие", лучше "политиканы", чем "искренние люди", и уж точно - "меньшевики" лучше "большевиков"... Такова уж видна планида оппозиции в России - играть. Играть в политические партии, когда партий таких нет, играть в "героев", мечтая о мелких подвижках власти, играть у подножия трона, поскольку в стране, где еще не сложилось гражданское общество, парламентская политика остается "игрой" в большей степени, чем в "цивилизованных странах", где, впрочем, игры тоже хватает...

Если эта картина наших "оппозиций" верна, то - как бы ни оценивать их с моральной точки зрения - исторически они делают важное дело. Симулируя крайние требования, они не дают разгореться настоящим крайним страстям. А с точки зрения истинных национальных интересов России сегодня нет более важной задачи. Только вот - справятся ли они с этой задачей до конца?..

Александр Руцкой: правый либерал?

Одной из наиболее загадочных личностей, появившихся в хаосе сегодняшней русской политики является Александр Руцкой. В настоящее время - вице-президент России.

Руцкой всплыл в тени Бориса Ельцина и стал яркой политической силой, с которой следует считаться.

Для его критиков он - "черный полковник", ветеран афганской кампании, выдвинутый на политическую арену номенклатурой компартии города Курска, откуда родом. Ценой потери репутации "любимца русских коммунистов" он пошел на разрыв с реакционным руководством Российской Коммунистической партии с целью создать собственную организацию - "Коммунисты за демократию"². Этот тактический прием позволил ему завоевать симпатии Бориса Ельцина, который увидел в нем человека, способного обеспечить поддержку коммунистов, склонных к реформам, а также некоторых кругов военно-промышленного комплекса.

Критики также ставят ему в вину то, что он является одним из основателей патриотического общества "Отечество", которое заявляет о своей преданности русскому национальному возрождению, но также связано с шовинистическим национализмом. Он покинул это Общество, очевидно, потому, что не разделял антисемитизма многих его членов, однако он продолжает поддерживать любые русско-патриотические и религиозные начинания. Критики же утверждают, что его недавние нападки на правительство и

экономическую политику премьер-министра Гайдара лиш-
ний раз подтверждают, что он антиреформист и антиры-
ночник. Его призывы к укреплению авторитета власти,
говорят они, равнозначны призыву к возврату "твердой
руки Центра" против диссидентов и этнических мень-
шинств.

Его сторонники рисуют совсем иную картину. Они
видят в Руцком храброго военного пилота, гордящегося
тем, что в эскадрилье под его командованием не было
потерь. Хотя на выборах он и имел поддержку местной
партийной организации, он стал самостоятельным по при-
бытии в Москву и неожиданно энергично и неустрашимо
взялся за задачу проведения законодательства о социаль-
ном обеспечении. Он сумел быстро создать себе политичес-
кую независимость, выступив - одним из первых членов
парламента - с критикой Горбачева за применение послед-
ним насилия в Литве в январе 1991 года. Его непреклонная
бескомпромиссность и честность привлекли внимание Бо-
риса Ельцина, который и взял его в напарники на место
вице-президента в июне 1991 года. Он глубоко религиозен,
сторонник твердого правительства, ответственного перед
народом, он за быструю приватизацию государственного
имущества, благодаря которой народ будет иметь личную
заинтересованность и долю капитала на экономическом
рынке. Сторонники в его критике правительства видят не
более, как откровенную порядочность человека, обеспо-
коенного тем, что чрезмерные экономические лишения мо-
гут подорвать перспективы становления русской демокра-
тии.

Какой из портретов этого выдающегося человека прав-
див? Является ли он политическим соперником Ельцина,
или он настоящий демократ с консервативным уклоном?
Есть и другое мнение: что он явный и преданный Ельцину
прагматик, чьи вызывающие замечания имеют целью от-
влекать на себя нападки крайних критиков на правитель-
ство Ельцина, что он своего рода Джон Сунуну при прези-
денте Буше.

Независимо от ответа, меньше чем за два года этот человек стал одним из пяти наиболее известных политических фигур в России и наиболее известным среди военных³. С ростом его популярности и влияния важно правильно понять его политические убеждения и следование этим убеждениям.

Биография героя войны

Чтобы правильно понять то, что Борис Ельцин удачно определил как "эффект Руцкого", надо начать с краткого резюме его необычной биографии. Родился он в 1947 году в семье с богатой военной традицией. В восемнадцать лет поступил в Высшую Военно-воздушную подготовительную Академию в Барнауле. В 1971 году вступил в КПСС и после окончания Военно-воздушной Академии им. Гагарина в Москве с 1980 года занимался обучением военных пилотов в бывшей Германской Демократической Республике.

В 1984 году получил назначение командовать эскадрильей, которая в 1985 году была направлена в Афганистан. Руцкой особенно гордится тем, что его эскадрилья была единственной в Афганистане, не имевшей потерь⁴. Однако, несмотря на успехи, его эскадрилья была расформирована, и он был направлен в другой полк, который также действовал в Афганистане. В 1986 году, во время боевого вылета, он был сбит и получил серьезные повреждения, включая перелом позвоночника. После лазарета, прикованный к креслу на колесах, он получает назначение заместителем начальника по подготовке военно-воздушных сил в городе Липецке. По состоянию здоровья уже тогда мог уйти на довольно комфортабельную, по советским стандартам, пенсию. Вместо этого, когда его здоровье поправилось, он в 1988 году возвращается в Афганистан, на этот раз в должности заместителя командира 40-й воздушно-десантной армии. Странное совпадение, что его непосредственным начальником был командующий армии

Борис Громов, которого соперник Ельцина на президентских выборах Николай Рыжков берет себе напарником на пост вице-президента. В Афганистане в дополнение к административной нагрузке он продолжал боевые вылеты и был вторично сбит в августе 1988 года. В этот раз его самолет разбился на территории Пакистана, и он почти два месяца провел в плену, пока не был обменен на пакистанского шпиона. Как офицеру высокого чина ему неоднократно предлагали убежище в Канаде, но он отказался.

Вместо этого он вернулся героем на родину, получив высшую военную награду страны "Герой Советского Союза" и приглашение поступить в Академию Генерального Штаба. После неудачной попытки в Москве быть избранным в Верховный Совет СССР он вернулся в Липецк и взял на себя руководство Центра по подготовке военных пилотов. В это же время начинает набирать силу его политическая карьера.

Первые шаги в политике

В Москве Руцкой выставляет свою кандидатуру в районе, густо населенном сторонниками реформ, с рядом многочисленных известных соперников, как, например, поэт Евгений Евтушенко, издатель журнала "Огонек" Виталий Коротич и другие. Кроме этого обстоятельства, его военная карьера отрицательно отразилась на его поражении на выборах. Он возвращается в Курск и там снова выставляет свою кандидатуру на общественную должность, при открытой поддержке местной партийной организации. Его интерес к политике, заявляет он, был вызван все увеличивающимся отвращением народа к невыполненным обещаниям, демагогии, пустым словам со стороны политиков. "Я был болен и измучен от переживаний и стыдился за мою родину"⁵.

Оставаясь открыто еще коммунистом, Руцкой становится ярким критиком собственной партии, Верховного

Совета СССР и даже Михаила Горбачева. Он разоблачает их молчаливое согласие в "беззаконных" попытках принудить литовских сепаратистов к повиновению путем применения спецчастей. Вместе с министром внутренних дел Василием Травниковым он убедил Верховный Совет России отменить подобный приказ, который позволил бы ввести военные патрули в русских городах без предварительного согласия местных городских советов⁶.

Вскоре после этого Руцкой избирается председателем Комитета ветеранов войны, труда и инвалидов, солдат-интернационалистов, социальной защиты военнослужащих и их семейств перед Верховным Советом РСФСР. (Комитет не всегда имел такое громоздкое название. Первоначально он занимался ветеранами войны и их семьями, затем были включены ветераны афганской войны, затем инвалиды и другие, пока, наконец, чуть ли не любая группа общества была свалена туда же. - Н. П.) За несколько месяцев работы под возглавлением Руцкого Комитет получил свыше 45.000 писем с просьбой о помощи и, вероятно, с успехом разрешил некоторое количество дел⁷.

Руцкой довольно быстро отмежевался от вновь созданной Российской компартии, созданной с целью апеллировать к умеренным националистам. Как только компартия изменила Конституцию с целью допущения многопартийной системы, Руцкой выдвинул идею, к сожалению, безуспешно, введения в партийный Устав пункта о самостоятельных фракциях⁸. Затем в своем обращении к Русскому конгрессу 2 апреля 1991 года он объявляет о создании партии "Коммунисты за демократию", насчитывающей 179 депутатов-коммунистов. Около десяти процентов консервативной парламентской группы "Коммунисты России" также присоединились к партии "Коммунисты за демократию". Тогда они открыто поддерживали политику Бориса Ельцина, одобряли экономическую программу "500 дней" Явлинского-Шаталина и старались толкнуть Горбачева на путь проведения решительных экономических и политических реформ. КПСС сможет удержаться только в том слу-

чае, доказывал Руцкой, если партия будет рассматриваться как воплощение воли народа, а не только как клика, пытающаяся сохранить свою власть.

Этот разрыв внутри последнего бастиона русского коммунизма вызвал потрясения во всем аппарате КПСС. Успех Руцкого был еще более впечатляющим в свете неудачной предыдущей попытки создать "либеральную" коммунистическую фракцию, то есть "демократическую платформу" русских коммунистов. Создав этот раскол, Руцкой также раскрыл уязвимое место компартии, несостоятельность ее последней траншеи - попытки заручиться народной поддержкой, апеллируя к низменным чувствам разногласий в вопросах закона и порядка, в военно-промышленных группах и стимулируя антизападные настроения. По мнению Руцкого, реформисты не должны списывать все 16 миллионов членов КПСС или кого-то из возглавителей КПСС, своим личным примером показывая, что человек, заботящийся о порядке, национальном единстве и социальной справедливости, безусловно может доверять Борису Ельцину⁹.

Руцкой особенно указывал на то, что военные поддержат переход к демократии и свободному рынку: "Я иногда переживаю за моих сослуживцев, военных депутатов, тех офицеров и генералов, кто сидит и молчит. Я наверняка знаю, они думают иначе, но они молчат. Проголосовав против меня, они приходят ко мне и говорят: "Мы поддерживаем тебя". Они мотивированы страхом, что это может отразиться на их дальнейшей карьере и наградах"¹⁰.

Нет ничего удивительного, что Борис Ельцин взял себе вице-президентом заслуженного героя войны, понимающего нужды простого человека, с ясным видением исторического единства России. Ведь и Борис Ельцин воплощает в себе многие из этих свойств, сделав их центром притяжения своей политической кампании¹¹. Оба раньше работали вместе как председатель (Ельцин) и вице-председатель (Руцкой) Российского Социального Фонда "Возрождение". В дополнение к их политическому сходству Ельцин, несомненно, оценил Руцкого за его прямую, временами грубую

откровенность и бескомпромиссную личную лояльность - качества, без которых желающий преуспеть политик не может обойтись, особенно у своих ключевых советников.

Из союзников - в слепня

Что наиболее всего поражает, так это то, как быстро после попытки переворота Руцкой был вытеснен из внутреннего круга советников президента, поскольку он более чем доказал свою полезность либералам, выпустив энергичный призыв к войскам оставаться преданными Борису Ельцину, а также своим личным участием в попытке спасения, приведшей к возвращению Горбачева в Москву¹².

Некоторые расхождения Руцкого с правительством частично вызваны личными трениями с другими членами из окружения Ельцина, однако они отражают также более глубокое расхождение во взглядах на то, какая форма правления наиболее свойственна России, какая модель наиболее соответствует ее историческим нуждам. Первые месяцы после путча ушли на создание нового правительства и нового политического порядка, а основной вопрос - какой курс будет проводиться, остался нерешенным.

Несмотря на общее мнение, что новое руководство - это созвездие молодых ученых, именно Руцкой является одним из наиболее философски мыслящих в данной группе. Отсутствие согласованного ясного видения будущего и последовательной стратегии глубоко его беспокоит. Те, кто знает его откровенность и готовность бросать вызов условностям, удивляются, что он так долго себя сдерживал. Но 3 декабря 1991 года он открыто высказал упреки в адрес правительства на митингах перед рабочими военной промышленности в Новосибирске и Барнауле. Он бросил правительству упрек за "избыток ученых, но недостаток специалистов-практиков", высказал недовольство, что президент находится в окружении "глупых китайских кукол"¹³. После изложения своих взглядов в интервью влиятельной "Независимой газете" (27 декабря 1991) он полу-

чил строгий выговор и был обвинен в том, что многие дела, которые должны решаться его ведомством, как, например, вопросы возрождения сельского хозяйства, он спихнул на плечи правительства.

Сущность критики Руцкого вызвала широкую полемику. Его политические убеждения держатся на трех принципах: патриотизм, ответственность и частная собственность. Сегодняшнее правительство, говорит он, еще не осознало факта, что оно больше не в оппозиции и теперь должно больше строить, чем сносить:

"...увлекшись идеей развала до основания здания тоталитарного прошлого, отдельные политические деятели не сумели заметить, что пошли глубокие трещины по стенам настоящего и оно сегодня грозит опасностью похоронить под своими обломками как собственно разрушителей, так и тех, кто оказался возле этой стены"¹⁴.

Те, кто читал последний очерк Александра Солженицына "Как нам обустроить Россию", сразу же определяют, что эта метафора взята оттуда¹⁵. Большой почитатель А. Солженицына (а также политического экономиста Петра Струве и эмигрантского религиозного философа Ивана Ильина), Руцкой, как и они, видит задачу восстановления русского национального достоинства через возрождение патриотизма неотделимой от задачи экономического и демократического восстановления страны.

Патриотизм. Для Руцкого переход к демократическому правительству не может быть осуществлен без решения основного вопроса: что есть Россия? В настоящий момент наибольшей слабости русской демократии руководство страны несет особую ответственность за прошлое, настоящее и будущее поколений, за сохранение исторической преемственности. Временами в своих выступлениях Руцкой поразительно схож с Эдмундом Бурке, который упрекал французских революционеров за их чрезмерное рвение преобразовать мир. Бурке писал: "Общество действительно взаимосвязано и является партнером не только между живущими, но между живыми и мертвыми и теми,

кто родится в будущем”¹⁶. Это ощущение неразрывности и заставило Руцкого быть защитником сохранения русского территориального единства, защиты прав русских, проживающих теперь в других республиках. Напоминая о прошлом российской империи, он призывает правительство стоять за “единую и неделимую” Россию¹⁷. Однако он отказался от применения силы для достижения этой цели, полагаясь на культурные, исторические и эмоциональные узы.

“Веками строилась наша российская земля. Веками организовывалась она в единое и единственное в своем роде геополитическое пространство... Как же может теперь подняться рука на то, чтобы все это так, в одночасье, разрушить, растащить по каморкам, чтобы нам, заперевшись на засов, поглядывать из-за занавески на соседа, не уволок ли он чего лишнего...

Говоря “Единство”, я имею в виду не местническое и тем более насильственное объединение, а осуществление общей добровольной идеи. Ибо наши народы и до семнадцатого года и позже связывало нечто намного большее, нежели только экономическая зависимость и потребность коллективной безопасности”¹⁸.

“Перед лицом дезинтеграции Россия должна искать мирный путь для поощрения народов бывшего Советского Союза включиться в восстановление единой демократической государственности на территории более обширного евро-азиатского пространства”¹⁹.

“Что необходимо для возрождения этих обширных исторических и культурных связей, это “духовная идея” континентального масштаба. Эта идея должна быть найдена в нашем прошлом, в наших переживаниях. Мы должны сами это видеть, принимая во внимание все особенности, которые свойственны только России”²⁰.

Руцкой делает заключение, что существующий конгломерат самостоятельных государств (СНГ) - не в интересах России на долгие сроки. Он сравнивает это с договором в Брест-Литовске, по которому Ленин уступил треть территории и имущества страны для достижения перемирия с Германией в Первой мировой войне²¹

Как и Солженицын, Руцкой часто нападает на русскую интеллигенцию за ее неумение использовать исторические

возможности. В поразительно острой статье "Причастие у Макдональда" он апеллирует к русской интеллигенции развивать это положительное духовное видение. Без положительного видения, облеченного в здоровый патриотизм, говорит Руцкой, экономическая реформа не работает²².

Ответственность. Свое чувство ответственности перед историей и сегодняшней уникальной возможностью укреплять русскую демократию Руцкой передает в статье о политической ответственности. Он последовательно повторяет оценку Ральфа Дарендорфа, что в странах Восточной Европы сегодня главная беда - это отсутствие эффективных демократических институций, а не медлительность центральной власти, что способствует продлению хаоса переходного периода и создает у народа плохое мнение о демократии и о свободном рынке²³.

Ответственное государство есть сильное государство, говорит Руцкой, и не должно бояться сильной оппозиции. Многопартийная система жизненно важна для равновесия в обществе и является гарантией социальной стабильности²⁴. Наилучшая гарантия устойчивого правительства - это равновесие интересов и расширение низовых структур гражданского общества²⁵.

"Система управления в республике должна быть восстановлена. В первую очередь мы должны создать структуру власти на местах, с прямыми выборами руководителей этих местных органов и их ответственностью перед президентом. Если же Россия и дальше останется в неуправляемом состоянии, приход диктатуры будет единственным результатом"²⁶.

Поэтому Руцкой предлагает "период сильной власти под контролем выборных учреждений, строго соблюдающих существующие законы"²⁷. Сегодня в России нет настоящей демократии, утверждает он, потому что у народа нет правового инструмента, позволяющего ему держать правительство ответственным за происходящее. Эта нехватка ответственности подкреплена позицией, занятой многочисленными "неолибералами" в отношении права. Их чисто инструментальное видение закона мало отличается

от позиций тех, кто желает восстановления большевизма²⁸. Недостаточная щепетильность правительства в соблюдении законов, если они становятся на пути его политических интересов, очень часто проявляется на местном уровне. В результате же - шквал противоречивых местных постановлений, которые те же местные власти используют для торможения реформ и поощрения сепаратизма.

Приватизация. Основная преграда передачи власти правительством народу, говорит Руцкой, это государственная монополия на имущество, торможение массовой приватизации. Руцкой осуждает применение "терапии шока" в проведении экономической реформы, такая терапия ставит телегу впереди лошади из определенных политических и экономических соображений. Ставя ошибочные экономические цели, правительство рискует тем самым проводить экономические реформы путем, который подрывает социальные структуры общества и ставит под угрозу развитие стабильной демократии. Русское правительство, согласно Руцкому, должно было следовать схеме, изложенной в подлиннике плана Шаталина-Явлинского "500 дней", в котором предусматривалась сначала приватизация, а затем уже повышение цен. Правительство Гайдара перевернуло порядок действий, в результате чего ни производители товаров, ни потребители не имеют прибыли. Зато существующие монополии получают огромные прибыли, контролируя и назначая цены на скудные дефицитные товары²⁹.

В унисон с такими западными критиками, как Маршалл Голдман и Джуди Шелтон, Руцкой доказывает, что российское правительство должно было учиться на опыте Польши и проводить экономическую политику, более сходную с той, которую проповедует Джон Майнард Кейнс и Джон Кеннет Гэлбрайт, а не Джеффри Сакс или Милтон Фридман³⁰. Руцкой также винит правительство за попытку балансирования бюджета, считавшее это первостепенной задачей. Балансирование бюджета было необходимо для получения экономической помощи Запада, но, утверждает

Руцкой, этот выбор приоритетов был продиктован необдуманным желанием вступить в международные финансовые учреждения и стремлением к быстрой отстройке антрепренерского фундамента, к чему Россия не была готова³¹. Вместо этого правительство должно было поощрять местное предпринимательство, предоставлять кредиты русским деловым людям, поощрять частные банковские вклады, изменить налоговый закон и, самое главное, приватизировать имущество и землю с целью создания класса собственников³².

Наконец, Руцкой предлагает регулируемый рынок, схожий с рынками, существующими в Западной Европе.

"Экономика может быть восстановлена только с помощью свободного рынка. Введение его как можно скорее есть основная задача нашего правительства. Управление рынком отнюдь не означает приказывать частным предпринимателям. Армейская терминология здесь не приемлема. Я знаю только один способ контроля рынка - налоги"³³.

С момента поручения ему следить за переходом сельскохозяйственного сектора на рыночную экономику Руцкой сделал целый ряд предложений, нацеленных на разрушение монополий и на поощрение массовой частной собственности. Сердцевиной его предложений является поддерживаемая правительством частная сельскохозяйственная корпорация, известная в России под сокращенным названием РОКАП. Основная задача РОКАПа помогать созданию инфраструктур, столь необходимых для доставки сельскохозяйственных продуктов с поля в магазины.

Механизмы прошлого централизованного планирования еще действительны, однако на местах они игнорируются. Из-за отсутствия альтернатив для продукции и распространительной сети имеет место резкий спад в производительности в целом. В 1991 году 48% общего сельскохозяйственного урожая - рекордная цифра - было утеряно в процессе сбора и обработки³⁴. РОКАП возьмет на себя функции Госплана, но с совсем иным значением. Он не будет иметь директивных полномочий, но будет помогать

крестьянам- одиночкам и групповым сельскохозяйственным объединениям включаться в частное хозяйство, предлагая им для расширения выгодные кредиты, обучение и техническую помощь. РОКАП будет оценивать и субсидировать предложения частной приватизации исключительно на основе их потенциальной финансовой прибыли.

Средства на такое громадное мероприятие, по мнению Руцкого, могут быть выручены от продажи военных баз и техники, от прибыльных капиталовложений самого РОКАП и от иностранных капиталовложений, подобных тем, которые уже имеют место со стороны сельскохозяйственных предприятий Италии и Японии³⁵. В конечном итоге, однако, Руцкой видит массивную приватизацию как единственно правильное решение экономических недугов страны. Согласно его схеме, правительство выпустит передаточные боны, покрывающие имущество государства. Это может быть безвозмездно роздано нуждающимся и безработным, обеспечивая им тем самым постоянный источник дохода. Какая-то часть может быть продана или обменена банками и другими торговыми институтами. Приватизация государственного имущества явится стимулом для развития частной собственности, укрепления себестоимости рубля, для сохранения имущества на территории России. По подсчетам Руцкого, это имущество составляет не меньше двух триллионов долларов³⁶. Весьма важно, по мнению Руцкого, приватизировать не меньше одной трети всего имущества, чтобы убедить население страны в серьезности намерений правительства в отношении приватизации. Предлагаемая Руцким программа во многом сходна с той, которая принята сейчас правительством Чехословакии.

И при всем этом, подчеркивает Руцкой, должна быть глубокая вера в мастерство и предпринимательский дух русского народа. Снова и снова он призывал правительство сказать правду о тяжелом состоянии экономики народу, который, он убежден, поймет и поддержит. Он обвиняет "неолибералов" за их неверие в здравый смысл своего народа. Краткое резюме политических убеждений Руц-

кого было изложено в интервью, данном им вскоре после создания группы "Коммунисты за демократию".

"Человек должен быть раскрепощен, человек должен иметь право развиваться так, как он хочет, и жить, как он хочет. Ведь человек, который хочет жить хорошо, сам будет работать, и не надо его кормить лозунгами, придумывать ему социалистическое соревнование, не надо уговаривать, чтобы он не пил водку и не прогуливал. Он сам будет делать все как надо, если увидит в этом смысл"³⁷.

Странствующий рыцарь или государственный деятель?

Для большинства наблюдателей Руцкой остается загадочным человеком в правительстве, взявшем курс на демократические реформы. Они полагают, что со временем он создаст свою политическую партию и выставит свою кандидатуру в президенты вместо Ельцина. Руцкой действительно расширил свои связи с умеренными русскими националистами, но если ему будет суждено сменить Ельцина, значительных перемен не следует ожидать.

Ельцин и Руцкой, как две горошины в одном стручке. Не только их политический стиль, но и их политические убеждения настроены на те же волны: всячески содействовать продвижению русских национальных интересов. Это отнюдь не необычная задача для президента страны, но в сегодняшнем зигзагообразном политическом ландшафте само понятие "Россия" сопряжено с политическими последствиями. Некоторые из влиятельных творцов общественного мнения видят Россию и ее культурное наследство как природный аккумулятор, который нуждается в перезарядке после 70-летнего коммунистического злоупотребления и запущенности. По мнению людей этой группы, Россия должна сначала возродить свою "русскость". Если это будет означать сильный центризм, который поставит интересы России на первое место, то пусть так будет. Руцкой безусловно в этой группе.

Другая влиятельная группа творцов общественного

мнения, наоборот, видит создание сильного центрального правительства как преграду к демократии. По их мнению, "русскость" и есть основная проблема. Русское наследство должно быть устранено в пользу "западной" экономической и политической модели. Чем меньше эта модель опирается на русское прошлое, тем лучше. Как и их интеллектуальные предшественники на стыке столетия в Китае, Японии и Турции, они надеются спасти Россию путем ее модернизации. Эта точка зрения высказывается многочисленными политическими комментаторами в России и за рубежом³⁸.

Если эта дискуссия звучит знакомо, то в этом нет ничего удивительного. Мы являемся свидетелями очередного, до сих пор неразрешенного спора между славянофилами и западниками. Этот спор возник с особой остротой потому, что именно сейчас перед правительством в центре внимания стоит задача определить замысел России как нации. По этому важному вопросу между Ельциным и Руцким расхождений нет, - оба современные славянофилы или, как их охарактеризовал Леонард Шапиро, "консервативные либералы", стоящие на полпути между славянофилами и западниками³⁹.

Политические убеждения Руцкого вряд ли изменились с момента его избрания в вице-президенты в 1989 году, во всяком случае Ельцин пока не высказывал никаких разногласий. Хотя политические установки Ельцина очень незначительно изменились с момента его вступления на пост президента, его политическое окружение сильно изменилось. Отсюда постепенные уступки правительства критикам справа.

Год назад Ельцину удалось провести союзный договор и начать медленную передачу власти из центра в республики. Усилия его советников были направлены на получение поддержки Горбачева на усиление власти республик внутри реформированного Союза. Это рассматривалось как предел возможного, ибо правительства республиканского уровня, особенно в России, не имели значительной власти. В своей речи на Съезде народных депутатов России

28 октября 1991 года Ельцин сам признал, что он и его окружение предвидели "затяжную борьбу против центра".

События в августе 1991 года, однако, сильно изменили политический пейзаж в стране: центр и его служебные институты были почти мгновенно и безвозвратно дискредитированы; взрыв национализма подорвал всякую возможность создания нового Союза; конфликт взглядов и мнений всплыл на поверхность среди русских демократов по вопросу будущих контуров российского правительства.

С одной стороны, тогдашний премьер-министр Иван Силаев, его заместитель Игорь Гаврилов и министр экономики Евгений Сабуров пытались сразу же после неудавшегося переворота присоединить Россию к новому Союзу. Их лозунг мог спокойно быть лозунгом Бенджамина Франклина: "Мы должны висеть все вместе или мы наверняка будем висеть поодиночке". Новый Союз должен был быть свободной конфедерацией, с минимальной центральной властью, но с четким признанием сущности независимости. Это видение преобладало в риторике Горбачева, как и в выступлениях Силаева и Явлинского, на Межреспубликанском экономическом совете.

А с другой стороны, такие советники Ельцина, как Геннадий Бурбулис, Сергей Станкевич и вице-президент Александр Руцкой, пришли к заключению, что после попытки переворота любая форма Союза стала недостижимой. Решение Украины задержать подписание Договора об экономическом сотрудничестве между республиками и речь Леонида Кравчука в Ташкенте помогли им это полностью осознать. В результате они поняли, что выживание зависит не от восстановления Союза, а от становления на ноги самой России, даже если это будет означать экономически и политически идти в одиночку.

С отставкой Гаврилова и Сабурова и переводом Силаева из российского правительства в центр нового Содружества, а затем назначение Бурбулиса первым заместителем Председателя российского правительства с Егором Гайдаром как вице-председателем по вопросам экономики при

правительстве, политика "Россия на первом плане" стала набирать силу.

Тот факт, что Руцкой не получил признания за свой значительный вклад в эту победу, не должен затемнять другого факта, который дальнейшие события подтвердили: правильности его анализов. Действительно, чем больше разъединяется содружество, тем больше правительство примиряется со взглядами группы "Россия на первом плане"⁴⁰.

В трудно балансируемом акте, который правительство должно постоянно проводить во избежание отчуждения избирателей, столь необходимых для его существования, Руцкой занимает роль стержня. Он обезоруживает резких критиков, открыто говоря то, что они могут сказать лишь конфиденциально. Как же могут они утверждать полное банкротство правительства, если он, Руцкой, столь близкий к правительственной верхушке, выступает с их же требованиями. В то время как Руцкой выставлен на посмеяние в либеральной прессе за свои высказывания, он одновременно служит своего рода громоотводом для президента Ельцина, защищая его образ как человека, стоящего выше партийных интересов.

Кажущееся расхождение между Ельциным и Руцким поэтому меньше связано с их действительными взглядами, а больше с тем фактом, что оба они обязаны в политической карьере разным течениям. Ельцин опирался на либеральные прозападные силы, создавшие в свое время теперь уже не существующую коалицию "Демократическая Россия". Руцкой же опирался на консервативное крыло "Русского национально-реформистского движения". Их завидная политическая лояльность своим течениям позволяет теперь убеждать соответственно умеренно-либеральное крыло и умеренно-консервативное крыло политических сторонников. В конечном итоге, однако, тяжесть реформ должна одинаково опираться на плечи обеих групп. Только совместными усилиями могут они привлечь широкие слои населения к поддержке правительства и помочь ему в трудной задаче - в воссоздании русской демократии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Николай Н. Петро - доцент политологии при Государственном университете Род Айленд (США). Автор книг и многочисленных статей в американских газетах и журналах на темы прав человека, преемственности оппозиции в СССР, о перестройке. В 1989-90 гг., будучи стипендиатом Нью-Йоркского Совета по Международным Делам (Council on Foreign Relations), был прикомандирован к советскому отделу Госдепартамента США и по поручению последнего провел некоторое время при посольстве США в Москве, в качестве политического атташе. Печатался в "Посеве" и "Гранях".

2. Александр Иванко. "Сражение из холостых пушек". Лос-Анжелес таймс, 12 июня 1991, Б. 7.

3. Назар Бетанели. "Только 28 процентов избирателей доверяют Съезду как выразителю интересов народа". Известия, 13 апреля 1992, с. 3; Об отношении военнослужащих см. сообщение в вечерней программе "Вести" от 4 января 1992, перепечатанное в ам. журнале "Россия и СНГ сегодня", 1 апреля 1992.

4. "Откомандирован в распоряжение Верховного Совета". Новое время № 15, 1991.

5. "Свой среди чужих, чужой среди своих". Комсомольская правда, 6 апреля 1991, с. 2.

6. Сообщение радиостанции "Свобода", 1 февраля 1991.

7. В интервью с Геннадием Ариевичем, "Мятежный полковник", Новое время № 15, 1991.

8. Там же.

9. Дополнительные данные о новых демократах-коммунистах Руцкого", ФБИС-СОВ, 23 июля 1991.

10. Натали Гросс. "Военный вице-президент России". Джеин Интеллидженс Ревью, август 1991, с. 383.

11. Мартин Малия. "Ельцин и мы". Комментарии, апрель 1992, сс. 21-8.

12. Его призыв был перепечатан в ам. журнале СССР сегодня, 19 августа 1991.

13. Юлия Поспелова и др. "Сибирский рык военного пилота". Коммерсант, 29 декабря 1991, с. 1; в ФБИС-УСР, 2 января 1992.

14. Александр Руцкой. "В защиту России". Правда, 30 января 1992, с. 3.

15. Александр Солженицын. "Как нам обустроить Россию". Нью-Йорк: Фаррар, Штраус & Жиру, 1991.

16. Ральф Дарендорф. "Размышления о революции в Европе". Нью-Йорк: Рандом Хаус, с. 101.

17. В интервью с Андреем Карауловым "В России нет ни власти, ни демократии". Независимая газета, 18 декабря 1991, с. 2.

18. "Выступление вице-президента РФ А. В. Руцкого". "Обозревателю" (специальное дополнение о Конгрессе Гражданских и Патриотических Сил России), № 2-3, февраль 1992.

19. Александр Руцкой. "Сильная власть для демократии". Независимая газета, 13 февраля 1992, с. 5.
20. Выступление... см. прим. 18.
21. А. Руцкой. "Причастие у Макдональда". Известия, 31 января 1992.
22. Там же. См. прим. 19.
23. Дарендорф. "Размышления о революции в Европе", сс. 88-89, см. прим. 16.
24. Выступление... см. прим. 18.
25. Руцкой. "Сильная власть для демократии". Независимая газета, 13 февраля 1992, с. 5.
26. Интервью Юрия Бычкова с А. Руцким. "Полковник, которого избрал Ельцин". Столица № 21, 1991, в ФБИС-СОВ, 3 сентября 1991.
27. А. Руцкой. "Сильная власть...", см. прим. 25.
28. Там же. См. также прим. 21.
29. В интервью Василию Изгаршеву. "Убежден в правоте своих взглядов". Правда, 27 декабря 1991, с. 2.
30. А. Руцкой. "Есть ли выход из кризиса?". Правда, 8 февраля 1992, с. 3.
31. Там же.
32. Выступление... см. прим. 18.
33. Бычков. "Полковник, которого избрал Ельцин", см. прим. 26.
34. Сообщение ИТАР-ТАСС Василия Титова и Петра Цырендоржеева "Вице-президент России изложил концепцию аграрной реформы в стране", перепечатанное в ам. журнале "СНГ сегодня", 25 марта 1992.
35. Сообщение ИТАР-ТАСС Алексея Табачникова "Состоялась встреча Александра Руцкого с депутатами аграрниками", перепечатанное в ам. журнале "СНГ сегодня", 5 марта 1992.
36. Там же. См. прим. 18.
37. Ариевич. "Мятежный...", см. прим. 14.
38. Александр Янов красноречиво писал на эту тему. См. его книгу "Русский вызов и 2000-ый год". Оксфорд: Базиль Блаквелл, 1987; см. также: Ричард Пайпс недавно в его статье "Русский шанс". Комментарии, март 1992, сс. 28-33.
39. См. Л. Шапиро. "Русские исследования". Нью-Йорк: Пенгуин бокс, 1988, сс. 78-9, 125. В своей статье "Ельцин и мы" (см. прим. 11) Малия доказывает, что Ельцин - западник. Я же считаю, что описание его взглядов, данное Малией, скорее схоже со взглядами современных славянофилов. Эта точка зрения уже была изложена мною в статье "На путях к новой русской федерации", в журнале "Вилсон Куотерли", лето 1990, сс. 114-122.
40. См. "Правительство России корректирует курс". Независимая газета, 25 апреля 1992.

Перевод с английского Н. И. Петрова

Прот. В. ПОТАПОВ

"...молчанием предается Бог"

Вступление

Благодаря подвигу веры св. равноапостольного князя Владимира, сумевшего принять Евангелие и Христа как самое драгоценное и единственное, что может быть у человека и Кому можно подчиниться и служить до конца, Россия просветилась Светом Христовым. Русь украсилась сонмом подвижников благочестия. Благая Весть привела к расцвету всех сторон ее православной культуры.

Однако эти радостные страницы нашей истории со временем затмеваются падением благочестия и пагубным расколом. Наша интеллигенция, как евангельский блудный сын, уходит в страну далече с полной сумой народных ценностей, вдохновленных Святым Православием, а возвращается домой с ценностями ложными. В России появились идеи, которые постепенно отравляли русского человека ядом неверия. Долготерпеливый и многомилостивый Господь, как некогда ветхозаветной Ниневии*, посылает Своих пророков, чтобы предупредить наш народ и призвать его к покаянию, пока еще не поздно. Русские праведники всегда утверждали, что истинная вера во Христа, принадлежность Телу Христову - Святой Православной Церкви с Ее животворящими Таинствами - больше всего нужны русским людям. Пророки наши призывали к всеце-

* Древний ассирийский город, жители которого покалялись за свой нечестивый образ жизни и были Богом помилованы.

лой покаянной обращенности ко Господу как единственному средству для русских сохранить себя как христианский народ.

Поражает, с какой точностью наши пророки предвидели масштабы и ужасы грядущей Катастрофы. Задолго до начала русского лихолетья преп. Серафим Саровский предвидел такую страшную картину:

”Пройдет более чем полвека. Тогда злодеи поднимут высоко свою голову. Будет это непременно: Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, попустит их начинаниям на малое время, но болезнь их обратится на главу их, и на верх их снидет неправда пагубных замыслов их. Земля Русская обгадится реками кровей... [...] До рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее: бунты Рязанский, Пугачевский, Французская революция - ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей; осквернение церквей Господних; уничтожение и разграбление богатых добрых людей, реки крови русской прольются. [...]

[...] На земле Русской будут великие бедствия, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты Православия, и за это Господь тяжко их накажет” (источник см. прим. 9).

В революционном 1905 году св. прав. Иоанн Кронштадтский в одной из своих проповедей предостерегал:

”Россия, если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского народа - конец мира близок. Бог отнимет благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами” (“Юбилейный сборник Фонд св. прав. Иоанна Кронштадтского”, Ютика, Нью-Йорк, 1958).

Пламенные проповеди и призывы к покаянию не легли в сердце русского человека. Свершилась неслыханная в человеческой истории национальная трагедия. В лице богборцев-большевиков взбаламутилась русская темная стихия, поднялась Русь богохульная, окаянная. А. И. Солженицын в своей ”Темплтоновской речи” (Лондон, 10 мая

1983 г.) говорил, как ему в детстве объясняли причину Российской Катастрофы:

"Больше полувека назад, еще ребенком, я слышал от разных людей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: "Люди забыли Бога, оттого и всё".

С тех пор, потрудясь над историей нашей революции немногим менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свидетельств, и сам уже написав в расчистку того обвала восемь томов, - я сегодня на просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной революции, сглодавшей у нас до шестидесяти миллионов людей, не смогу выразить точнее, чем повторить: "Люди забыли Бога, оттого и всё".

Несколько лет назад было торжественно отмечено 1000-летие Крещения Руси. Работали различные комитеты и конгрессы, писались научные труды, публиковались книги и журналы, чеканились монеты и медали с целью увековечить дело св. князя Владимира. Однако во всем этом было упущено главное - покаяние, всенародное оплакивание своего *бogoотступничества*, приведшего к революционной Катастрофе.

Праведник наших дней архиепископ Иоанн (Максимович) в 1938 г. выразил это такими словами:

"...Нашедшее на Россию бедствие является прямым последствием тяжелых грехов и ее возрождение возможно лишь после очищения от них. Однако до сих пор нет настоящего покаяния, явно не осуждены содеянные преступления, а многие активные участники революции утверждают, что тогда нельзя было поступать иначе.

Не высказывая прямого осуждения февральской революции, восстания против Помазанника, русские люди продолжают участвовать в грехе, особенно когда отстаивают плоды революции" (Акт II Всезарубежного Собора, 1938 г., Югославия).

Можно смело сказать, что и расколы внутри Церкви являются следствием бogoотступничества, как и любое зло. Памятуя об этом, необходимо, чтобы Церковь Христова в России принялась за главную свою миссию: призыв к всенародному покаянию. В первую очередь исполнение этой заповеди лежит на архипастырях и пастырях.

Но если они впадают в жестоковыйность и неправомыс-

лие, народ Божий не только может, но и обязан возвысить свой голос в защиту Истины Христовой, ибо он тоже несет ответственность за канонический порядок в самой Церкви. Св. Иоанн Златоуст призывал верующих не все возлагать на одно духовенство, но и самим заботиться о Церкви. Грешно и преступно рядовым священникам и верующим отстраняться от ответственности за духовные пути Церкви, прикрываясь ложным смирением - "владыка знает лучше", "батюшка не благословил". Миряне не представляют собой лишь пассивный объект управления, с единственной обязанностью повиновения иерархии. Крещение и миропомазание есть своего рода рукоположение в христианское звание. Миряне в каком-то смысле тоже облечены в священный сан, по слову апостола Петра: *Вы народ Божий, царственное священство* (1 Петр. 2, 9).

Достаточно вспомнить замечательное место из "Окружного Послания" Восточных Патриархов 1848 г., которое гласит:

"У нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменною и согласною с верою отцов его".

Церковь есть наше общее достояние, и она требует общей нашей заботы, нашего личного участия. Кто любит Церковь, кто хочет Ей блага, кто думает о Ее будущем, может ли остаться хладнокровным и равнодушным к Ее призыву: "чадо, иди днесь, делай в винограднике Моем"?

Пусть нашей молитвой станет молитва, созданная неизвестными православными христианами, сразу же после Катастрофы 1917 г., которые сумели правильно осмыслить то, что произошло с Россией:

"Верую, Господи, и исповедую, что Ты посылаешь огонь и испытания для того, чтобы мы вышли из него чистыми и преображенными, готовыми для нового строительства жизни. Верую, Господи, что наша родина проходит через горнило скорби, чтобы омыться от накопившейся неправды и чтобы выйти возрожденной навстречу Господу своему. Верую, что среди бурь и пожара

Ты осеняешь нас крылом беспредельного милосердия Своего и ведешь нас через Голгофу искупления к неизреченному Свету Твоему. Неисповедимы пути Твои, Господи. Ты один ведаешь, когда чаша наша будет допита до дна и наступит светлый час воскресения нашего. Да будет воля Твоя!"

1. Раскол и его устранение

Наша брань не против крови плоти (т. е. против человека - В. П.)

(Еф. 6, 12)

Расколы вызывают глубокую душевную боль, особенно при воспоминании Первосвященнической молитвы Спасителя, произнесенной накануне Его страданий. Один из центральных моментов этой молитвы - прошение о единстве: *[...] да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня* (Иоан. 17, 21).

Бесспорно, должны быть приложены максимальные усилия для преодоления раскола и обретения единства. Этого желают все православные русские люди. Встать на этот путь необходимо всем членам Церкви. Это было отмечено в послании Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви (октябрь 1991 г.):

*[...] Раскол можно преодолеть только смиренной молитвой, покаянием и братской любовью ко всем падшим в тяжелое время гонений и заблудшим в настоящее время. [...] возрождение веры [...] должно начаться с духовного обновления нас самих, с покаяния и с очищения нас от греховной нечистоты и **самооправдания** (выделено мною - В. П.) Чистые сердцем Бога узрят, т. е., чтобы познать Бога и жить в Нём, необходимо очистить мысли, чувства и саму жизнь.*

Таким очищением себя положим начало некоторому предсоборному взаимопониманию, уяснению ошибок и отклонений от Истины. После такой подготовки возможен будет свободный от всякой "лояльности" и вмешательства чужеродных сил и их влияния Всероссийский Собор, созданный в соответствии с церковными началами, который будет судить об истории нашей Церкви в прошедшие десятилетия и сможет начертать ее дальнейшую судьбу.

Мы призываем всех чад Православной Церкви влиться в этот благодатный, предсоборный процесс с глубоким сознанием своей немощи и греховности, уповая на милость и помощь Божию. *Во смирении нашем помяну ны Господь* (Пс. 135, 23).

Ясно, что архиереи Русской Зарубежной Церкви мыслят этот предсоборный процесс как путь к истинному единству, а не как к внешнему объединению, достигаемому любой ценой.

* * *

Долго не мог понять я, почему отдельные представители российской эмиграции, посвятившие столько усилий и времени борьбе с коммунизмом, сегодня позволяют себе сознательно не замечать те страшные последствия коммунистической заразы, которые продолжают терзать Русскую Церковь.

Чем вызвано их требование к Русской Зарубежной Церкви во что бы то ни стало и при любых условиях воссоединиться с Московской Патриархией - одним из последних институтов, сохранившим следы этой коммунистической заразы?

Не объясняется ли это тем, что сопротивление вчерашних борцов с коммунизмом было лишь поверхностно-политическим, а не глубинно-духовным? Может быть, после стольких лет напряженной политической борьбы иссякли в них силы рассмотреть страшные результаты подчиненности Московской Патриархии богоборческому государству? Не стали ли некоторые из них на путь наименьшего сопротивления еще и потому, что их духовное чувство притупилось, и копромисс, ложь и прочие извращенные явления стали приниматься как нечто нормальное?

Сейчас надо не критиковать патриарха и Патриархию, а помогать им, говорят некоторые вполне благонамеренные люди, слишком легко забывающие церковную историю нашего времени. Во всем этом смутно припоминаются те настроения, которыми были охвачены некоторые эмигрантские круги после Второй мировой войны, а затем и в пору хрущевской "Оттепели".

Вчерашние члены компартии со своим прежним мышлением внешне вроде перестроились, но под флагами других партий и новых идеологий продолжают восседать и в российском правительстве, и в массовых общественных организациях. Тяжелое наследие коммунизма по-прежнему дает о себе знать всюду, где продолжают играть роль вчерашние коммунисты.

Зло, посеянное в России дьяволом, верными ему большевистскими прислужниками, продолжает по сей день мучить церковное тело России. Нельзя делать вид, что это не так. Священное Писание заповедует противостоять злу: *Покоритесь Богу; противостаньте дьяволу [...] исправьте сердца, двоедушные* (Иак. 4, 7-8).

"Закрывать глаза на зло прошлого, а тем более его оправдывать, значит дать ему новый шанс в будущем, - писал в свое время о. Александр Мень. - История, особенно недавняя, живет среди нас. Ее корни в нашем сознании, в нашем быту, в нашем словаре. Поэтому разбираться в ней, давать оценку страшным событиям, которые сотрясали мир на протяжении почти всего нашего века, - одна из насущных задач. Но понять их и оценить нельзя, не имея точки отсчета, шкалы ценностей, нравственного критерия" ("Советская культура", 21 октября 1989 г.).

То "зло прошлого", которое некоторые пытаются оправдать, убило автора процитированных выше слов.

Факты истории Московской Патриархии не отделены от нас годами. Посеянное в прошлом всходит в настоящем и будущем.

Чтобы продолжить наш разговор о сегодняшней русской церковной жизни, нам не обойтись без уяснения того, что такое сергианство и вместе с ним явления, породившие ныне переживаемый церковный кризис. Обратимся к истории.

2. Немного из истории сергианства

Не извиняйся неведением; ибо неведомый, сотворивый же достойная равам, биен будет за то, что не узнал (Лк. 12, 48).

Преп. Иоанн Лествичник

В начале 20-х годов, еще при жизни Святейшего Патриарха Тихона, большевикам стало ясно, что физически уничтожить Православную Церковь невозможно и даже невыгодно. Тогда решено было применить иную тактику. Богоборцы поставили своей целью - склонить главенство Церкви к сотрудничеству с их режимом и в интересах этого режима, в первую очередь овладев всем епископатом и клиром.

В числе документов, обнаруженных парламентской Комиссией Верховного Совета России по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота (августовского путча 1991 г.), фигурируют отчеты о деятельности 4-го отдела 5-го управления КГБ СССР. Эти отчеты представляют собою богатый материал для историков Русской Православной Церкви, изучающих ее судьбу в советский период.

В них идет речь о вербовке священнослужителей на службу госбезопасности. Согласно архивным данным, политика вербовки духовенства фактически началась уже с первых лет советской власти. Вот что по этому поводу говорится в одном из документов ЧК, датированных 1921 годом:

"Вопрос осведомительной и агентурной работы по духовенству - самый больной в ЧК как по трудности его выполнения, так и по тому, что на него до сих пор большею частью ЧК мало обращала внимания [...]

Что его нужно расшевелить и сдвинуть с места - это не подлежит никакому сомнению. И для более быстрого и верного проведения в жизнь необходимо на первых порах принять следующие меры:

1. Пользоваться в своих целях самим духовенством, в особенности занимающим важное служебное в церковной жизни положение, как-то архиереями, митрополитами и т. п., заставляя их под страхом суровой ответственности издавать по духовенству те или иные распоряжения, могущие быть нам полезными, например: прекращение запретной агитации по поводу декретов, закрытия монастырей и т. п.

2. Выяснить характер отдельных епископов, vikариев, поощряя их желаниям и замыслам.

3. Вербовать осведомителей по духовенству предлагается

после некоторого знакомства с духовным миром и выяснением подробных черт характера по каждому служителю культа в отдельности. Материалы могут быть добыты разными путями, а главным образом, через изъятие переписки при обысках и через личное знакомство с духовной средой.

Материальное заинтересование того или иного осведомителя среди духовенства необходимо, так как на одной этой почве еще можно договориться с попами, а надеяться на их доброжелательное отношение к Советской Власти нельзя, притом же субсидии денежные и натурой без сомнения их будут связывать более с нами и в другом отношении, а именно в том, что он будет **вечный раб ЧК, боящийся расконспирировать свою деятельность** (выделено мною. - В. П.).

Практикуется и должна практиковаться вербовка осведомителей и через застрашивание тюрьмой, лагерем по незначительным поводам, за спекуляцию, нарушение правил и распоряжений властей и т. п.

Правда, способ довольно ненадежный и могущий быть полезным только в том случае, когда объект для вербовки слабохарактерный и безвольный. Главным образом надо обращать внимание на качественное состояние осведомителя, а не на количественное. Ибо только тогда, когда завербованы хорошие осведомители и вербовка произведена со вниманием, можно надеяться черпать из той или другой среды нужные нам материалы" (ЦА КГБ ф. 1, оп. 5, пор. № 360, д. 360, 1921 г., секр. отдел, л. 6; подпись: Помощ. Уполномоч. Со ВЧК).

В этом до крайности преисполненном цинизма документе чекисты признаются в том, что в то время - 1921 г. - вербовка духовенства Русской Православной Церкви трудно давалась ("самый больной в ЧК" вопрос). Зато эту унизительную роль охотно взяла на себя группа духовенства, организовавшая так называемую "Живую" или "Обновленческую церковь". Это были священники, которые еще до революции 17-го года примыкали к "левому крылу", а также лица, соблазненные перспективой своеобразной (опекаемой властью) духовной карьеры при коммунистическом строе и потому решившиеся стать на путь церковно-политических авантур. Коммунисты всемерно поддерживали деятельность обновленцев, так как в духовенстве этого типа они видели послушное орудие, которое могло помочь им в разрушении Церкви изнутри.

Однако церковный народ не поддержал обновленцев. Он оставался верен подвергшемуся гонениям патриарху Тихону. Тогда многие противники обновленческого движения были преданы суду, над ними зверски издевались в чекистских застенках и их массами ссылали на Соловки и в Сибирь.

Неудачу с "Живой церковью" коммунистическая власть компенсировала сторицей и полностью добилась своей цели в сговоре с Заместителем Местоблюстителя патриаршего престола митрополитом Сергием (Страгородским), бывшим обновленцем, о котором преп. Нектарий Оптинский сказал еще до выхода его Декларации летом 1927 года, что хотя он и "покаялся, но яд в нем сидит"¹.

29 июля 1927 г. было обнародовано печально известное "Послание пастырям и пастве" (Декларация митрополита Сергия)². Подлинные цели большевиков, направленные на уничтожение всякой религии, в этом Послании камуфлировались обобщением интересов богоборческой системы в СССР с интересами русского народа и с именем Родины:

"Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди [...] но и самые ревностные приверженцы его [...] Мы хотим быть православными и в то же время сознать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой - наши радости и успехи, а неудачи - наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз [...] создается нами, как удар, направленный в нас [...]".

В Декларации митрополита Сергия предлагалось самоустраниться тем из духовных лиц, кто не захотел принять его условий. В ней содержались угрозы по адресу заграничного русского духовенства и впервые от имени "узаконенной" советским правительством Московской Патриархии выражалась благодарность советскому правительству "за его внимание к нуждам православного населения" (сколько раз нам еще придется услышать подобное из уст иерархов Московской Патриархии!).

Этой Декларацией митрополит Сергей единолично за всю Церковь принял советские условия ее легализации, не

найдя нужным снестись не только с заключенным в лагере законным Местоблюстителем Патриаршего Престола митрополитом Петром, но даже с епископами, бывшими тогда еще на свободе. Митрополит Сергей игнорировал обязательное для всех православных архипастырей 34-е Апостольское правило, которое, в частности, гласит: "...Первый (епископ. - В. П.) ничего да не творит без рассуждения всех, ибо так будет единомыслие".

"Мудрый старец" (так величали митрополита Сергея его последователи) *узурпировал* церковную власть и, грубо нарушив каноны Церкви, поставил под сомнение все последующие решения и действия Московской Патриархии.

Формально создавались так называемые "нормальные отношения" между сергианской иерархией и правительством СССР, фактически же центральное церковное управление Московской Патриархии не только попало под контроль органов коммунистической диктатуры, но стало их послушным орудием во внутренней и внешней политике.

Декларация митрополита Сергея была расценена в то время многими либо как малодушие, преступный компромисс его архиерейской совести, либо как превышение церковной власти. Митрополит Сергей получил массу письменных протестов, к нему прибывали делегации духовенства и мирян, которые умоляли его отказаться "пока не поздно" от взятого им курса и уступить место другим, более мужественным и стойким архипастырям. По сведениям митрополита Иоанна (Снычева), в некоторых епархиях до 90% приходов не приняли эту Декларацию, отослав ее обратно автору.

Его предупреждали, что этот компромисс вовлечет Русскую Церковь в орбиту советской политики, напоминали ему, что путь Церкви, как и земной путь Христа, - путь не приспособленчества, а путь Голгофы. Многие из тех, кто предупреждал митрополита Сергея, сами взойшли на Голгофу, составив бесчисленный сонм Новомучеников и Исповедников Российских (Новомученики и Исповедники

Российские прославлены Русской Зарубежной Церковью в 1981 г.). Участник событий тех дней проф. И. М. Андреев свидетельствует, что "по количеству и по духовному удельному весу протестующих (против Декларации митрополита Сергия. - В. П.) можно было судить об объеме, глубине и нравственной силе протеста"³.

9 сентября 1927 года, тщательно рассмотрев Декларацию заместителя патриаршего местоблюстителя и Временного патриаршего Синода и приняв во внимание, что высшая церковная власть в России находится в тяжком пленении у врагов Церкви, не свободна в своих деяниях, в Окружном Послании Собор архиереев Русской Заграничной Церкви⁴ определил:

1) Заграничная часть Всероссийской Церкви должна прекратить сношения с Московской церковной частью ввиду невозможности нормальных сношений с нею и ввиду порабощения ее безбожной советской властью, лишаящей ее свободы в своих волеизъявлениях и канонического управления Церковью.

2) Чтобы освободить нашу иерархию в России от ответственности за непризнание советской власти заграничной частью нашей Церкви, впредь до восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей Церкви от гонений безбожной советской власти, заграничная часть нашей Церкви должна управляться сама, согласно священным канонам, определениям Священного Собора Всероссийской Поместной Православной Церкви 1917-18 гг. и постановлению Святейшего Патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 7/20 ноября 1920 года, при помощи Архиерейского Синода и Собора Епископов, под председательством Киевского митрополита Антония (Храповицкого. - В. П.).

3) Заграничная часть Русской Церкви почитает себя неразрывною, духовно-единою ветвью великой Русской Церкви. Она не отделяет себя от своей Матери Церкви и не считает себя автокефальною. Она по-прежнему считает своею главой Местоблюстителя митрополита Петра и возносит его имя за богослужениями.

4) Если последует постановление митрополита Сергия и его Синода об исключении заграничных епископов и клириков, не пожелавших дать подписку о верности советскому правительству, из состава клира Московского Патриархата, то такое постановление будет неканоническим.

5) Решительно отвергнуть предложение митрополита Сергия

и его Синода дать подписку о верности советскому правительству, как неканоническое и весьма вредное для Святой Церкви как в России, так и за границей”.

Аналогичную позицию по отношению к митрополиту Сергию и его Декларации заняли и многочисленные иерархи на территории советской России. Отбывающие заключение в Соловецком монастыре епископы-исповедники так отзывались на Декларацию митрополита Сергия (27 сентября 1927 г.):

а) “[...] Мысль о подчинении Церкви гражданским установлениям выражена в такой категорической и безоговорочной форме, которая легко может быть понята в смысле полного сплетения Церкви и государства [...]”.

б) “[...] Послание приносит Правительству ”всемирную благодарность за внимание к духовным нуждам Православного населения”. Такого рода выражение благодарности в устах Главы Русской Православной Церкви не может быть искренним и потому не отвечает достоинству Церкви [...]”.

в) “[...] Послание Патриархии без всяких оговорок принимает официальную версию и всю вину в прискорбных столкновениях между Церковью и государством возлагает на Церковь [...]”.

г) Угроза запрещения эмигрантским священнослужителям нарушает постановление Собора 1917/1918 гг. от 3/16 авг. 1918 г., разъяснившее всю каноническую недопустимость подобных кар и реабилитировавшее всех лиц, лишенных сана за политические преступления в прошедшем (Арсений Матвеевич, свящ. Григорий Петров)” (Цит. по книге: Лев Регельсон ”Трагедия Русской Церкви”, Париж, YMCA-Press, 1977, с. 436).

Здесь уместно привести некоторые соображения одного из выдающихся епископов, пользовавшегося непререкаемым духовным авторитетом, - Дамаскина Глуховского⁵. На два вопроса, поставленные митрополиту Сергию епископом Дамаскиным (29 марта 1929 г.):

”1) Считаете ли Вы, что решение Ваше является голосом соборного иерархического сознания Российской Церкви?

И

2) имеете ли Вы основание считать Ваш личный авторитет достаточным, чтобы противопоставить его сонму маститых иерархов, совершенно не разделяющих Вашу точку зрения?”

- заместитель местоблюстителя патриаршего престола не дал ответа.

Владыка Дамаскин от имени многочисленных иерархов назвал поступок митрополита Сергия *изменой*, возмущившей их души.

"В живом теле Церкви, - писал владыка Дамаскин, - в массе верующих сейчас происходит глубокий процесс духовной дифференциации по отношению к главной спасительной идее Церкви. И именно ваша Декларация вызвала этот процесс [...]"

Не прерывающие общения с митрополитом Сергием, по словам еп. Дамаскина, "являются невольными соучастниками и греха" его.

"Верующие, возмущенные в глубине души своей изменой Вашей заветам Христа и правды Православной, отвернулись от Вас и от всех тех, кто с Вами, - пишет далее владыка Дамаскин. - Они предпочитают не ходить в храмы, где возносится Ваше имя, и не говеть вот уже два года из боязни сделаться причастниками греху Вашему. Они с упованием и страхом ждут голоса ссыльной Церкви [...]"

Грех Ваш еще внутренняя неправда самой Декларации, основанная на боязливости. Ведь только в таком освещении становится понятным 8-й стих 21-й главы Откровения, где "боязливые" поставлены наряду с неверными, убийцами и любодейцами [...]"

Страшно подумать, как пошатнули, подорвали Вы Вашей Декларацией авторитет церковной иерархии, какую обильную жатву собирают на этой почве враги наши, как много верующих, не видя для себя доброго примера в своих пастырях, усомнились на Вечную Правду, и как много их посему отшатнулось от Церкви и погибает в отщепенческих болотах и в струях сектантства!.. *О, Владыко! Подумайте, какая тьма погубленных душ на Страшном Суде смогут вину за свою гибель свалить на Вас!..* (выделено мною. - В. П.).

Вся Церковь ждет от Вашего Высокопреосвященства открытого заявления - считаетесь ли Вы с мнением подавляющего большинства иерархов [...]"

Угасание духа веры в массах, принижение спасительных идеалов Церкви, забвение пастырями своего долга, умножение на этой почве беззакония, "иссякание любви многих" [...]"

Не следовало при этом упускать из виду, что сколько бы ни делать сатане уступок, он будет требовать все новых жертв себе, ибо такова природа зла; сила Церкви и источник ее постоянного обновления не во вне, а внутри ее самой [...]"

Все совершается совершенно обратно всем Вашим человеческим расчетам и упованиям [...]"

Вы уже не можете быть вычеркнуты со страниц ее (Церкви. - В. П.) истории: то или в сонм Исповедников своих впишет имя ваше Российская Церковь, или же отнесет к числу изменников ее миротворительным идеалам [...]

Внемлите общему голосу верующего народа, каковой несомненно является и "голосом Божиим" [...] взгляните в открывающуюся перед Вами пропасть неизбежного раскола; ужаснитесь ответственности за угасание огня веры в массах... и откажитесь от Вашего курса, от Ваших компромиссов; *аннулируйте Вашу Декларацию* (выделено мною. - В. П.), как акт личного Вашего заблуждения и выходящий за пределы Ваших полномочий; явите себя глашатаем Вечной Правды и истинной Любви Евангельской пред миром; отбросьте человеческие мудрования и расчеты и станьте на путь твердого исповедничества во имя Христово; не бойтесь возможности горших скорбей и испытаний для Церкви (они неизбежны, и Ваши компромиссы лишь принижают их значимость), ибо Церковь возликует, идя вслед за сим на новую Голгофу, и даже в страданиях своих благословит имя Ваше, зная, что главнейший источник разлагающего ее начала Вами уничтожен [...]

Но увы! Если Вы, Ваше Высокопреосвященство, станете упорствовать в Вашем курсе и открыто пренебрежете голосом Церкви, то она, продолжая свой крестный путь, откажется от Вас, как от соучастника с ее распинателями [...]

Мы умоляем, зовем Вас, Владыко, мы все еще возле Вас и готовы подать Вам руки... Если Вы все же не внемлете, не возвратитесь, то пойдете Вашим уклоном дальше. *Но без нас*" ("Пред судом Божиим. Русская Православная Зарубежная Церковь и Московская Патриархия", Monastery Press, Монреаль. Канада, 1990, сс. 12-27).

В Окружном Послании Собора русских заграничных архиереев православной русской пастве 1933 г. говорилось:

"Мы не можем, конечно, помешать ему (митр. Сергию. - В. П.) идти избранным путем, но сами не пойдём за ним. Мы знаем только одну правду, вечную Правду Христову; если теперь хотят ее подменить какою-то другою, человеческою правдою, то мы готовы воскликнуть вместе с Исааком Сириянином: "Да погибнет такая правда!"

"Только молчите, - говорит нам митрополит Сергей, - и не обличайте советскую власть, ибо это есть акт политический".

"Молчи, только одно тебе говорю, молчи", - гневно говорил некогда Грозный Царь святителю Филиппу, продолжавшему осуждать его жестокость и защищать поправленную им правду. Не можем последовать призыву митрополита Сергея и мы, зарубежные епископы.

В те дни, когда Христос, почтивший нас святительским достоинством и призвавший нас быть Его верными истинными свидетелями, бороться с антихристом, мы не только не можем быть на стороне Его противника, но даже просто оставаться нейтральными в этой борьбе, ибо здесь *"молчанием предается Бог"* (выделено мною. - В. П.), по слову Григория Богослова" (Архиепископ Никон (Рклицкий), "Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого", изд. Северо-Американской и Канадской Епархии (Русской Зарубежной Церкви), Нью-Йорк, т. 6, с. 298).

Приведенные выше свидетельства - это ничтожно малая часть исторических документов, сохранившихся от тех времен, вопиющих о глубочайшем падении митрополита Сергия и о страшном предательстве им церковных интересов.

Была ли у Церкви альтернатива избранному митрополитом Сергием курсу? Да, была. Она выражена в "Памятной записке соловецких епископов" (известной еще как "Послание Соловецких исповедников"), подписанной 27 сентября 1926 г. 17-ю епископами, томившимися в известном СЛОНе (соловецкий лагерь особого назначения). Это замечательное послание соловецких узников мало кому известно в России по той причине, что Московская Патриархия держит его под спудом.

В обращенном к "правительству СССР" этом документе нет даже и тени соглашательства. Епископы по всей правде заявили, что *"в самых основах мирозозерцания между Церковью и государством не может быть никакого внутреннего примирения"* (выделено мною. - В. П.), потому что условием ее бытия и смыслом ее существования является то самое, что категорически отрицается коммунизмом". Обратимся к самому историческому посланию. Вот некоторые характерные фрагменты.

"Подписавшие настоящее заявление отдают себе полный отчет в том, насколько затруднительно установление взаимных благожелательных отношений между Церковью и государством в условиях текущей действительности, и не считают возможным об этом умолчать. Было бы неправдой, не отвечающей достоинству Церкви и притом бесцельной и ни для кого не убедитель-

тельной, если бы они стали утверждать, что между Православной Церковью и государственной властью Советских республик нет никаких расхождений. Но это расхождение состоит не в том, в чем желает его видеть политическая подозрительность и в чем его указывает клевета врагов Церкви. Церковь не касается перераспределения богатств или их обобществления, т. к. всегда признавала это правом государства, за действия которого не ответственна. Церковь не касается и политической организации власти, ибо лояльна в отношении правительства всех стран, в границах которых имеет своих членов. [...] Это расхождение лежит в непримиримости религиозного учения Церкви с материализмом, официальной философией коммунистической партии и руководимого ею правительства Советских республик.

[...] Никакими компромиссами и уступками, никакими частичными изменениями в своем вероучении или перетолкованиями его в духе коммунизма Церковь не могла бы достигнуть такого сближения. Жалкие попытки в этом роде были сделаны обновленцами [...]

[...] Православная Церковь никогда не станет на этот недостойный путь и никогда не откажется ни в целом, ни в частях от своего, овеянного святыней прошлых веков, вероучения в угоду одному из вечно-сменяющихся общественных настроений. При таком непримиримом идеологическом расхождении между Церковью и государством, неизбежно отражающемся на жизнедеятельности этих организаций, столкновение их в работе дня может быть предотвращено только последовательно проведенным законом об отделении Церкви от государства, согласно которому ни Церковь не должна мешать гражданскому правительству в успехах материального благополучия народа, ни государство стеснять Церковь в ее религиозно-нравственной деятельности.

Такой закон, изданный в числе первых революционным правительством, вошел в состав Конституции СССР и мог бы при изменившейся политической системе до известной степени удовлетворить обе стороны. Церковь не имеет религиозных оснований не принять его. Господь Иисус Христос заповедал предоставить "кесарево", т. е. заботу о материальном благополучии народа, "кесарю", т. е. государственной власти, и не оставил нам, своим последователям, завета влиять на изменение государственных форм или руководить их деятельностью. Согласно этому вероучению и традициям, Православная Церковь всегда сторонилась политики и оставалась послушной государству во всем, что не касалось веры.

[...] Правительство как в своем законодательстве, так и в порядке управления, не остается нейтральным по отношению к

вере и неверию, но совершенно определенно становится на сторону атеизма, употребляя все средства государственного воздействия к его насаждению, развитию и распространению, в противовес всем религиям.

[...] *Православная Церковь считает сыск и политический донос совершенно несовместимыми с достоинством пастыря*" (выделено мною. - В. П. Цит. по книге: Лев Регельсон. "Трагедия Русской Церкви", Париж, YMCA-Press, 1977, сс. 417-425).

15 февраля 1930 г., в то время, когда многие авторы "Соловецкого послания" и большинство иерархов, и многие священнослужители Русской Православной Церкви томились в лагерях и ссылках и пребывали в тяжких обстоятельствах, митрополит Сергей и его Синод провели пресс-конференцию, на которой митрополит Сергей ответил на ряд вопросов представителей печати. Эти материалы широко разошлись тогда по всему миру.

Вопрос. Действительно ли существует в СССР гонение на религию и в каких формах оно проявляется?

Ответ. Гонения на религию в СССР никогда не было и нет. В силу декрета "Об отделении церкви от государства" исповедание любой веры вполне свободно и никаким государственным органом не преследуется. Больше того, последнее постановление ВЦИК и СНК РСФСР "О религиозных объединениях" от 8 апреля 1929 г. совершенно исключает даже малейшую видимость какого-либо гонения на религию.

Вопрос. Верно ли, что безбожники закрывают церкви, и как к этому относятся верующие?

Ответ. Да, действительно, некоторые церкви закрываются. Но проводится это закрытие не по инициативе властей, а по желанию населения, а в иных случаях даже по постановлению самих верующих. Безбожники в СССР организованы в частное общество, и поэтому их требования в области закрытия церквей правительственные органы отнюдь не считают для себя обязательными.

Вопрос. Верно ли, что священнослужители и верующие подвергаются репрессиям за свои религиозные убеждения, арестовываются, высылаются и т. д.?

Ответ. Репрессии, осуществляемые Советским правительством в отношении верующих и священнослужителей, применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения, а в общем

порядке, как и к другим гражданам, за разные противоправительственные деяния. Надо сказать, что несчастье церкви состоит в том, что она в прошлом, как это хорошо всем известно, слишком срослась с монархическим строем... К сожалению, даже до сего времени некоторые из нас не могут понять, что к старому нет возврата, и продолжают вести себя как политические противники Советского государства...

Вопрос. Соответствуют ли действительности сведения, помещенные в заграничной прессе, относительно жестокостей, чинимых агентами соввласти по отношению к отдельным священнослужителям?

Ответ. Ни в какой степени эти сведения не отвечают действительности. Все это сплошной вымысел, клевета, совершенно не достойная серьезных людей" (цит. по книге В. А. Куроедова "Религия и церковь в советском обществе", Москва, 1984).

Исчерпывающую оценку этой пресс-конференции митр. Сергия и его Синода дали соловецкие епископы-исповедники еще за четыре года до ее проведения, тогда же они поставили диагноз болезни Московской Патриархии:

"Православная Церковь не может по примеру обновленцев засвидетельствовать, что религия в пределах СССР не подвергается никаким стеснениям и что нет другой страны, в которой она пользовалась бы такой полной свободой. Она не скажет вслух всего мира этой позорной лжи, которая может быть внушена только или лицемерием, или сервилизмом, или полным равнодушием к судьбам религии, заслуживающим безграничного осуждения в ее служителях". [...] *и не может стать слугой государства* (выделено мною. - В. П.). Цит. по книге: Лев Регельсон. "Трагедия Русской Церкви", с. 422).

Примирить и соединить ту и другую точку зрения невозможно. Предлагаю читателям самим решить вопрос, чем же была внушена митр. Сергию эта позорная ложь? Лицемерием? Сервилизмом? Или полным равнодушием к судьбам религии? В любом случае, по слову исповедников, она заслуживает безграничного осуждения, так может говорить только обновленец.

Сергианство - синоним лжесвидетельства. Сергианство - еkkлeзиoлoгичeскoе лжeучeниe. Летописец православного мученичества протопресвитер Михаил Польский пишет, что митрополит Сергей погрешил против

девятого члена Символа Веры о Церкви единой святой соборной и апостольской:

"В свое время это отметил в полемике с митрополитом Сергием Николай (Добронравов), епископ Владимирский (от 7/20 апреля 1928 г.), сказавший, что "против апостольства Церкви он погрешил введением в Церковь мирских начал и земных принципов, против святости - похулением подвига исповедничества (отрицанием фактов преследования Церкви и мученичества ее чад. - В. П.), против соборности - единоличным управлением Церковью", не говоря уже о том, что он нарушил и единство ее.

[...] Церковь вселенская - соборное целое, и каждый член ее должен не нарушать догмата соборности. Можно погрешить против вселенскости Церкви на местах, не храня *единства духа в союзе мира* (Еф. 4, 3) самочинием, идя против связующего в ней начала, ибо соборная Церковь состоит из множества членов, хранящих единство. Поэтому всякий, кто противопоставляет свою волю всей Церкви, погрешает против догмата о соборной Церкви. Каждый ее член должен верить так, как она.

[...] Похищение епископом власти соборной есть уже не раскол, а ересь единоличного управления Церкви епископом, отколовшимся от соборного единства [...]

Догмат о Церкви, выраженный в 9-м члене Символа Веры, был нарушен в прошлом определенным открытым образом в Римской Поместной Церкви единоличной диктатурой первого ее епископа, заявившего претензию на таковое же главенство над всею Церковью. Но православная Вселенская Церковь отвергла это притязание и порвала общение с Римской Поместной Церковью [...]

Самочинием первого епископа в Русской Церкви [...] (митр. Сергий. - В. П.) нарушил догмат соборности" (Прот. М. Польский. "Каноническое положение высшей церковной власти в СССР и за границей", 1948, сс. 79-81).

Сергианство - это трагедия всей Российской Церкви. Невзирая на то, кто где находится, мы, верующие, части единого Тела Христова, по слову ап. Павла: *Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы - тело Христово, а порознь - члены* (1 Кор. 12, 25-27). Именно поэтому в преодолении печальных последствий сергианства Зарубежная Церковь так же кровно заинтересована, как и все страдающие члены Русской Церкви на Родине.

3. Печальные последствия сергианства

*Оттого что церковь Божию
Святотатственной рукой
Приковала ты к подножью
Власти суетной, земной...*

Хомяков

Нам нельзя обойти молчанием позорное участие и в служении "культу личности", которое принимали иерархи Московской Патриархии и которое никогда осуждено ими не было. В связи с этим в мае 1988 года, накануне открытия Собора Московской Патриархии, группа русских православных христиан* письменно обратилась к патриарху Пимену и епископату с предложением осудить этот грех идолопоклонства.

Лучше авторов этого обращения не скажешь об ужасе пресмыкания перед Сталиным. Вот отрывок из обращения восьми православных христиан к священноначалию Московской Патриархии:

"Восстановленная из руин в конце Второй Мировой войны по приказанию Сталина Московская Патриархия активно включилась в воскурение словесного фимиама "Вождю, Учителю и Другу трудящихся" - тирану, чьи руки обгажены кровью миллионов невинных страдальцев, в числе которых и сонм Российских Новомучеников.

Словами с амвона к верующим, поздравительными телеграммами, приветственными посланиями и даже молитвенными возгласаниями в многолетиях, обращенными к Самому Господу Богу, "о державе Российской, Вожде ее и властях", Московская Патриархия сакрализовала этот "культ", молитвенно освящала его, придавая ему религиозную санкцию.

Тем самым Московская Патриархия вольно или невольно духовно совращала одних своих чад в смертный грех идолопо-

* Свящ. Г. Якунин, свящ. Н. Гайнов, Л. Тимофеев, А. Бесмертный, З. Крахмальникова, В. Попков, Ф. Светлов и В. Борщев. Их обращение опубликовано в еженедельнике "Русская мысль" № 3749, 4 ноября 1998 г., с. 7.

клонства, обличаемого еще ветхозаветными пророками, других - в соблазн двуличия, приспособленчества, конформизма, при этом отталкивая от себя многих из тех, кто был на пути к Церкви.

Апофеозом служения Московской Патриархии "культу личности" Сталина явился "Приветственный Адрес Вождю народов СССР", поднесенный Сталину к его 70-летию от лица духовенства и мирян Русской Православной Церкви Патриархом Алексием и правящим епископатом (см. "Журнал Московской Патриархии", 1949 г., № 12). Этот адрес без колебаний можно назвать самым позорным документом, составленным от имени Церкви за всю историю существования христианства и уж тем более за тысячелетнюю историю христианства на Руси.

В то время, как в обществе разрушались моральные и нравственные устои, поощрялись лжесвидетельство, доноительство, отречение детей от преследуемых родителей, жен от арестованных мужей; в то время, как из сознания народа изгонялись понятия милосердия и сострадания и происходило всеобщее поругание образа и подобия Божия в человеке, епископат Русской Церкви изливал обожествляемому деспоту свои верно-подданнические чувства: "Нам особенно дорого то, что в деяниях Ваших, направленных к осуществлению общего блага и справедливости, весь мир видит торжество нравственных начал".

Со словами религиозного восторга обращались к Сталину возглавители Церкви, подвергшейся в недалеком прошлом невиданно жестоким преследованиям, возглавители, многие из которых сами лишь недавно вышли из лагерей, тюрем, ссылок, имевшие полное представление о тяжести и масштабах преступлений против народа, совершаемых в стране.

Не нашлось среди современных иерархов митрополита Филиппа, чтобы обличить злодеяния нового Ивана Грозного. Не обрела Церковь другого святого страстотерпца, в лице которого она выступила бы с мечом правды против силы зла.

Единогласно возносила иерархия Московской Патриархии хвалебные славословия "Вождю народов": "Шлем Вам молитвенное пожелание многих лет жизни на радость и счастье нашей великой Родины, благословляя Ваш подвиг служения ей и сами вдохновляясь этим подвигом Вашим".

Не приближается ли это благословение иерархов по уровню греховности и в то же время своей религиозной значимости к кощунству?..

Не нашлось мужества отказаться подписать "Приветственный Адрес" у тех архиереев, кто сделал это вопреки своей воле, "страха ради иудейска" - такой отказ означал идти на крест, и

осуждать этих епископов нелегко. Но вызывает недоумение, что в благоприятное время хрущевской "оттепели" никто из подписавших адрес не покаялся, хотя бы в индивидуальном порядке, тем более что такое покаяние было бы воспринято с полным пониманием тогдашним политическим руководством страны.

Никого из подписавших "Приветственный Адрес" Сталину нет больше в живых, но *вот, теперь время благоприятное* (2 Кор. 6, 2) для очищения нашей Церкви от греха идолопоклонства".

Вопрос "культы личности" на Соборе рассмотрен не был. На пресс-конференции 9 июня 1988 г. по случаю закрытия Поместного Собора, по поводу осуждения "культы личности" Сталина митрополит Киевский Филарет сказал, что это вопрос политический и не входил в компетенцию Собора.

Лжесвидетельство неотделимо от сергианства. Лжесвидетельству митрополита Сергия на Новомучеников и Исповедников Российских в последующие годы вторили и патриархи Алексей I и Пимен. А патриарх Алексей II несколько лет назад, в пору политических арестов, когда по тюрьмам и лагерям отбывали сроки заключения сотни верующих и политических заключенных, заявил на весь мир:

"В Советском Союзе граждан никогда не арестовывают за их религиозные или политические убеждения" (Джейн Эллис, "Русская Православная Церковь", изд. университета Индиана, 1986, с. 426).

В год Тысячелетия Крещения Руси в Москве в издательстве "Прогресс" на английском языке вышла книга бельгийского писателя Людо ван Экка "В поисках святой матушки Руси". Книга содержит большое интервью митрополита Питирима. По словам митрополита, цензуры в Советском Союзе не существовало и не существует⁶. Издательский отдел, которым он ведал, всегда мог публиковать все, что угодно, без ограничений. Государство никогда не вмешивается во внутренние дела Церкви.

"Только в 1917 г., после революции, Церковь получила независимость, которой она была лишена со времени Петра I, - сказал митрополит Питирим в интервью, данном Людо ван Экка. -

Новый Патриарх Тихон был заклятым врагом социализма, он анафематствовал советскую власть и открыто призвал к свержению нового строя силой оружия. Священнослужители призывали к вооруженному восстанию, многие из них боролись против советской власти с оружием в руках на стороне белогвардейцев и иностранных интервентов. Поэтому их судили за уголовные преступления. Социалистическое государство никогда, и я хочу подчеркнуть это слово, никогда не преследовало нашу Церковь или любую иную религию.

[...] Церковь никогда не подвергалась преследованиям, за исключением тех священников, чья деятельность не имела ничего общего с их церковными обязательствами.

У Коммунистической партии Советского Союза и у Церкви много общих целей. Конечно, мы не можем вмешиваться в дела Коммунистической партии. И партия тоже не вмешивается в дела Церкви. Очень хорошо, что эти два главных общественных института - государство и Церковь - мирно сосуществуют и во многих случаях сотрудничают в интересах нашего общего социалистического государства" (с. 13-17).

Вспомним нашумевший на весь мир секретный доклад 1974 года, предназначенный для ЦК КПСС, в котором откровенно говорится о полном тогда контроле Совета по делам религий над Церковью ("Вестник РХД", № 130, Париж [1979] и № 131 [1980]). Его автор, Василий Фуров, занимавший в то время пост заместителя председателя Совета, поделил церковную иерархию на три категории: полностью подчиненных госатеизму епископов, не совсем подчиненных и умеренно сопротивлявшихся попыткам Совета свести на нет влияние и деятельность Церкви.

В фуrowsком документе нынешний патриарх Алексей II включен в первую категорию. Об этой группе Фуров пишет, что это архиереи,

"...которые и на словах и на деле подтверждают не только лояльность, но и патриотичность к социалистическому обществу, строго соблюдая законы о культах, и в этом же духе воспитывают приходское духовенство, верующих, реально сознают, что наше государство не заинтересовано в возвышении роли религии и церкви в обществе и, понимая это, не проявляют особенной активности в расширении влияния православия среди населения" ("Вестник РХД" № 130, с. 278).

Опубликованы и другие документы Совета по делам

религий ("Гласность", Москва, № 13, декабрь 1987), в которых идет речь о доносительстве нынешнего патриарха Алексия II на митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена (будущего патриарха). На них Советом по делам религий поставлен гриф "доверительно" и "строго конфиденциально". Эти документы вскрывают важнейшие механизмы тогдашних взаимоотношений правящих иерархов РПЦ с представителями "атеистического начальства".

Подлинность и фуровского отчета, предназначенного только для глаз функционеров ЦК КПСС, и "задушевных бесед" (доносов в Совете по делам религий) нынешнего патриарха, не вызывают в настоящее время ни малейшего сомнения. Известно, что о. Глеб Якунин был приговорен к длительному сроку заключения в том числе за то, что предал эти документы гласности. Этой утечке посвящен один из секретных документов КГБ - письмо от 15 января 1982 года заместителя Председателя КГБ В. Чебрикова в ЦК КПСС на имя М. В. Зимянина ("Об утечке информации из Совета по делам религий при Совете Министров СССР" № 97-Ч; архивный № ЦК КПСС 01425). Заканчивается сей документ так:

"Комитетом государственной безопасности параллельно проводятся мероприятия по выявлению канала утечки вышеупомянутых документов за рубеж и установлению лиц, причастных к этому".

В ходе "выявления канала утечки документов" на допросах в КГБ о. Глебу Якунину обещали значительно сократить его срок, если он только укажет источник утечки этих документов, что о. Глеб категорически отказался сделать⁷.

Обнаружен и опубликован целый ряд других архивных документов, свидетельствующих о том, что многие иерархи Московской Патриархии одновременно являлись агентами КГБ, а отдельные, наиболее перспективные агенты госбезопасности были продвинуты на руководящие должности Московской Патриархии в качестве ее иерархов.

В этих публикациях приводятся отрывки из рапортов

"кураторов церковных" руководству КГБ, свидетельствующие о степени внедрения органов госбезопасности в церковную среду. Приведем здесь лишь одну запись за 1987 год:

"Впервые в составе советской делегации принял участие в генеральной сессии ЮНЕСКО агент "Адамант" из числа иерархов РПЦ [...] Рассмотрено пять личных и рабочих дел на агентов территориальных органов, рекомендованных для продвижения в руководящее звено Русской православной церкви. Начальник 4 отдела полковник Тимошевский (ЦА КГБ л. 35б из отчета 4 отдела 5 Управления).

Воистину, "кадры решают всё". Примечательно, что агент "Адамант", сиречь митрополит Ювеналий, согласно обнаруженным документам КГБ, вместе с другими иерархами Московской Патриархии и руководителями других конфессий в бывшем СССР был удостоен грамотой КГБ СССР "за многолетнее сотрудничество и активную помощь органам госбезопасности" "1985 г., л. 51. Подготовлены записки в КГБ СССР о поощрении агента "Адаманта". Шугай. В. И. Тимошевский".

Раскрыта и агентурная кличка другого видного церковного агента КГБ - "Аббат". Эта кличка принадлежит Высокопреосвященному Питириму, митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому.

В еженедельнике "Огонек" был разоблачен "агент Антонов" - митрополит Киевский Филарет (Денисенко). Ему были посвящены три статьи. Их автор Александр Нежный заканчивает свою последнюю статью "Третье имя" (№ 4, январь 1992 г., сс. 2-3) так: "При рождении Его Блаженство нарекли Михаилом, при пострижении в монахи дали имя Филарет; третьим именем его называли в КГБ". Вдумаемся в значение этого третьего имени. Монах получает третье имя только при пострижении в великий ангельский образ - в схиму, а Его Блаженство и его собратья по Синоду это третье имя получили от КГБ при "пострижении" в агентурную службу богоборческой империи зла (следует отметить, что "третье имя" будущий агент КГБ сам себе выбирал и формально его получал, ставя свою подпись на документе о сотрудничестве).

Владимир Зелинский богословски развивает эту мысль так:

"Там, где за именами епископов прячутся прозвища или кличка, она (Церковь.- В. П.) превращается в антицерковь, что требовалось устроителю этого спектакля.

Потому что имя, среди прочего, еще и частица литургии. Имя Божие, как и имя человека. Когда на Великом Входе поминаются имена Патриарха, правящего архиерея, служащего священника и "всех предстоящих и молящихся", то в тот момент - несколькими словами - как бы собирается и озирается вся Церковь. Здесь она предстает Отцу, Который каждого знает по имени. Под этим именем Он призывает, помнит, ведет, судит, спасает нас и - независимо от нашей веры или неверия - посылает нам в дорогу Ангела-Хранителя.

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам; побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает (Откр. 2, 17).

Но и там, где вольно или невольно пародируется Церковь, также происходит смена имен. "Потемкин", "Григорий", "Аббат", "Адамант" [...]

[...] И такая перемена имени имеет свою опору в Писании. Тот же Апокалипсис говорит: *...и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его* (Откр. 14, 11). Неужели же все "потемкины" и "аббаты" никогда не вспоминали, сердцем не слышали этих Иоанновых слов?" ("Сказанное в темноте", "Русская мысль", 24 апреля 1992 г., сс. 6-7).

Парламентская Комиссия выяснила, что бывший представитель Патриархии в США архиепископ Климент (ныне Калужский) - агент "Топаз". Митрополит Воронежский Мефодий до недавнего времени скрывался за кличкой "Павел". Митрополит Филарет Минский - "Островский". Покойный митрополит Никодим (Ротов) - "Святослав", а Патриарх Алексей II - "Дроздов". Эта огласка, однако, нисколько не мешает им продолжать свои обычные занятия - совершать богослужения, исповедовать верующих, принимать послов и других видных иностранных вельмож, созывать соборы и синоды, осуществлять различные благотворительные акции.

В своем слове о том, что нельзя лгать, авва Дорофей писал:

"...Ни одна злоба, ни одна ересь, ни сам диавол не может никого обольстить иначе, как только под видом добродетели. Апостол говорит, что сам диавол преобразуется в ангела света, потому не удивительно, что и слуги его преобразуются в служителей правды" (2 Кор. 11, 14-15).

На собрании студентов Московского государственного университета глава Отдела Внешних Церковных Сношений Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (он же агент "Михайлов") заявил, что факт встречи духовенства с представителями КГБ "нравственно безразличен" (Бюллетень "Прямой путь", № 1-2, 1992).

С этим высказыванием никак нельзя согласиться. Никак нельзя считать нормальным и безвредным для Церкви вмешательство в Ее жизнь какого бы то ни было государственного руководства, тем более богоборческого. Двух мнений на этот счет быть не может. Аморальность такого положения очевидна.

"[...] Всё церковное управление в течение полувека, все важные решения Московской Патриархии ставились в зависимость от прихотей коммунистических властей и их опричников, деятельность церковного и гебешного руководства переплетались столь причудливым образом, что Церковь зачастую была вынуждена заниматься сыском и разведкой, а чекисты - сугубо церковными делами. Это вопрос не политический, но вероучительный", - констатирует Михаил Поздняев ("Русская мысль", 27 марта 1992 г.).

Парламентская Комиссия направила руководству Московской Патриархии письмо (6 марта 1992 г.)^{*}, в котором, в частности, предлагается следующее:

"Люстрация церковной агентуры могла бы быть жестким, даже жестоким актом по отношению к Церкви, и без того много пострадавшей. Комиссия считает, что лучше, если верующие сами найдут способ очищения от привнесенных, антиконституционных элементов. [...]

[...] Комиссия рекомендует внести в канонические и гражд-

^{*} Копия этого письма была передана автору Львом Пономаревым, Председателем Парламентской Комиссии в марте 1992 г.

данские уставы запрет на тайное сотрудничество ответственных работников Церкви с органами государства, а также изучить предшествующую деятельность своих органов управления и международных отделов в свете соответствия этой деятельности конституционному принципу отделения Церкви от государства. Со своей стороны, для устранения опасности использования Церкви в антиконституционных целях Комиссия предложила внести поправки в действующее законодательство, воспреещающее привлекать священнослужителей к оперативно-розыскной деятельности. Однако добиться практического использования этого положения возможно только при запрете с обеих сторон - и со стороны государства, и со стороны самой Церкви.

Комиссия выражает надежду, что Русская Православная Церковь сможет преодолеть тяжелое наследие прошлого".

Замечательная идея - принять закон, воспреещающий привлекать священнослужителей к оперативно-розыскной деятельности, попросту говоря, запретить доноительство, но Церковь уже ввела в свою жизнь такой закон (канон) более 1600 лет назад. На Эльвирском соборе Церкви в 313 году в 73-й главе - о донотельстве - мы читаем:

"Если кто верный был доносчиком, и через его донос кто-либо подвергся преследованию или был убит; угодно, чтобы он не получал причастия даже при кончине (в некоторых списках: "кроме как при кончине"). Если дело было легче, через пятилетие он может получить причастие. Если он был оглашенным, по пятилетнем времени допускается ко крещению" (перевод с латыни из книги *Acta Conciliorum, tomus I, Parisiis, 1715*).

Спустя год после Эльвирского собора другой собор Церкви - Арелатский - принял еще один канон против донотельства, известный как 13-е правило -

"О тех, о которых говорят, что они выдавали свещенные писания, или господские сосуды, или имена своих братьев; угодно было нам, чтобы всякий из них, кто будет обличен из общественных актов, (а) не нагими словами, был удален из чина клира..." (Там же.)

Архиерейский собор, заседавший в Свято-Даниловом монастыре в Москве в апреле этого года, вместо того, чтобы вспомнить и возродить эти правила, постановил соз-

дать комиссию по расследованию публикаций о связях церковных деятелей с КГБ. Возглавил эту комиссию епископ Костромской и Галичский Александр, и в нее вошли семь епископов, хиротонисанных в последние два года. Факт их недавних хиротоний был особо подчеркнут в заявлении о создании комиссии, дабы убедить общественность в их полной свободе от каких-либо связей с КГБ. Комиссия состоит из тех, которых патриарх и члены его Синода возвели на высокую иерархическую ступень⁸. Не проще ли патриарху и Синоду вместо того, чтобы создавать расследование над расследованием, памятуя вышеприведенные каноны против доноительства, прямо и достойно ответить на поставленные вопросы и обвинения?

Судя по резолюциям московского архиерейского собора, об этих канонах и не вспоминали (архиереи Московской Патриархии предпочитают вспоминать лишь только один род правил, касающихся послушания епископу!).

Был упущен исторический момент решительно осудить грехи доноительства и лжесвидетельства, которые, увы, стали нормой церковной жизни Московской Патриархии.

Все эти факты из жизни Московской Патриархии вызывают в памяти страшное пророчество преп. Серафима Саровского, сказавшего:

"...будет время, когда нечестие архиереев русских превзойдет то нечестие архиереев греческих, которое было во время императора Феодосия Юнейшего и исполнится сказанное: *Приблизятся ко Мне люди сии устами своими и чтут Мя языком, сердца же их далеке отстоят от Меня. Но тщетно чтут Меня, уча заповелям человеческим и учениям* (Ис. 29, 13)"⁹.

*Св. Четыредесятница -
Неделя Жен-Мироносиц,
1992 год, Вашингтон, США*

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Яд обновленческого лжеучения сохранился в Московской Патриархии и после заката "Живой церкви". Вспомним противные Православию теологические построения митрополита Никодима (Ротова), создавшего целую школу последователей и явившегося своего рода предтечей пресловутого "богословия освобождения" в католических странах Латинской Америки. В связи с этим приходят на ум слова восхищения и благодарности патриарха Пимена и других иерархов Горбачеву за восстановление "ленинских принципов" в отношении Церкви; или высказывание одного из епископов на сессии ЦК Всемирного Совета Церквей в Москве в 1989 году - "мы в Советском Союзе хотим построить справедливое жизнеспособное общество в контексте социалистических ценностей". 17 июля 1990 г. (день убийства Царской Семьи, которую сейчас Московская Патриархия готовится прославить!) в интервью газете "Правда" Патриарх Алексий II, размышляя о близости коммунизма и христианства, выражал беспокойство по поводу распада КПСС и заявил, что молится, дабы предотвратить "направленный взрыв" в адрес партии. Стоит перелистать подшивки "ЖМП", чтобы лишний раз убедиться в том, что лжеидеи обновленчества прочно вошли в сознание последователей митрополита Сергия (Страгородского).

2. "Послание пастырям и пастве" или Декларация митрополита Сергия (Страгородского) и его Синода от 16/29 июля 1927 г. была опубликована в "Известиях" и затем перепечатывалась в ряде исследований по истории Русской Церкви новейшего времени. Во вступительной статье, предвещающей публикацию Декларации в "Известиях", говорится: "Дальновидная часть духовенства (т. е. обновленцев. - В. П.) еще в 1922 г. вступила на этот путь". Автор настоящей статьи использовал текст Декларации, опубликованный в книге "Патриарх Сергий и его духовное наследие", изд. Московской Патриархии, Москва, 1974, сс. 59-63.

3. В своей книге "Краткий обзор истории Русской Церкви от революции до наших дней" (изд. Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, Нью-Йорк, 1952) проф. И. М. Андреев называет имена лишь части замечательных церковных деятелей России, которые открыто осудили поступок митрополита Сергия - среди них 27 епископов и 24 известнейших представителя священства и церковно-общественного деятелей.

4. Архиепископ Никон (Рклицкий), "Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого", изд. Северо-Американской и Канадской Епархии (Русской Зарубежной Церкви), Нью-Йорк, т. 6, сс. 231-232.

5. Согласно данным, приведенным в книге Л. Регельсона "Трагедия Русской Церкви" (сс. 578-579) епископ Глуховской Дамаскин (Цедрик) родился около 1880 г. Окончил семинарию и институт восточных языков в Казани, принял монашество и работал миссионером при Пекинской миссии. 1919 г. - появляется в Киеве иеромонахом. Митрополит Антоний (Храповицкий), лично зная и ценя его, назначил его епархиальным миссионером.

В 1923 г. хиротонисан в Москве св. патриархом Тихоном во еп. Глуховского, вик. Черниговской епархии. С 1923-1926 гг. неоднократно подвергался арестам. В 1925 г. проживал в Москве, был близок к митрополиту Петру и был вместе с ним арестован. В конце 1928 г. после очередного ареста и освобождения едет в Москву, где 11 декабря встречается с митр. Сергием и после продолжительной беседы окончательно порывает с ним.

Был одним из организаторов тайной Церкви. С ноября 1929 г. по 1934 г. еп. Дамаскин - на Соловках. В 1934 г. еп. Дамаскин несколько месяцев пробыл на свободе, занимался организацией тайной Церкви на юге России. Ноябрь 1934 г. - снова арестован. Гоняли этапами на север, потом снова на юг. Во время одного такого этапа нес на плечах до стоянки своего ослабленного духовного сына о. Иоанна С., которого могли за оставание пристрелить. 1935 г. - арестован в Казахстане, отправлен в Сибирь. О его смерти (10 сентября 1943 г.) рассказывают так:

На берегу великой сибирской реки глубокой осенью ожидали паром. Привели одного священника, одетого в легкий подрясник и дрожащего от холода. Еп. Дамаскин снял с себя рясу и со словами "у кого две одежды, дай неимущему" закутал в нее священника. Сам же простудился и на том же пароме, на котором этап везли несколько дней, умер.

6. В этой связи нелишне вспомнить штрих из истории с изданием трехтомного исследования истории Русской Церкви диакона Владимира Русака "Свидетельство обвинения. Церковь и государство в Советском Союзе". Узнав о существовании рукописи этой книги, архиепископ (ныне митрополит) Питирим начал уговаривать автора уничтожить свой труд. В 1983 году в Открытом письме Шестой Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Ванкувере о. В. Русак вспоминал: "Трудно передать, с какой настойчивостью он (архиеп. Питирим. - В. П.) уговаривал меня полностью уничтожить этот труд. Я отказался это сделать, и он просто-напросто уволил меня с работы". С этого времени начались гонения на диакона В. Русака, дошедшие до того, что 27 сентября 1986 г. за антисоветскую пропаганду и агитацию (ст. 70 УК РСФСР) он был приговорен к 12 годам лишения свободы. Книга Русака все-таки увидела свет. Она была издана на Западе в 1987 г. (Holy Trinity Monastery, Jordanville, N. Y., USA).

7. Сейчас в церковных кругах модно критиковать о. Глеба Якунина за его "политиканство". Но не забудем о тех обильных плодах, которые принесла почти 30-летняя церковно-правозащитная и "политическая" деятельность этого мужественного священника, начиная с его (в соавторстве с покойным о. Н. Эшлиманом) "Открытого письма" 1965 г. руководству Московской Патриархии (см. "Грани" № 61, 1965. - Ред.). Конечно, для Московской Патриархии деятельность о. Глеба весьма неприятна, ибо все, что он сделал и продолжает делать, идет вразрез с ее официальной линией. О. Глеб изрядно поплатился, защищая права верующих и за критику Московской Патриархии, сначала более чем 20-летним запрещением в священнослужении, а затем приговором к 10 годам лишения свободы. Нелишне вспомнить, что в последнем слове на суде, перед тем, как был оглашен приговор над ним (27 августа 1980 г.), о. Глеб сказал, что своей деятельностью он лишь выполнял обязанности православного священника и что благодарит Господа Бога за посланные ему испытания: "Я считаю эти испытания большой честью и своим христианским долгом".

В "Курантах" (№ 70 от 10 апреля 1992 г., с. 12) о. Глеб сам высказался по поводу своего участия в политической жизни страны: "Сегодня у нас переходный период. И пока решается судьба всего общества, я думаю, мое участие в политической жизни вполне оправданно. Более того, это мой долг. [...] Участвуя в работе парламента как народный депутат России, я прежде всего в меру своих сил стараюсь помочь Церкви. Семь десятилетий тоталитарное государство подавляло Церковь, поработало ее. Теперь в новых условиях мы - государственные деятели России - должны создать такие законодательные акты, чтобы Церковь могла распрямиться, занять достойное место в обществе".

8. "Независимая газета" сообщает (7 апреля 1992 г.): "При утверждении состава комиссии был забаллотирован и в нее не попал архиеп. Литовский и Виленский Хризостом, известный своей принципиальной политической позицией еще с января 1991 года, со времени попытки коммунистического переворота в Литве". Кстати, архиеп. Виленский и Литовский Хризостом в интервью об одном церковном агенте КГБ сказал: "...У нас в Церкви есть настоящие кагебешники, сделавшие головокружительную карьеру; например, Воронежский митрополит Мефодий (агент "Павел". - В. П.). Он офицер КГБ, атеист, человек порочный, навязанный гебешниками. Синод был единодушно против такого епископа - но нам пришлось взять на себя такой грех; а дальше - какой у него взлет! Стал митрополитом, чуть ли не десять лет распоряжался церковными деньгами, миллионами -

был председателем Хозяйственного управления! И он никогда не любил независимых, честных священников, не защищал их, а только гнал" ("Русская мысль" 24 апреля 1992 г., с. 8).

9. Текст пророчества преп. Серафима Саровского в мае 1991 г. был передан автору А. П. Арцибушевым, уроженцем села Дивеева и участником восстановления основанной преп. Сергием Дивеевской обители. Дед его был благодетелем Дивеевской обители, в которую ушли и приняли монашеский постриг две его дочери. Мать А. П. Арцибушева, после смерти мужа, приняла тайный постриг с именем Таисии, чьи записи были опубликованы в альманахе "Минувшее" в Париже в 1988 г. Монахиня Таисия, после выхода Декларации митр. Сергия, ушла в потаенную Церковь и активно участвовала в ее жизни. В письме автору этой статьи А. П. Арцибушев, в частности, пишет: "...женой Мотовилова (собеседника преп. Серафима, записавшего замечательную беседу святого "О целях христианской жизни". - В. П.) Е. И. были собраны воедино из множества записей ее мужа высказываний, предсказаний и пророчеств преп. Серафима, что-то самое главное, касающееся судеб России как в до антихристовы времена, так и по его пришествии. В записях это четко просматривается. Подлинник этих записей, фотокопию которых Вы имеете, был найден после кончины одного, очень высокой духовной жизни старца Сергия (Орлова) - тайного схимонаха, почитающего дивеевские святыни и с момента закрытия монастыря собирающего для будущей обители вместе со своей сестрой иконы и всевозможную утварь. Он знал меня по Дивееву еще мальчишкой, спустя много лет нас снова свела жизнь, незадолго до его кончины. В его архиве была найдена, почти истлевшая и рассыпающаяся, та самая запись, фотокопию которой я послал... Думаю мне, что на Западе еще не было документа такой силы пророчества преп. Серафима о судьбах России, которые полностью сбылись и сбываются на наших глазах. [...] В них за сто с лишним лет преподобный указал путь России, Русской Православной Церкви, причины ее страданий и через них путь к великой славе".

(Окончание в следующем номере)

Мелочи архи... прото... и просто иерейской жизни

(Картинки с натуры)

Не без робости вступаю я на стезю, когда-то проторенную великим Лесковым, ибо не ощущаю в себе и малой толики того необычайного дарования, которым Бог наделил моего предшественника. Однако же, вполне сознавая свое недостойнство, я вижу и два существенные преимущества мои перед Лесковым.

Первое - наличие священного сана, ведь его "картинки с натуры" - свидетельства стороннего наблюдателя, а мне довелось многое постигнуть на собственном опыте. Второе мое преимущество состоит в том, что двадцатый век явил нам такие "картинки", какие в веке девятнадцатом никому и в самом страшном сне не могли бы присниться.

Я испытываю глубокую признательность многочисленным моим друзьям - и клирикам, и мирянам, без их помощи и поддержки я бы не смог завершить этот труд. Но - увы! - донеслись уже и голоса осуждения, меня обвиняют в поношении Церкви и священства. Впрочем, тут меня утешает и отчасти оправдывает то обстоятельство, что и сам Лесков отнюдь не избежал нападков со стороны лиц, "не распознающих благочестия от святошества". Ханжество старо, как мир, и я, например, убежден, что еще в четвертом веке были люди, которые точно так же осуждали Святителя Иоанна Златоуста, ибо он, перечисляя пороки современных ему клириков, говорил о "гневе, зависти, вражде, клевете, обмане, лицемерии, кознях, желании похвал, пристрастии к почестям, низком человекоугодии" и пр. и пр. (смотри "Слово третье о священстве").

Но - благодарение Богу! - у Православной Церкви всегда было и есть предостаточно истинных чад, которые, с одной стороны, умеют прощать человеческие слабости, а с другой - вслед за Апостолом Павлом и Святым Симеоном Метафрастом твердо верят, что "идеже умножится грех, преизобилует благодать" и

что она, "божественная благодать всегда немощная врачует и оскудевающая восполняет".

В ответ своим критикам я дерзаю повторить слова из письма Н. С. Лескова к И. С. Аксакову: "Я никогда не осмеивал сана духовного, но я рисовал его носителей здраво и реально, и в этом не числю за собою вины".

За сим отдаю на суд читателя свои "Мелочи архи... прото... и просто нерейской жизни" - прямое продолжение или, лучше сказать, подражание моим любимым "Мелочам архиерейской жизни".

Свято-Троицкой церкви
села Низкого
смиренный настоятель
священник Михаил Ардов

2 ноября 1990 г.

Любопытен я весьма, что делаешь ты, сочинитель басен, баллад, повестей и романов, не усматривая в жизни, тебя окружающей, нитей, достойных влечения в занимательную для чтения баснь твою? Или тебе, исправитель нравов человеческих, и вправду нет никакого дела до той действительной жизни, которую живут люди, а нужны только претексты для празднословных рацей? Ведомо ли тебе, какую жизнь ведет русский поп, сей "ненужный человек", которого, по-твоему, может быть напрасно призвали, чтобы приветствовать твое рождение, и призвуют еще раз, также противу твоей воли, чтобы проводить тебя в могилу? Известно ли тебе, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бедствиями и приключениями, или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благородные страсти и что оно не ощущает страданий? Или же ты с своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня, попа, своим вниманием? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло и что я уже не нужен стране, тебя и меня родившей и воспитавшей... О слепец! скажу я тебе, если ты мыслишь первое; о глупец! скажу тебе, если мыслишь второе и в силу сего заключения стремишься не поднять и жи-

вить меня, а навалить на меня камень и глумиться над тем, что я смраден стал, задохнувшись.

Н. Лесков. "Соборяне"

ВЕК МИНУВШИЙ

Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своей старою сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!

Н. Лесков. "Соборяне"

Благословясь, начну повествование. И начну его с тех курьезных историй, которые, по крайней мере в части своей, могли бы быть записаны Н. С. Лесковым и составить дополнение к "Мелочам архиерейской жизни" или к "Заметкам неизвестного".

Император Петр I во время одного из своих путешествий повстречал священника, который ехал верхом и с ружьем за плечами. Увидев эту фигуру, царь изумился.

- Отчего ты едешь с ружьем?

- Здесь, Государь, места нехорошие, - отвечал тот, - лихих людей много.

- Но ведь если ты кого-нибудь убьешь, - сказал Петр, - ты уже не сможешь быть попом.

(По каноническим правилам священнослужитель, даже нечаянно впавший в убийство, низвергается сана.)

- Да, не смогу, - отвечал священник, - но если меня убьют, я не буду уже и человеком, а у меня большая семья...

Петр подивился мужеству и разуму своего собеседника.

А вот подлинный анекдот восемнадцатого века.

На Страстной неделе некий проповедник оговорился и сказал, что Иуда продал Христа не за 30 сребреников, а за 40...

Стоящий в народе купец наклонился к своему приятелю и тихонько промолвил:

- Это, стало быть, по нынешнему курсу...

Еще старинный анекдот. В Москве или в Петербурге происходят очень богатые похороны. Стоящий на церковной паперти нищий с любопытством спрашивает:

- Кого же это хоронят?

Ему отвечают:

- Это, брат, умер генерал от инфантерии...

- Царствие ему Небесное, - говорит нищий, - каких только болезней не бывает...

В прежнее время благочинные очень строго смотрели за священнослужителями. В частности, они следили за тем, когда рождались у их подопечных дети - не были ли зачаты в пост?

Клирики обязаны соблюдать брачные посты и перед служением литургии. В этой связи в свое время возник забавный анекдот о сельском батюшке, у которого каждый год рождался ребенок, и он всякий раз призывал помещика быть восприемником, крестным отцом... Барину это, в конце концов, надоело и он заплатил священнику значительную сумму с тем, чтобы тот служил литургии каждый день в течение целого года. (То есть обрек его на постоянный брачный пост.) Однако через несколько месяцев батюшка явился к помещику и опять стал звать его на крестины.

- Как так? - удивился барин. - Ты же каждый день обедню служишь?!

- А междучасия на что? - лукаво отвечал тот.

Один из самых известных русских архиереев XVIII века митрополит Московский Платон (Левшин) был превосходным проповедником, отличался находчивостью и остроумием. В частности, весьма замечательны некоторые его диалоги с Дидро, который в свое время посетил Россию.

- Бога нет, - сказал архиерею француз.

- Это не вы первый говорите, - отвечал Владыка Платон. - Это мы из Псалтири знаем: "Рече безумен в сердце своем: несть Бог..." (Пс. 52).

- Иисус Христос ходил пешком, а вы ездите в карете шестерней, - упрекнул как-то Владыку Дидро.

На это архиерей отвечал так:

- Господь наш Иисус Христос действительно ходил по Святой Земле пешком, и ученики Его шли за Ним... А я за своей паствой и на шести лошадях не могу угнаться.

Одна из самых знаменитых проповедей митрополита Платона была говорена в Петропавловском соборе в присутствии императрицы Екатерины II по случаю победы российского флота над турецким 24 июня 1770 года. Проповедник вдруг спустился с амвона, подошел к гробнице Петра I и воззвал:

- Восстань теперь, великий монарх, отечества нашего отец, восстань и насладись плодами трудов твоих...

Присутствующий при этом граф Е. Гр. Разумовский, украинец, потихоньку сказал кому-то из придворных:

- Чего він его кличе? Як встане, то всем достанется.

Кажется, в прошлом веке возник такой забавный анекдот. Некого протопопа попросили за весьма приличное вознаграждение произнести надгробное слово по умершей богатой купчихе. Он, однако же, решил не затруднять себя сочинительством, а взял известное "Слово на погребение Петра Великого" преосвященного Феофана (Прокоповича) и прочитал его, заменяя всюду мужской род на женский.

- Что се есть? - возгласил батюшка. - До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? Феклу Карповну Кособрюхову погребаем!.. Не мечтание ли се? Не сонное ли нам приведение? О, как истинная печаль! О, как известное нам злоключение!..

Поначалу слушатели были довольны, пока протопоп говорил о величии и достоинствах покойной купчихи, о том, как она заботилась о просвещении... Однако же под конец речи родственники его чуть не побили, когда он между прочим сказал, будто "покойница была весьма проста нравом и, будучи в Голландии, делила ложе с простыми матросами".

(Надо сказать, в подлинном "Слове" преосвященного Феофана такой фразы нет, но все же показательно, что в церковной среде подобный анекдот появился.)

Пожалуй, самым лучшим русским юмористом прошлого века был Иван Федорович Горбунов, его талант высоко ценили А. Н. Островский, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. Среди поклонников и благодетелей Горбунова был граф Павел Шереметьев, который по памяти записал и издал те из его новелл, которые не вошли в печатные сборники. Книга эта весьма редкая, издана в 1901 году и называется - "Отзвуки рассказов И. Ф. Горбунова". Есть там и кое-что относящееся к нашей тематике, например, вот такие две записи.

"Митрополит Филарет (Дроздов) часто вызывался в памяти Горбунова. Например, его тихий шепот, когда он услышал ошибку читавшего о выборе апостола вместо Иуды, и когда вместо следуемого "и избраша два: Иосифа и Матфия" чтец произнес: "и избраша два Иосифа". Понимался тихий, но слышный шепот Владыки:

- Дурак, одного".

"Вот еще картинка, выхваченная с натуры, из жизни старух-богомолок. Одна из них, подперши руками подбородок, всхлипывая и вздыхая, передает другой впечатление, вынесенное из церкви, где происходил обряд "Анафемы" с участием митрополита Филарета:

- Впихнули меня в церковь Божию... Что народу... Что людей... Что всего прочего... Всякого разного... Свечи, и свечи, и все возженные...

- Возженные? - переспрашивает первую старуху другая.

- Возженные, матушка, возженные, - отвечает та, - б о л д у х а н и е такое... И вывели его, батюшку, шапка у его камнем горит, и поставили на место уготованное... И как начали его проклинать... Уж проклинали его, проклинали... Уж я плакала, плакала... А у его, у батюшки, только борода седенькая трясется...

Горбунов в своих рассказах никогда не оскорблял религиозные чувства слушателей, он любил красоту церковных обрядов, которые знал в совершенстве".

В конце прошлого века в Ярославле святительствовал архиепископ Ионафан, очень добрый и благодостный старец. (Мне рассказывали, что на кладбище, где он похоронен, при копании другой могилы потревожили его гроб и увидели, что тело его - нетленно.)

Одно из главных благодеяний Владыки, оказанных Ярославлю, было возведение на противоположном берегу Волги превосходного кирпичного здания, где разместилось епархиальное училище. (Школа для дочерей клириков.) Заведение это было любимым детищем Преосвященного, он часто приезжал туда, служил в тамошней церкви... И вот однажды старцу-архиерею понадобилось уединиться. Поскольку училище было женское, то его пришлось проводить в туалетную комнату для воспитанниц... И вот в то время, когда Владыка скрывался в одной из кабинок, он услышал, как к нему приближается одна из юных девиц. При этом она напевала:

- Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...

- Не ходи, голубушка, здесь - Иоанафан, - отвечал ей голос из-за двери.

В московских церквях до сих пор соблюдается старинный обычай - на Пасху, в Святую ночь священнослужители множество раз меняют свои облачения.

Коренной москвич, покойный архиепископ Киприан

(Зернов) в свое время объяснил мне, как это зародилось. В старое время, если умирал состоятельный человек или кто-то из его близких родственников, непременно покупался большой кусок драгоценной парчи, которой покрывали гроб, пока он стоял в церкви. Затем гроб уносили, а парча оставалась в храме и из нее за счет родственников умершего шили два облачения - для священника и для диакона. А когда приближалось Светлое Христово Воскресение, многие именитые прихожане обращались с одной и той же просьбой:

- На Пасху послужите в наших облачениях...

Так вот, чтобы не обидеть никого из благоукрасителей храма, хитроумные московские попы и ввели в обычай переоблачаться в Святую ночь множество раз...

Незадолго до революции в селе где-то под Старой Руссой служил батюшка. Был он человек добрый, и сельчане его очень любили. А там был известный обычай - по субботам бани топить. Ну, а после бани, известное дело: белье продай, а выпей... Вот так и пошло - в одну субботу этот мужик пригласил батюшку помыться, в другую - тот, в третью - еще... Словом, они своего священника споили. Это дошло до благочинного, потом до архиерея, и его запретили в священнослужении. Тогда мужики собрались толпой и пошли в соседнее село, к благочинному. В дом их, как тогда водилось, не пустили, хозяин вышел на крыльцо.

- Ну, чего пришли?

- Батюшка...

- Отец благочинный...

- Верни ты нам нашего отца Ивана...

- Да помилуйте, - говорит благочинный, - нельзя ему служить. Ведь он у вас спился... Он литургию служит, а сам за Престол держится!

- Вот то-то и оно... Он за Престол держится, а нам литургию служит...

Мой родной дед А. А. Ольшевский в начале века обу-

чался в гимназии города Владимира. Он вспоминал, как на уроках Закона Божьего преподаватель-священник разъяснял своим ученикам одно из прошений ектеньи:

"Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на Страшном Суде Христове, просим".

Батюшка, по-владимирски "окая", говорил:

- Какая бывает постыдная кончина? Например, в г... утонул.

А теперь хочу привести довольно известный анекдот из церковной жизни, я, помнится, даже читал его в какой-то книге.

В старое время в селе, которое называлось Палисадник, служили священник и диакон. Как-то такое они вместе шли на потребу, и на дороге перед ними оказалась глубокая и очень обширная лужа, обойти которую не было никакой возможности. Диакон при этом случае был в сапогах, а священник в какой-то легкой обуви. И вот батюшка уговорил диакона перенести его через лужу. Тот согласился, взгромоздил священника на свою спину и понес... Но то ли лужа была слишком велика, то ли вес у батюшки чересчур солидный, но диакон на самой середине водной преграды ношу скинул. Священник, который изрядно промок и испачкался, не удержавшись, ударил обидчика, и между ними завязалась драка... Соблазнительный этот случай, разумеется, не остался незамеченным, дело дошло до благочинного, а тот сообщил архиерею. Резолюция, которую Владыка наложил на письме благочинного, была краткой и выразительной:

И коня и всадника -

Вон из палисадника.

(Тут следует добавить, что для церковного человека это звучит тем более забавно, что со слов "Коня и всадника в море Чермное" начинается весьма употребительное песнопение - ирмос пятого гласа.)

Тут в памяти всплывает и такое. Некий батюшка приходит домой в сильном расстройстве и говорит жене:

- Матушка, меня сегодня в церкви диакон побил...
- Это каким же образом?!
- Да не образом, дура, а подсвечником!

Мне рассказывали, что в дневнике А. С. Суворина описывается такой забавный эпизод. Генералу Дурново был присвоен придворный чин, и по этому случаю он примерял новый мундир. Глядя на себя в зеркало, генерал спросил своего камердинера:

- Ну, как, Иван? Идет мне этот мундир?
- Очень идет, ваше превосходительство, - отвечал тот. - Вы в нем теперича похожи на льва.
- А где же ты видел льва? - удивился Дурново.
- А на картинке, - отвечал камердинер. - На нем Иисус Христос в Иерусалим въезжает...

В прежнее время, когда заказывался "сорокоуст", то действительно служилось подряд сорок божественных литургий (в просторечии обеден). В деревенских храмах на этих службах подчас вообще никого не было - только сами клирики, прихожане являлись к самому концу, чтобы отстоять панихиду.

Так вот, в некоем селе священник и диакон, чтобы облегчить себе жизнь, прибегали к такому приему. Литургии они вовсе не служили, а сидели в Алтаре у окна и смотрели, когда появятся на дороге прихожане. Тут они открывали Царские врата и имитировали окончание обедни, примерно с песнопения "Видехом свет истинный..." Затем после отпуска начиналась панихида.

Это мне когда-то рассказал архиепископ Киприан и добавил:

- Ну, чего можно было ждать для Церкви при таких священнослужителях?..

В 1913 году Россию посетил патриарх Антиохийский

Григорий. Русского языка он, разумеется, не знал, служил по-гречески, но некоторые возгласы произносил по-славянски, их ему подсказывали сослужащие с ним наши архиереи. По этой причине произошла курьезная и даже отчасти соблазнительная история.

Патриарх служил Божественную литургию, а один из русских митрополитов стоял в алтаре неподалеку от престола и в определенные моменты исполнял обязанности суфлера.

На великом входе патриарх принял от протодиакона дискос, а невидимый народу митрополит тихонько подсказал ему нужные слова:

- Благочестивейшего, самодержавнейшего, великого Государя нашего...

Патриарх, стоящий в отверстых Царских вратах, громко, на весь храм возгласил эти слова.

Митрополит продолжал:

- Императора Николая Александровича всея России...

Патриарх все это повторил.

Митрополит суфлировал дальше:

- ...да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков...

И опять:

- Супругу Его, благочестивейшую Государыню Императрицу Александру Феодоровну...

Все шло гладко, русский иерарх подсказывал, а греческий возглашал.

Митрополит продолжал:

- Святейший правительствующий Синод да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков...

Патриарх повторил эти слова и уже без всякой подсказки, по собственному разумению добавил:

- Супругу его...

Митрополит только руками всплеснул и у него вырвалось:

- Супруги нет!..

А Патриарх принял это восклицание за очередную под-сказку и громким голосом повторил:

- Супруги нет!..

Что было дальше и как завершился этот великий вход - история умалчивает.

В начале нашего века в соборе города Владикавказа был такой забавный случай. Тамошний архиерей совершал на литургии диаконскую хиротонию. При этом ставленник был совершенно лысый. И вот, когда протодиакон стал первый раз обводить его вокруг престола, он от волнения задел семисвечник и опрокинул одну из лампадок, да так, что масло пролилось ему на голову, а "поплавок" (устройство для фитилька) прилип к коже черепа...

Смотреть на умасленную главу несчастного, да еще с прилипшим поплавком, без смеха было невозможно. Смеялись решительно все - священники, диаконы, прислужники... Не смеялся только один человек - архиерей, совершавший священнодействие.

Но вот отошла литургия, и, чтобы наказать своих смешливых клириков, Владыка устроил крестный ход в ближайший монастырь - несколько километров по жаре с иконами и хоругвями, в полном облачении. И тут всем стало не до смеха...

Один человек, который в молодости жил в Сергиевом Посаде, рассказал мне такую историю. Было это тогда, когда отец Павел Флоренский только что принял священный сан. Служили всенощную. В самом начале, как положено, священник с кадилом и диакон со свечей пошли по всему храму... (Вот тут некоторая неясность - о. Павел был то ли еще диаконом, то ли уже священником. Но факт, что сослужил ему такой же новоиспеченный клирик.) Вот они подошли к праздничной иконе, которую следовало покадить только с одной стороны. Но так как оба они толком службы не знали, то обошли аналой - окадили икону с четырех сторон... Обошедши раз, пошли во второй,

потом в третий... Каждый из них надеялся на то, что служащий лучше знает устав... Наконец, их ошибку заметили из алтаря, и присутствовавший там архиерей сказал пономарю:

- Пойди их останови. А то они всю икону закоптят...

Окончить эту, первую главку моего повествования, пожалуй, стоит нижеследующим курьезом. После отречения Государя Императора Правительствующий Синод разослал по епархиям распоряжение о том, что теперь на ектеньях и возгласениях следует поминать не монарха, а "благочестивое временное правительство". По окончании же литургии и в иных случаях предлагалось воспевать и такое несообразное к Богу прошение:

- Временному правительству - многая лета!

"ТИХОНОВЦЫ" И "ОБНАГЛЕНЦЫ"

Жизнь кончилась, началось житие.

Н. Лесков. "Соборяне"

О трагической истории Русской Православной Церкви в двадцатых и тридцатых годах уже написаны томы - есть книги о. М. Польского, Л. Регельсона, о. В. Русака... О страшном этом времени будут написаны и еще сотни страниц по той хотя бы причине, что необходимо сохранить как можно больше сведений о новомучениках и исповедниках российских.

Мой труд отнюдь не принадлежит к жанру агиографии, и тем не менее, я не могу вовсе не коснуться этой темы. Мой великий предшественник Николай Лесков когда-то изрек: "Человек наилучше познается в мелочах". Я могу от себя добавить: это относится не только к нравам, но и ко времени.

Несколько лет назад я сделал небольшое наблюдение в области топонимики. Я вдруг обратил внимание на то, что

душою, вдохновителем кровавых гонений, которые обрушились на христиан и их Церковь в первые десятилетия советской власти, был человек, который носил имя Святого Крестителя Руси - князя Владимира. Но при том фамилия его - Ульянов (т. е., собственно, Юлианов) содержит в себе имя одного из злейших за всю историю врагов Церкви - кесаря Юлиана Отступника. Страшноватый дуализм...

"Тихоновцы" - так, по имени великого Российского Первосвященника, называли православных их гонители и недруги. Полагаю, в свое время слово это - "тихоновцы" - произносилось то с ненавистью, а то и с высокомерием. Но зато можно с уверенностью сказать: сами истинные чада Церкви в этом прозвище ничего зазорного для себя не чувствовали.

Начну с некоей цитаты, вернее, с пересказа. Книга Льва Регельсона "Трагедия Русской Церкви" представляется мне несколько тенденциозной и спорной по части выводов, но содержит множество поразительных фактов и бесценных документов. (Таких, например, как автобиография владыки Афанасия [Сахарова].)

На меня самое сильное впечатление произвела сцена ареста священномученика митрополита Петроградского Вениамина. Чекистов к нему привел его ученик, уже известный в городе проповедник о. Александр Введенский - будущий глава обновленцев. Несмотря на свою весьма сомнительную роль, он приветствовал архиерея, как положено, и протянул руки, чтобы получить благословение.

Владыка Вениамин благословения не дал и произнес:

- Оставьте, отец Александр. Мы ведь не в Гефсиманском саду.

В каком-то селе закрывали церковь.

Мрачная и молчаливая толпа мужиков глядела на разорение святыни.

Из церкви вышвырнули иконы.

Один из "комиссаров" кричит сельчанам:

- Бога нет! Нет Бога! Вот, смотрите!..

И он начинает палить из винтовки в лики святых.

- Видите?! Видите?!.. Ну, где ваш Бог?.. Почему Он меня не накажет?

- Уже наказал, - слышится голос из толпы.

- Когда наказал? Как наказал?

- Ум отнял.

В двадцатые годы на моем приходе, в селе Низком, служил старый иеромонах, отец Исидор. По какому-то случаю его вызвали в сельский совет. Там секретарь обратился к нему вполне дружелюбно:

- Товарищ Никольский...

Батюшка его перебил и сказал:

- Я - вам не товарищ. Я никогда не был вам товарищем. И не дай Бог быть с вами товарищем!

Рассказ старой монахини.

Когда из города высылали духовенство, то целый вагон набили только священниками и диаконами. Их провозжали со слезами. Поезд долго не уходил, и вдруг высылаемые все вместе хором запели:

- На реках Вавилонских, тамо сидехом и плакахом...

Весь псалом - до конца.

Мой покойный отец рассказывал, что уже после войны познакомился и дружески разговаривал с гримером, который с дореволюционных времен работал в театре областного города. Старик признался ему, что в двадцатом году приходилось ему выполнять страшную работу. К нему являлись местные чекисты, и он наклеивал им бороды, подбирал парики, словом, гримировал их "попами". После этого они надевали рясы и с поддельными документами, якобы от местного архиерея, отправлялись по сельским приходам отбирать драгоценную утварь.

И еще рассказ отца.

В двадцатых годах, будучи еще молодым литератором, он видел в тогдашнем цензурном ведомстве такую сцену. Один из ответственных работников (разумеется, еврей, старый большевик) принимал маститого протоиерея - в рясе, в камилавке, с крестом... Батюшка пришел по поводу какой-то церковной публикации. Говорили они между собою подчеркнуто вежливо, дело решалось... Но при этом собеседники относились друг к другу с невероятной брезгливостью. Батюшка боялся ненароком дотронуться до "жида", а еврей - прикоснуться к "попу".

Дочь знаменитого дрессировщика и клоуна Дурова, Анна Владимировна, рассказывала мне об одном диспуте в двадцатых годах, участником которого был ее отец. Он там представлял "атеистическую науку", а религию - какой-то священник. Во время дискуссии батюшка заявил:

- Я могу очень просто доказать и то, что Господь Иисус Христос существовал, и самый факт его воскресения...

Затем он повернулся к многочисленной аудитории и воскликнул:

- Христос воскрес!

- Воистину воскрес! - отозвались сотни голосов.

(В своих воспоминаниях архиепископ Никон (Фомичев) сообщает, что к этому же приему прибегал во время дискуссий и обновленческий "митрополит" Александр Введенский.)

Как известно, святитель Тихон, патриарх Московский, отошел ко Господу в день Благовещения в 1925 году. (То есть он на год с лишним пережил В. И. Ленина.) Еще при жизни Святителя на Красной площади был сооружен первый мавзолей, тогда еще деревянный. Как видно, строили поспешно, и вскоре после окончания работ в новом здании случился досадный казус - сломался ватерклозет и стала фонтанировать фановая труба. По Москве пополз слухок об этом происшествии. Рассказали это и патриарху Тихону, который отозвался на сообщение кратко и выразительно:

- По мощам и миро.

В двадцатые годы храмов в Москве оставалось почти столько же, сколько было до революции, но при этом очень многие люди отошли от Церкви - кто из страха, кто - по маловерию... И вот тут между приходами началась конкуренция с тем, чтобы привлечь побольше молящихся. Где-то отличались особенно усердным поминовением усопших, где-то стройным пением, где-то соблюдением малейших требований устава.

В те годы в Москве было несколько превосходных протодиаконов, таких, как о. М. Холмогоров или о. М. Михайлов. Пригласить такую знаменитость послужить в праздник был верный способ привлечь народ.

А тут еще было принято решение выслать почти всех правящих архиереев из епархий в Москву. Этим на Лубянке достигали сразу двух целей: во-первых, тут за ними было легче следить, а во-вторых, их оторвали от паствы. И вот епископы, кто как мог, устраивались в столице... Если приглашали служить какого-нибудь владыку, то в храм он ехал на трамвае...

Вот курьезная сцена того времени. Настоятель церкви и староста накануне престольного праздника ведут переговоры с каким-нибудь знаменитым протодиаконом. И уже обо всем договорившись, напоследок спрашивают его:

- А с каким архиереем хотите послужить?

(Всю несообразность этого вопроса можно показать на таком примере. Вообразите, что у начальника почетного караула спрашивают:

- Главу какого государства вы бы хотели приветствовать в следующий раз?)

В книге Л. Регельсона архиепископ Федор (Поздеевский) описывается как человек весьма серьезный, который никогда не смеялся и даже несколько порицал патриарха Тихона за улыбчивость. Об этой характеристике поведали одному из бывших иподиаконов владыки Феодора, и вот что он сказал:

- Иногда наш Владыка не смеялся, а иногда еще как

смеялся. Вот, помню, двадцатые годы... Рукоположил он одного повара во диакона. (А тогда желающих принять сан почти не было.) И вот первая служба с новым диаконом. Всенощная под какой-то богородичный праздник. Значит, вчера он был еще повар, а сегодня - диакон. И вот выносит он Евангелие на амвон и возглашает прокимен: "Помяну имя Твое во всяком роде и роде". После этого следует говорить стих: "Отрыгну сердце мое слово благо". А стих-то наш бывший повар от волнения забыл... Только сказал громким голосом: "Отрыгну..." И умолк... И стоит на амвоне с Евангелием на вытянутых руках... Так, я помню, владыка Федор на кафедре посреди церкви прямо и трясется от смеха..."

История с этим поваром напоминает мне случай с другим совместителем. Дело было примерно в то же время - в двадцатых годах. Это - рассказ покойного Михаила Николаевича Ярославского, который в молодости был старшим иподиаконом у архиепископа Серафима Угличского (Самойловича).

Так вот служил как-то архиепископ Серафим в селе Никола-Топор. А тамошний диакон по совместительству был еще и счетоводом в какой-то местной конторе. На всенощной он не так произнес титул служащего архиерея. А когда присутствовавший там благочинный сделал ему выговор за ошибку, то диакон простодушно сказал:

- Ну, что вы, отец протоиерей... Ведь это не бухгалтерия, здесь особая-то точность не нужна...

И еще рассказ М. Н. Ярославского.

В церкви одного села неподалеку от Углича псаломщиком был житель деревни, которая была за несколько верст от храма, так что приходилось ему к службе ездить на лошади. (Благо тогда еще у мужиков лошади были.) Никаких певчих там и в помине не было, на клиросе псаломщик пел один.

И вот как-то диакон на амвоне произносил зауспокойную ектенью, и пока он перечислял множество имен, псаломщик задремал...

- ...и о еже простится им всякому прегрешению вольному же и невольному...

Не слыша с клироса "Господи, помилуй", диакон повернулся и увидел, что псаломщик дремлет. Тогда он подошел к спящему и слегка потрогал его за плечо... Тот пробудился и вскричал на весь храм:

- Тпру!.. Где вожжи-то?

С Михаилом Николаевичем Ярославским я познакомился в 1980-м - в год принятия священного сана. Тогда он был главным бухгалтером Ярославской епархии. С первого взгляда поразил меня его облик - высокий, худой, прямой... А главное - лицо - ум, доброта, благородство. Такие лица часто встречались в старой России, а теперь перевелись. Все предки его с отцовской и материнской стороны - священники, "колокольное дворянство". (Кстати сказать, старший брат М. Н. - Сергей, в монашестве Кассиан, долгое время был архиереем в Костроме.) Я горжусь тем, что был в числе тех священников, к кому покойный Михаил Николаевич благоволил и кого дарил своей дружбой.

В 1983 году я записал на диктофон его воспоминания об архиепископе Угличском Серафиме (Самойловиче). В его рассказе есть эпизоды, которые вполне могут быть отнесены к жанру "Мелочи архиерейской жизни". Впрочем, это - такие "мелочи", которые не могли бы и пригрезиться ни самому Лескову и никому из его современников.

Итак, документальный рассказ М. Н. Ярославского.

"В двадцать девятом году сидел я в Кеми, в пересылке, работал там на лесопильном заводе... А там тогда много духовенства сидело. Был там с нами владыка Нектарий (Трезвинский), викарий Вятской епархии, епископ, по-моему, Ярангский... Он был одно время наместником Александро-Невской лавры. Встретился я с ним там, в кемском пересыльном пункте. Смотрю, кто-то такое в духовной одежде, в подрясничке, в скуфеечке, сапоги - колет лед у нашей столовой, у кухни лагерной. А вообще-

то у нас архиереи все больше с метелочками ходили, раз-
метали снег на панелях. Ну, лопаткой немножко... А тут
вижу, какое-то духовное лицо так старается, колет лед...
Я его спросил: "Батюшка, вы в каком сане будете?" "А
вам, - говорит, - какое дело?" "Да я, - говорю, - сам из
духовных немножко... Правда, я не духовный сам-то... Но
сын священника, был иподиаконом у владыки Серафима..."
"А, - говорит, - из Углича, значит?" Оказывается, он мно-
гих там знает... "А я, - говорит, - иеродиакон". Ну, так я
его и звал - "отец иеродиакон". Были у нас хорошие с
ним, дружеские отношения... Шутили мы с ним иногда. Ду-
ховенство тогда находилось почти все вместе, в одном
бараке. Правда, там и другие были, гражданские лица...
Великим Постом песнопения мы пели - "Покаяния отверзи
ми двери", "На реках Вавилонских"... И вот этот мой зна-
комый "отец иеродиакон" управлял нашим хором. И я по-
мню какой-то владыка ошибся, а он ему кулак к носу
подносит. Я после ему говорю: "Ведь это неудобно, отец
иеродиакон, так с архиереем-то обращаться". "А что же
он? Уж взялся петь, так пой". И так дожили мы, это зимой
было дело, до весны. Весной убирают снег. А я стоял и
разговаривал с одним священником, заключенный тоже,
конечно. Сторожем он был. Разговариваю я с ним, а там
везут на санках снег. И сзади вот мой знакомый "иеродиа-
кон" лопатой этот снег подпирает. А мой знакомый сто-
рож, батюшка, кланяется и говорит: "Здравствуйте, Вла-
дыко". А я говорю: "Который же тут владыка?" А он: "С
лопатой-то". Я ему: "Так это же иеродиакон". "Что ты?" -
говорит. "Так я ж, - говорю, - его знаю". "А я, - гово-
рит, - рядом с ним сплю". Так я смутился... На обратном
пути, когда они с санками возвращались, этот батюшка
говорит: "Владыко, что же вы невинных людей в заблуж-
дение вводите?" А он улыбается... Действительно, архи-
ерей... И стал я от него бегать... Как увижу, что идет вла-
дыка Нектарий, так я от него бегом... А потом как-то
встретился с ним нос к носу, бежать уже некуда... "Влады-
ко, простите меня... что я вас называл иеродиаконом... Вы

ведь меня ввели в заблуждение..." А он: "А почему ты решил, что я действительно иеродиакон, не посомневался?" "Да вот вы уж очень работаете-то не по-архиерейски... Архиереи так не работают..." "Да они все лодыри", - говорит... А потом оказывается, уже я после слышал от своего двоюродного брата протоиерея Державина Александра Михайловича, московского протоиерея, а его, владыки, товарища по академии, что он потонул... Его сделали доставщиком посылок на соловецкий остров... Наверное, это жулье его и толкнуло... Утонул в Белом море... Сидел там с нами епископ Глеб, по-моему, фамилия - Покровский. Викарий Рязанской епархии, епископ Михайловский... Было это вскоре после моего прибытия в Кемь... Однажды возвращаясь я с работы в барак, смотрю, все духовенство какое-то такое напряженное... задумчивое такое... О чем-то тут говорят... Я спрашиваю: "Что такое?" "Владыку Глеба освобождают. И он не знает, куда ехать. Послал митрополиту Сергию телеграмму, куда он может, какой ему город избрать - ответа нет". И я говорю владыке Глебу: "Владыко, а возьмите Кашин. Этот город недалеко под Москвою, на железной дороге. Владыка Иосиф из Кашина переведен в Могилев. Я знаю, епархия... кафедра там свободна..." А владыка: "А куда я поеду-то там? Где я останюсь?" "А мой брат, - говорю, - там в семинарии учился. Я вам дам адрес. Отец Сергей Соколов, священник Ильинской церкви. Найдете там". Он опять послал телеграмму митрополиту Сергию, может ли избрать Кашин. И после я получаю от брата своего письмо. Пишет: "Отец Сергей (это бывший его квартирный хозяин) шлет тебе благодарность за то, что ты порекомендовал владыке Глебу поехать к ним в Кашин". Владыка явился как раз в день его именин... И так все были довольны... Владыка Глеб так и жил потом у него на квартире... Но официально Кашинским епископом, кажется, он так и не стал. Какая его судьба дальнейшая, я не знаю. Да... а как новый этап к нам пригонят, мы все спрашивали священников, да и дьяконов, как там на воле? Молятся ли за советскую власть?

Помню, отец Александр, архимандрит, настоятель Семи-езерской пустыни из Казани... Я с ним был несколько знаком. Разговаривал с ним нередко... И вот этот архимандрит Александр, помню, когда его спросили: "молитесь ли за власть"? Он говорит: "В самое "до" берем".

Молиться за богоборческую советскую власть предписывал "заместитель местоблюстителя Патриаршего Престола" митрополит Сергей после того, как опубликовал 29 июля 1927 года свою печально известную декларацию, где провозглашалась лояльность христиан репрессивному режиму и даже некоторая общность интересов - "ваши радости - наши радости". Подавляющее большинство клириков никак не хотело поминать на богослужениях беспощадных врагов Церкви. Один из тогдашних "непоминавших" знаменитый московский протоиерей отец Валентин Свенцицкий так объяснял свой отказ молиться за большевиков:

- Это - не власть. Власть устанавливается законным путем, а это - узурпаторы, захватчики.

Некоторые священники и диаконы подобно о. В. Свенцицкому открыто отказывались поминать "власти", а более осторожные клирики прибегали к нижеследующему наивному приему.

Вместо того, чтобы произносить на ектенье "О богохранимой стране нашей и властях ея, Господу помолимся", они говорили так: "О богохранимой стране нашей и областей ея"...

На слух разницу уловить было трудно.

Не так давно в одной из газет мне попалось интервью епископа Василия (Родзянко), который, в частности, вспоминал, как еще в детстве был свидетелем примечательного разговора. Тогдашнего предстоятеля Русской Зарубежной Церкви митрополита Антония (Храповицкого) спросили:

- Правда ли, что большевистская власть - антихристова?

- Много чести, просто разбойники, - отвечал Владыка.

И еще одна история со слов М. Н. Ярославского. Он передал мне дословно такой рассказ своего старшего брата архиепископа, который до войны в сане священника много лет провел в заключении.

- Как-то у нас в тюремной больнице был медицинский осмотр. Там присутствовал сам начальник тюрьмы. Увидев меня, он спросил: "Ярославский, ты, если освободишься, опять попом работать будешь?" Я хотел ему ответить: "Как Бог даст". Но вдруг женщина-врач мне подсказала: "А вы ему скажите: я еще архиереем буду".

Покойный архиепископ Мелитон (Соловьев), викарий Ленинградской епархии, с юных лет весьма почитал отца Иоанна Кронштадтского. До войны ему, еще священнику, приходилось сидеть в тюрьме и бывать в знаменитом "сером доме" на Литейном. Вот рассказ владыки Мелитона, записанный со слов его иподиакона.

"Во сне ко мне является отец Иоанн Кронштадтский и говорит: "Исповедуй меня". Я говорю: "Батюшка, да что вы?! Как же я буду исповедовать в а с?!" А он настойчиво повторяет: "Исповедуй меня". Мне пришлось повиноваться, он наклонил голову и назвал несколько незначительных грехов... В тот же день вызвали меня в "серый дом". Между прочим следователь спросил: "Вы почитаете отца Иоанна Кронштадтского?" "Да, - говорю, - очень почитаю". "Вы считаете его святым?" "Да, - говорю, - считаю". "А вы могли бы поцеловать его портрет?" При этом следователь подал мне небольшую фотографию батюшки. "Да, - говорю, - могу". Я перекрестился и приложился к портрету. "Ну, хорошо, - сказал следователь, - идите". И отпустили меня. И только выйдя от них на улицу, я сообразил, что означал мой сон..."

(Тут, пожалуй, следует пояснить, что глагол "исповедовать" имеет двоякий смысл. Можно исповедовать не только грехи, но и какую-то веру. Отсюда - существительное "вероисповедание".)

Ну, а теперь от "тихоновцев" перейдем к "обнагленцам". "Обнагленцами", по свидетельству о. В. Русака, назвал "обновленцев" в свое время митрополит Трифон (Туркестанов). Сами себя они именовали возвышенно - "Живая церковь".

Чего-чего, а именно живости в определенном, узком смысле этого слова у них никак не отнимешь - женатый епископат, два только официальных брака у "митрополита" Введенского...

"Шерше ля фам" - вот подоплека не только этого, но и почти всех других церковных расколов.

Англиканская церковь отделилась от Рима из-за желания короля Генриха VIII развестись с женой и сочетаться с фрейлиной Анной Болейн.

Лютер, сам августинский монах, был женат на монахине.

И это начиная с самого первейшего "раскола", когда праотец Адам из-за женщины обособился от Всевышнего.

Вот тема для исторического исследования...

В каком-то обновленческом приходе был престольный праздник. Богослужение возглавлял один из "архиереев" "живой церкви". После литургии и молебна, как положено, торжественный обед. Во главе стола сидит "владыка", а рядом с ним его "законная" супруга. Во время трапезы "архиерейша" не закрывает рта, всем командует... В конце концов сам "владыка", смущенный ее развязностью, примирительным тоном произносит:

- Ну, что уж ты, матушка...

- Какая я тебе матушка?! - вскидывается она. - Я - владычица!

Рассказывали мне и о таком примечательном случае, происшедшем будто бы в тридцатых годах. Сидели как-то вечером два приятеля в ресторане. (А был, между прочим, Великий Пост.) Один из них огляделся и сказал другому:

- Послушай, вон за тем столиком сидит с двумя дамами обновленческий "митрополит" Александр Введенский.

Тот посмотрел на сидящего в гражданской одежде человека, который разливал вино и шутил с дамами, и засомневался:

- Нет... Не может быть... Ты - обознался...

Но приятель стоял на своем, и они заспорили.

Тогда первый решил развеять сомнения и предложил:

- А хочешь, я к нему сейчас подойду и возьму благословение.

- Ну, подойди.

Он сложил руки лодочкой и, приблизившись, обратился к человеку в костюме:

- Владыко, благословите.

Введенский (а это был он) повернул голову и проговорил:

- Не время и не место.

Тогда подошедший "возмутился духом" и отвечал:

- Это тебе здесь - не время и не место!

Еще одно качество "живоцерковников" - живая, действенная связь с ОГПУ, НКВД... Известный регент Н. В. Матвеев, который в молодости жил в Сергиевом Посаде, рассказывал, как однажды его встретил настоятель обновленческого храма и предложил перейти к нему.

- Боже упаси! - воскликнул Николай Васильевич. - Я к вам ни за что не пойду!..

- Посадим, - совершенно откровенно заявил "бабушка".

Мне когда-то объясняли, так сказать, механику распространения обновленчества по стране. В каком-нибудь городе появляется группа раскольников и просит местный совет зарегистрировать их общину. Им категорически отказывают - там хватает забот с православными приходами. Но тут следует распоряжение из ГПУ - немедленно зарегистрировать и предоставить церковное здание.

А дальше начинается соперничество и вражда между "тихоновцами" и "обнагленцами", в результате - взаим-

ные жалобы, а там и доносы. И вот уже в ГПУ известно решительно всё...

Один маститый священнослужитель рассказывал, что в юности он как-то зашел в храм Христа-Спасителя. (Это было в те годы, когда он еще закрыт не был, но уже принадлежал обновленцам.)

Богослужение не совершалось, и церковь была почти пустой... Однако из алтаря доносились какие-то разгневанные голоса. Затем послышался глухой удар, и сейчас же из открытой двери на солею выкатилась митра...

Даже в мое время многие помнили публичные диспуты "митрополита" "живой церкви" Введенского с "наркомпросом" А. В. Луначарским. Рассказывали, что за кулисами они вместе пили чай и дружески беседовали. Оба были весьма находчивы и остроумны. Один из диспутов, например, имел такое окончание. Введенский сказал:

- Так как ни мне не удалось убедить Анатолия Васильевича в божественном происхождении мира и человека, ни ему убедить меня в правоте материалистической теории, и мы оба остались при своем мнении, будем считать так: меня создал Бог, а Анатолий Васильевич произошел от обезьяны.

Луначарский отвечал на это:

- Я согласен. Но взгляните на меня и представьте себе обезьяну... Вы увидите явный прогресс. А что такое этот человек в сравнении с Богом?..

Естественно, наркомпрос не мог быть постоянным партнером Введенского на модных в те времена диспутах, и с ним часто выступали другие деятели. Мне рассказывали об одном таком случае, который окончился весьма драматически. (Факт подтверждала покойная дочь "первоиерарха".) Было это, если не ошибаюсь, где-то в Средней Азии. Там оппонентом Введенского выступал местный партийный работник, как видно, не семи пядей во лбу. К

концу диспута он был совершенно разбит своим эрудированным и красноречивым партнером и тогда в отчаянии возгласил:

- Пусть он говорит, что Бог есть... А я жил без Бога, живу без Бога и еще проживу сто лет...

С этими словами он замертво свалился с трибуны - разрыв сердца...

Невозможно вообразить, что тут произошло в зале и что началось во всем городе... Введенского во всяком случае оттуда выслали через несколько часов.

И вот настали самые страшные времена. Тут уже брали всех подряд, без разбора - и "тихоновцев", и "обнагленцев"... К 1941 году на территории огромной страны сохранилось ничтожное количество действующих храмов, и почти все клирики были репрессированы.

Если перед войной Митрополиту Сергию задавали вопрос: "Как живете?", он неизменно отвечал:

- Просторно. Один правящий архиерей у меня в Хабаровске, а другой - в Литве.

"РВАНЬ НА ДЫРИЩЕ", или "НОГА ПРИСТАВЛЕННАЯ"

*...сей читал трудно и козелковато,
а пел неблагогоучинно лешевой дуд-
кой...*

*Н. Лесков.
"Заметки неизвестного"*

*Помяни, Господи, раба Твоего и м р е к а
Н. Лесков. "Соборяне"*

Теперь пора перейти к тому, что я называю "лесковщиной в чистом виде". Возникает это явление по двум наиглавнейшим причинам. Первая - оговорки. Типичнейший

пример тому - "рвань на дырище". Кому-то пришлось читать в храме 101-й псалом, там есть такая фраза: "бых яко нощный вран на нырищи" (по русскому переводу: как филин на развалинах). Так вот чтец вместо не вполне понятных "вран на нырищи" произнес нечто более доступное его разумению - "рвань на дырище".

Вторая причина возникновения забавных и нелепых словосочетаний та, что "закон Божий" за годы советской власти никогда и нигде не преподавался (кроме как в немногочисленных духовных школах). И прихожане наши всё, что произносится или поется в церкви, вынуждены воспринимать со слуха. Отсюда и возникают - вместо "иеромонаха" - "аэромонах", вместо "Мельхиседека" - "Мелкосидел", вместо "митрофорного протоиерея" - "митрофонный", вместо "преосвященного митрополита" - "облегченный мелкополит"...

Сравнительно недавно в одном из московских храмов была забавная оговорка. В Евангелии от Иоанна есть греческое слово "епендит" (в русском переводе - одежда). Вся фраза, содержащая это слово, по-славянски звучит так:

"Симон же Петр слышав, яко Господь есть, епиндитом препоясая бе бо наг, и ввержеся в море".

Так вот некий батюшка прочел это место так:

- "аппендицитом препоясая"...

В некоторых случаях после прокимна: "Помяну Имя Твое во всяком роде и роде" произносятся стихи - "Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое".

Мне рассказывали, что один из диаконов на этом стихе сбился. Он возгласил:

- Слыши, дщи и приклони...

После этого диакон сделал паузу и закончил так:

- ...и виждь ухо Твое".

Мне рассказывали, что диакон Владимир Русак, когда

он еще был сотрудником издательского отдела Патриархии и служил с владыкой Питиримом, однажды за богослужением вместо того, чтобы произнести "архиепископ Волоколамский" возгласил "архиепископ Валокординский". И больше всех над этим смеялся сам Владыка, который в действительности довольно часто принимал валокордин.

Помнится, служил в ярославском соборе новопоставленный диакон. От волнения он часто ошибался - то чего-то не договаривал, а то и от себя прибавлял. В частности, на всенощной есть такое молитвенное прошение:

- ...о еже милостиву и благоуветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякий гнев на ны движимый, и избавити ны отлежащего и праведного Своего прещения, и помиловати ны.

Диакон в этом месте сделал некое прибавление:

- ...отвратити всякий гнев на ны движимый в недвижимый...

Святитель Иоанн Златоуст именуется двояко, в одних богослужебных книгах на греческий лад - "архиепископ Константинопольский", а в других - на славянский - "Константиноградский". Один московский батюшка соединил оба варианта и на отпуске всегда говорит так:

- Святителя Иоанна, архиепископа Константиноградского...

Иногда для достижения сильнейшего эффекта даже не нужно коверкать или перевирать слова, достаточно просто ошибиться в ударении. Вот стих, который произносится на заупокойном богослужении:

- Души их во благих водворятся.

Некий диакон однажды возгласил так:

- Души их, во благих водворятся!

И, наконец, подлинный анекдот времен дореволюционных.

В большом городском храме шла литургия в неделю (воскресение) "святых отец" - перед самым Рождеством Христовым. Диакон, как положено, на амвоне читает Евангелие от Матфея - родословие Иисуса Христа, а священники стоят в алтаре у престола.

Вместо того, чтобы прочесть: "Салафииль же роди За-
ровавеля", диакон произнес:

- Соловей же роди журавеля...

Старший протоиерей прищурил глаза и тихонько ска-
зал сослужителям:

- Вот так пташка!..

Некий человек, вовсе нецерковный, первый раз побы-
вал на богослужении, делился своими впечатлениями.

- Очень мне понравилось. Так и за животных молятся...

- За каких животных? - спросили его.

- За крокодила...

- За какого крокодила? Что вы говорите?

- Как же? Я сам слышал, они пели про крокодила...

Этот человек так воспринял на слух песнопение вечер-
ни: "Да исправится молитва моя, я к о к а д и л о пред
Тобою..."

И еще из того же жанра.

Одна старушка жалуется другой:

- Батюшка у нас очень злой, он меня ненавидит. Все
время пальцем на меня показывает и говорит: "Я тебя
съем".

(Так эта женщина воспринимала возглас "Мир всем!" и
сопутствующее ему благословение десницей.)

В сельских храмах даже на клиросах порой стоят
вовсе неграмотные женщины, во всяком случае не умею-
щие читать на церковно-славянском языке. И поют они
только то, что запоминают с чужого голоса. Вот яркий
пример:

Во время погребения поется, в частности, такое:

"...яко земля еси и в землю отидеши, аможе вси человецы пойдём..." (т. е. в землю все люди пойдём).

В некоем храме клирошане, как видно подразумевая лежащего перед ними покойника, вместо "аможе вси человецы пойдём" пели так:

- А может, в человеки пойдёт...

Тут следует добавить, что некоторые краткие молитвословия, которые считаются общеизвестными, нелегко бывает обнаружить напечатанными полностью. Таков, например, причастен (песнопение в конце литургии) "В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится". И в Апостоде, и в Типиконе указывается так - "Причастен: В память вечную...".

А потому немудрено, что в одном сельском храме на клиросе это пели отчасти по слуху, отчасти по собственному разумению:

- В память вечную будет праведник, пастух козла не убоится.

Отец Борис Старк рассказывал мне, когда он вернулся из Парижа в Россию и был направлен для служения в кладбищенский храм Костромы, его поражали поминальные записки. Приходилось молиться о упокоении таких предметов, как "лампа" или "графин"... И только по прошествии времени он овладел обязательным для священнослужителя Русской Православной Церкви умением расшифровывать слова, встречающиеся в поминаниях. "Лампа" следует произносить вслух, как "Олимпиада", а "графин" - "Агриппина".

Впрочем, встречаются и такие слова, которые расшифровке не поддаются. (Я, например, так и не смог понять, что имела в виду женщина, которая написала загадочное имя "Риголетта".) Но и тут есть вполне благопристойный выход, в этом случае вслух произносится:

- Ее же имя Ты, Господи, веси.

Архиепископ Киприан в свое время рассказывал такую историю. В бытность его еще священником служил с ним на приходе диакон, большой ценитель юмора. Однажды во время панихиды диакон обнаружил в записке некое немыслимое слово. (Владыка так и не повторил, что в точности там было написано.) Женщина, которая это вывела, вообще-то имела в виду слово "иеросхимонах". (Согласитесь, что возможности для искажения тут богатые.)

Так вот диакон с совершенно серьезным лицом обратился к батюшке:

- Простите, я вот это слово не могу разобрать.

Будущий владыка прочел и невольно рассмеялся... И далее уже удержаться не мог, так и посмеивался до самого конца панихиды. Когда же она отошла, он обратился к молящимся:

- Я вам уже говорил и еще раз повторяю: если вы не знаете толком какого-нибудь слова или имени, не пишите его в записке... А то вот видите, меня в соблазн ввели - я на панихиде из-за вас смеялся...

При этом владыка добавлял еще вот что:

- А если бы я им так не сказал, они меня бы обязательно за этот смех осудили.

Чтение записок вслух совершенно необходимый элемент современного богослужения. Прихожане внимательно это слушают, ловят знакомые имена из своих поминаний и особенно благоволят к тем священнослужителям, которые произносят внятно и с видимым усердием.

Мне рассказывали о некоем монахе из Почаевской лавры, который читал имена очень внятно, но чрезвычайно быстро, строчил, как пулемет... Кто-то решил над ним подшутить, и ему подсунули записку, где множество раз повторялось одно имя - "Тит", а в самом конце было написано "та-та-та". И монах, как по нотам, воспроизвел:

- Ти-та-ти-та-ти-та... Ти-та-ти-та-ти-та... Ти-та-ти, та-ти-та... Ти-та-ти-та-та-та-та...

За годы моего священства я собрал небольшую коллекцию поминальных записок. Кое-что из моего собрания я и хочу здесь воспроизвести.

Самые простые искажения происходят по уже упоминаемой мной причине - незнакомые слова воспринимаются на слух. Вот, например, в ярославских храмах подаются специальные записки с именами людей, которым должна быть возглашаема "вечная память". Для того, чтобы отличать эти поминания от прочих, на них пишут первые слова возгласения: "Во блаженном успении"... Так вот чего только ярославские старушки вместо этого не выводят: "Блаженные", "По блаженству" и даже с фининспекторским уклоном - "во обложение"...

Или слово - "отроковица". Многие его толком не знают, но так как в храме постоянно слышат, то и пытаются воспроизвести, кто во что горазд: "раковичку Ирину" или "девицу от рукавицы Зинаиду".

Но есть и такие поминания, которые я бы отнес уже к жанру литургического творчества. В семидесятых годах одна женщина в храме города Мурманска за каждым богослужением подавала такую записку: "О упокоении дважды великомученика Владимира Ленина". В конце концов, это стало известно органам компетентным, и она попала в психиатрическую больницу. Вышла она оттуда месяцев через шесть и больше "дважды великомученика" уже не поминала.

Вот еще один подлинный случай. К некоему батюшке подошла женщина и попросила его помолиться о упокоении души Владимира Ильича Ленина. Священник делать это категорически отказался, а свой отказ объяснил следующим образом:

- Как известно, Ленин - вечно живой. А живых за упокой не поминают.

В недавние времена в патриаршем соборе в Москве,

когда там в клире состоял архидиакон С. Гавшев, кто-то подавал такую выразительную записку:

"О здравии озлобленного архидиакона Стефана".

Чаще всего творчество в поминаниях проявляется под самый конец записки. Поначалу идут самые обыкновенные имена, а финал бывает оригинальный:

"Царя Давида и всю кротость его" (Цитата, псалом 131).

"Всех военно-убиенных".

"Всех усопших сродников".

"Всех забытых и всех заброшенных".

"Всех сродников по плоти и крови до седьмого колена от Адама и Евы".

А вот целый пассаж, который я бы назвал поэтическим. (Сохраняю "правописание" подлинника.)

"Все воиных убиеных Всех млodenцов безимяных всех млodenцов умерших Всех безродных умерших Всех утопляющих Всех удавляющих Всех згорающих Всех убивающих и Всех умерших".

И еще о творчестве. В простом народе еще живы старинные заговоры, которые в свое время собирал и опубликовал М. Забелин ("Русский народ, его обычаи, обряды, предания..."). Жанр этот не только существует, но, как видим, и модернизируется. Вот "молитва", которая попала ко мне в 1989 году. Привожу ее полностью с сохранением всех особенностей подлинника.

"Молитва

шел Господь Исус Христос с востока вель собой 1012 ангелов 1316 апостолов встретила с ними Мати Божия сын мой куда Ты идешь я иду к новорожденной робе Божией Евдокии узнать откуда взялся рак рак откуда ты взялся от тоски или сердцем или от глаза или от жизни или от буйного ветра иди рак туда тут тебе небыть в робе божей Евдокии червоного кровь непить белого тела некрушить

не косить ни сушить иди рак в синию море пей рак морскую воду и глатай рак морской песок и глатай рак морской камень

аминь аминь аминь”.

В заключение еще несколько перлов из моей коллекции.

”Убивенца Ивана”.

”Беременную, первородящую Клавдию”.

”Ожидаемого младенца Юрия (Георгия)”.

”Неопознанного младенца Сергия”.

”Листопадную Марию”.

А вот записка жуткая, так что - мороз по коже.

”беземенных

детей один аборт двах

родила и задушила”

(Это вообще распространено, убитых во чреве поминают, как ”безимянных”).

Записка, свидетельствующая о дикости и темноте:

”За упаккой

Ксению Петербургскую

царя Давида

чудотворца отца Сирофима

Казанскую Божию Мать

Николая Угодника

и всех святых”.

Святой мученик Вонифатий, живший в III веке, как верят православные люди, помогает исцелять пьяниц, и по этой причине ему весьма часто заказывают молебны. Одна старушка, которая молилась об исцелении от пьянства своего сына, написала имя святого по собственному разумению:

”Мученик В и н о х в а т и й”.

И, наконец, о той записке, что вынесена в заглавие.

Она попалась мне лет двадцать назад в Скорбященском храме на Большой Ордынке. Там после некоторого перечня имен было приписано - "и ногу приставленную". Так писательница восприняла на слух слово "новопреставленная" - т. е. недавно умершая.

НАЧАЛ ЗА ЗДРАВЬЕ...

Хорошего здесь много, но дьяконов настоящих, как по-нашему требуется, нет; все тенористые, пристойные по-нашему разве только к кладбищам, и хотя иные держат себя и очень даже форсисто, но и собою все против нас жидки и в служении все действуют говорком, а нередко даже и не в ноту, почему певчим с ними потрафлять хорошо невозможно.

И. Лесков. "Соборяне"

Итак - диаконы. Еще Лесковым замечено, что сан этот в Русской Православной Церкви создает определенные проблемы. Понятие о сути их можно получить, если вдуматься в слова некоего архиерея, который говаривал:

- Я хочу создать совершенно новую школу диаконов. Все они будут у меня без слуха, без голоса, но зато совершенно непьющие и весьма благоговейные.

На эту же тему есть в Церкви краткая, но красноречивая поговорка:

- Где голосок, там и бесок.

До сих пор в православной среде бытуют новеллы о легендарном архидиаконе начала века - отце Константине Розове. Рассказывается не только о его изумительном голосе, но и о богатырском телосложении (рост 2 аршина 14 вершков), а также и о том, что он мог выпить четверть водки.

Дочь о. К. Розова сравнительно недавно опубликовала

в "Журнале Московской Патриархии" (1989, № 6) подлинный рассказ старого москвича:

"Раньше Каменный мост был небольшой, как-то раз бежит по мосту корова, а за ней хозяйка. Навстречу ей идет Розов. Она кричит ему:

- Батюшка, останови телку!

А он как гаркнул - корова и сиганула в Москва-реку. Женщина плачет, причитая:

- Что ж ты, батюшка, сделал? Ведь она - моя кормилица.

А батюшка достал из кармана деньги, извиняясь, отдал ей. Та увидела и ахнула:

- Батюшка, на эти-то деньги три коровы купить можно!"

А вот история, которую рассказывал покойный патриарх Пимен.

Как-то в морозный вечерок на праздник Крещения отец Константин шел в некотором подпитии по набережной Москва-реки. К нему сзади подкрался карманный воришка и запустил руку под его меховую рясу. Архидиакон почувствовал это, крепко ухватил воришку за руку и тут же свел его на лед реки. Затем он отыскал прорубь, взял своего пленника за шиворот и с пением - "Во Иордане крещающуся Тебе Господи..." - окунул вора в ледяную воду, а после этого отпустил на все четыре стороны.

В диаконском служении знатоки очень ценят внятное и громогласное чтение Евангелия на литургии. Хороший протоиерей произносит слова отдельно, с большими паузами. Когда-то по этой причине произошел даже некий конфуз. До революции в Глинскую, если не ошибаюсь, пустынь торжественно привезли чудотворную икону - Курскую Коренную. За литургией протоиерей читал Евангелие от Луки, которое положено читать на все богородичные праздники. Там есть обращение Спасителя: "Марфо, Марфо"... В этом месте протоиерей сделал особенно значительные паузы:

- Марфо... Марфо...

И тут какая-то простая баба ответила на весь храм:

- Чего, батюшка?..

Эта фраза в Евангелии гласит: "Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе..." Известен случай, когда в храме ленинградской Духовной академии протодиакон оговорился и громовым голосом возгласил:

- Марфо... Марфо... почешися...

Завершить эту тему я хочу конфузом, который произошел на моих глазах. В храме на Ордынке в день престольного праздника - явления иконы "Всех скорбящих Радость" архидиакон С. Г. вышел на литургии читать Евангелие. Но он открыл книгу неправильно и стал произносить тот текст, который положен на всенощной... Затем, опомнившись, он поскорее перевернул листы и перешел в то место, которое и следовало ему читать. В результате он прочел вот что:

- Во дни оны, воставши Мариам, иде в Горняя со тщанием, во град Иудов, и вниде в дом Захарин, и целова Елисавет... И сестра ей бе нарицаемая Мариа, яже и седши при ногу Иисусову слышаще слово Его...

И далее все до конца. (Смотри Евангелие от Луки главы 1 и 10).

В семидесятых годах мне часто приходилось бывать в Ленинграде. Там, помнится, было несколько очень хороших протодиаконов. С одним из них произошел курьезный случай в Великую Субботу.

В этот день за утренним богослужением читается 15 паремий - текстов из книг Ветхого Завета. Обыкновенно их читают псаломщики или младшие диаконы, а протодиакон в это время находится в алтаре и должен время от времени возглашать "Премудрость!" и "Вонмем!"...

Так вот после этой самой службы отец протодиакон ехал в троллейбусе от Александро-Невской лавры. Сказывалось утомление от сегодняшнего продолжительного богослужения, да и от всей Страстной седмицы... Сидя в

троллейбуса, он задремал. В это время водитель резко притормозил, и стоящий над дремлющим клириком пассажир инстинктивно ухватился за его плечо... Эффект вышел самый неожиданный - протоиерей востолчился и страшным голосом взревел:

- Премудрость!..

Среди самых знаменитых протоиереев в двадцатые годы был покойный М. Д. Михайлов. Затем его переманили в театр, работать там было, разумеется, безопаснее. Но он при том от религии не отрекался, никаких кощунственных заявлений не делал. Когда он умер, патриарх Пимен благословил отпеть его в облачении и помянуть как протоиерея.

В артистической карьере М. Д. Михайлова был такой эпизод. Он снимался в печально известном фильме "Иван Грозный", исполнял там роль протоиерея в сцене коронации царя. Мне рассказывали, что он, в конце концов, очень обиделся на киношников, ибо возглашая "многочетие", он блеснул профессионализмом - тянул последнее слово едва ли не две минуты... А в готовом фильме это сильно урезали.

- Что же теперь про меня диаконы скажут? - сетовал он. - Михайлов "много лет" пропеть не может...

Забавное происшествие было и во время самой съемки. Надо сказать, что постановщику фильма С. Эйзенштейну разрешили снимать в Кремле, в Успенском соборе, т. е. в том самом месте, где это и происходило. Можно себе представить, как киношники набились в храм, затащили осветительные приборы... У Эйзенштейна, как известно, совершенная композиция кадра была едва ли не главной целью, а потому недоразумение, возникшее у него с М. Д. Михайловым, особенно забавно. Итак, к съемке было все готово: протоиерей стоит на амвоне, звучат команды - "Свет!", "Камера!", "Начали!"... Михайлов поворачивается спиной к режиссеру и оператору и начинает говорить ектению...

- Стоп! - истерически кричит Эйзенштейн. - Вы почему туда повернулись? Камера здесь!

- А мне что ваша камера? - отвечает с амвона Михайлов. - Алтарь-то вот он...

Архиепископ Киприан рассказывал, что интронизация патриарха Алексия проходила весьма торжественно, было множество высоких иностранных гостей, всё московское духовенство. М. Д. Михайлов в гражданском костюмчике стоял на клиросе, и по щекам его текли слезы зависти. Ведь если бы он не ушел в театр, то был бы одной из самых первых фигур этого всеправославного торжества...

Владыка Киприан рассказывал мне и о другой московской знаменитости - протодиаконе Михаиле Холмогорове. Он говорил, что в свое время ценители красоты богослужений делились на две партии - поклонников Михайлова и почитателей Холмогорова. (Сам Владыка был среди последних.) При этом Холмогоров сохранил верность Церкви в самые трудные времена. А соблазны были и у него. Раз его уговорили спеть что-то такое на радио. И он согласился... Однако же, дойдя до дверей радиодома, раскаялся и не вошел.

Будучи еще священником, архиепископ Киприан служил с одним диаконом. Как-то такое на молебне этот диакон громогласно помянул некую "девицу со чады".

Когда служба отошла, будущий Владыка говорит ему:

- Ты что же, отец диакон, девицу-то позоришь?

- А что такое?

- Какие же у девицы могут быть чада?

- А я это не подумал. Я просто хотел ее лучше помянуть...

Вспоминается мне некролог по одному маститому протоиерее, напечатанный в свое время в Журнале Московской Патриархии. Писал его человек, как видно, весьма далекий от приходской жизни. В частности, повествуя о благочестии покойного, автор упомянул, что тот на ектеньях читал не только общий синодик, но и многочисленные записки, которые у него всегда были при себе. (А это

последнее доказывает вовсе не набожность, а то, что у покойного была, так сказать, своя клиентура и при том, надо думать, обширная.)

Одна старая москвичка в свое время была свидетельницей скандальной ошибки, которую совершил протоиерей, сослужащий сразу двум патриархам - Российскому и Грузинскому. Дело было в пятидесятых годах. Московским первосвященником был Алексей I, а Тбилиским, очевидно, Ефрем. В конце богослужения протоиерей возглашал многолетия - сначала предстоятелю Российской Церкви, а затем он должен был произнести:

- Великому Господину и Отцу Ефрему - Святейшему и Блаженнейшему Католикусу-Патриарху всея Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилискому - многая лета!

Однако же непривычное слово "католикос" протоиерея сбило, и у него вышло так:

- Великому Господину и Отцу Ефрему - Святейшему и Блаженнейшему Католикусу всех армян - многая лета!

Тут я приведу подлинные слова свидетельницы этого драматического эпизода. Она рассказывала, что грузинский иерарх, которого публично называли "католикосом армян", пришел в совершенное неистовство, глаза его сделались, как у "бешеного рака"...

Я довольно близко знал лишь одного протоиерея - отца Константина Егорова, который до смерти своей служил в Скорбященском храме на Большой Ордынке. По незлобивому своему характеру, да и по развитию, это был сущий младенец. В церковном хоре он пел с детства, а потом долгие годы был оперным певцом. Пик его сценической карьеры был, кажется, музыкальный театр Уфы, где он был солистом. При этом злые языки утверждали, что на всех спектаклях, в которых он участвовал, из-за него обязательно происходило какое-нибудь недоразумение. То же самое частенько происходило и на богослужениях.

Помню, как-то на всенощной, в последней, просительной ектеньи он вдруг произнес:

- О предложенных честных Дарех Господу помолимся.

(Это - из последования литургии, а на всенощной смысла не имеет.)

В день Святителя Николая случился торжественный молебен, в конце которого архиерей должен был читать молитву. Протодиакону надлежало возгласить:

- Иже во святых отцу нашему Николаю, архиепископу, Мир Ликийских чудотворцу помолимся!

Отец Константин пожевал губами и произнес:

- Отцу Николаю помолимся!

Архиепископ Киприан прочел молитву. Молебен кончился.

Уже в алтаре владыка сказал:

- Хорошо, что хоть в клире нашем отца Николая нет, а то совсем бы уж неловко было...

Помню два случая, когда протодиакон выводил архиерея из терпения. Первый - на вечерне в Прощеное воскресенье. Отец Константин, как видно, после литургии "заговелся", а потому вечером явился в храм несколько более оживленным, нежели обычно.

После входа он встал рядом с архиереем на горнее место и запел прокимен, но перепутал слова - вместо "Не отврати лица Твоего от отрока Твоего..." - у него вышло:

- Не отврати лица моего от отрока Твоего...

Другой раз отец Константин рассердил архиерея в Великую Субботу. Ему довелось читать на утрени Апостол - послание к коринфянам. Там несколько раз встречается слово "квас" - "мал квас", "ветхий квас", "квас злобы и лукавства". А под конец говорится: "Писано бо есть: проклят всяк висий на древе". Вот протодиакон и прочти после всего этого:

- Проклят квас висий на древе...

После службы архиепископ долго не мог успокоиться:

- Ну, как это можно так сказать: квас висий на древе?..

Один из батюшек, чтобы несколько разрядить обстановку, говорит:

- Ну, а если в кувшин, Владыко?

Царствие небесное, отцу Константину!.. Повторяю: был он незлобив и наивен, как младенец, и это проявлялось во всем.

Перед служением литургии священник спрашивает его:

- Вы сегодня причащаться будете?

Протодиакон озабоченно осматривается и произносит:

- Надо бы причаститься... Сегодня не в приделе - в главном храме служим...

Надо добавить, что я старого протодиакона любил и всегда старался ему услужить. (Хотя, честно говоря, мне не нравилась его театрализованная манера служить.) Раз, помню, перед службой он обращается ко мне:

- Я служебник забыл... Сходи в раздевалку, там у меня в кармане подрясника.

Всенощная должна была вот-вот начаться, я поспешил, отыскал его подрясник, сунул руку в карман и чуть не вскрикнул от боли - мне в ладонь вонзилось что-то острое. Это был штопор, который находился в кармане вместе с маленьким служебником...

Окончить эту часть повествования* мне хочется еще одной подлинной историей. В семидесятых еще годах некий диакон удостоился чести сослужить архангельскому архиерею. После службы Владыка благословил одному монаху, который ездил в собственном автомобиле, отвезти отца диакона по требуемому адресу. Монах этот то ли был унижен самим поручением архиерея, то ли диакон этот ему очень не нравился, но он поступил следующим образом. Выбрав место весьма глухое и безлюдное, он остановил машину и буквально вышвырнул своего пассажира с такими словами:

- На всю жизнь запомни: монашество выше диаконства!

* Здесь опубликованы главы из одноименной книги. - Ред.

Фридрих НЕЗНАНСКИЙ

Мы узнали врага - и это мы сами*

Россия вступила в новаторский период своего развития. На наших глазах происходит процесс создания совершенно новой российской цивилизации. Она базируется на трех опорах: на историческом опыте России, на опыте Советского Союза и на итогах мировой цивилизации.

Понимаю, что говорю не то, что "у всех на слуху", и что у меня сразу же найдутся грозные оппоненты. Они с фактами в руках загонят меня в угол: "О чем вы, дядя? Не следите за событиями? Не слышали что ли, что реформы в стране идут вяло да и не кардинально. Повсюду развал, хаос и беспредел. Все чаще и чаще знающие люди говорят о новом путче, о неминуемой гибели страны, о крае пропасти, перед которой мы все очутились. А вы о какой-то там цивилизации..."

Когда же в связи с подобным разговором задаешь соотечественнику уточняющие вопросы, то в ответ слышишь жесткий монолог о параличе власти, о том, что, дескать, старые властные структуры противостоят новым: хасбулатовская законодательная рать - гайдаровской исполнительной; облсоветы - администрации, периферийная номенклатурная власть - центральной демократической; а власть в целом - народу. И это, надо согласиться, правда.

* Из курса лекций по теме "Практический солидаризм", читаемого на учебных семинарах членов и друзей НТС в России.

Но это правда лишь отчасти. Полная правда состоит в том, что тоталитарная власть сформировала общество с явно выраженной ущербностью и ограниченностью. Большевизм создал общество с зашоренностью совокупного общественного сознания. И эта зашоренность на уровне социально-философского осмысления мешает иным людям посмотреть на происходящее в подлинном виде, оставив в стороне прошлые большевистские мифы и нынешние ошибки зарождающейся демократии. И здесь кроется ответ на вопрос: почему значительная часть населения не видит ничего положительного в происходящем.

Суть многих неудач наших реформаторов - в несоответствии предлагаемых ими проектов действительным данным созданного большевизмом общества образца 1917-1991 гг. Основная проблема кроется, пожалуй, в системе ценностей, созданной в 1917 году. (Язык с трудом проговаривает эту фразу: "система ценностей"!)

Эта система внедрялась в народное сознание, культивировалась тоталитарной властью в течение почти 75 лет. Не удивительно, что эта система, порочная и бесчеловечная в своей основе, пустила глубокие корни в самое бытие и сознание немалой части нашего народа.

И прежде, чем наметить туманные очертания грядущего, необходимо получить ответы на элементарные вопросы: каковы характеристики нашего общества, вступившего в новый процесс? каковы особенности этого процесса обновления России? что должна представлять собою новая российская цивилизация?

Ответ на первый вопрос бесспорен. Наше общество все еще преимущественно общество тоталитарное. Вернее, оно с болью и криком вырывается из этого состояния. За не столь уж значительным исключением, у нас все еще существует контроль государства над жизнью гражданского общества. Конечно, сейчас, при Ельцине, совсем не то, что было, допустим, при Брежнев, Андропове, Черненко или даже при Горбачеве. Все мы испытали на себе все эти "прелести" контроля коммунистической власти, так что

легко сможем пересчитать их по пальцам. Это огосударствление всех легальных организаций. Не ограниченные законами полномочия властей. Запрещение демократических институтов. Подавление конституционных прав и свобод. Милитаризация производства и всей общественной жизни. Жестокие репрессии в отношении оппозиции.

Увы, следует отметить, что в наследство от тоталитаризма нам досталось общество, по преимуществу бессубъектное. Что это значит? А то, что коммунистическая власть ставила перед собою задачу уничтожения в каждом из нас всего личностного, человеческого. Такое вот общество и свело на нет большинство не только индивидуальных, но и групповых, массовых субъектов, превратило их лишь в объекты государственного управления. Люди были лишены возможности свободно мыслить и свободно действовать. Все прежние субъекты социального поведения были замещены по преимуществу одним субъектом, олицетворяющим структуры власти. Это были индивидуальные и коллективные персонажи, осуществляющие функции принятия решений, распределения обязанностей и благ. Обладая функцией социального контроля, этот субъект власти одних из нас поощрял, других репрессировал. Разумеется, в нашем обществе всегда были индивидуальности, были люди, активно противостоящие власти. Но это было скорее исключение из правил, чем само правило.

Есть еще один значительный и печальный аспект господства в нашем обществе указанного типа субъекта. Подобная мировоззренческая позиция породила производные, прежде всего, монополии номенклатуры в сферах политики, экономики, информации и права. И самое страшное последствие - структуры военно-промышленного комплекса. Они призваны были обеспечить реализацию имперских планов тоталитарного государства. Последствия, как мы видим на многочисленных примерах, подобны землетрясению, которое до сих пор сотрясает наше общество, не дает ему выйти из состояния разрухи и упадка.

Структура нашего общества по сравнению с нормаль-

ной структурой нетоталитарного общества резко сужена. За небольшим исключением тоталитарная власть пронизала существо почти каждого живущего в этой системе человека. Граждане в своей значительной части находятся не вне власти, а внутри нее. Они - носители и исполнители этой власти. Это обстоятельство легко выявляется, как только пытаешься исследовать бытующее в нашем обществе сознание, а точнее механизмы и результаты взаимодействия общества с существующей официальной идеологией. В отличие от нормального общества в тоталитарном идеологией заняты не только идеологи, но и широкие слои населения. Основная часть социальных отношений реализуется не в виде законодательно закрепленных взаимодействий между людьми, а в виде неписаных связей между субъектами и объектами. Власть в этих связях выступает анонимно. Она скрывается внутри каждого из нас. Так она цементирует общество как единое целое.

Какой же вывод мы должны сделать из всего сказанного? Вывод этот неутешителен, но точен: мы узнали врага, и враг - это мы сами.

К новой российской цивилизации

Как же нам бороться с самими собою? Прежде всего, нужно прислушаться к происходящему. В обществе ныне зреет стремление ухода от тоталитарных привычек. Этот процесс идет как в обществе, так и в каждом из нас. Все мы стремимся к культуре свободы, демократии и солидарности, к новой российской цивилизации. Тенденцию эту мы и предлагаем назвать "практическим солидаризмом".

Конкретное приложение теории солидаризма - это ее конструктивный вклад в разрешение актуальных вопросов нормализации искаленных тоталитаризмом общественных отношений в нашей стране. Это и подлинная научно-техническая революция, и комплекс кардинальных реформ, и ускорение духовных, политических, экономических, социальных и правовых процессов в обществе и государстве.

Тут мы вплотную приблизились к ответу на вопрос: каково же магистральное направление начавшихся после августа 1991 года изменений? Не берусь предугадать, что же произойдет с нашим обществом завтра, послезавтра или через десять лет. Но ясно одно: если мы хотим избежать ада и выстроить общество, в котором можно будет нормально жить, все мы должны, наконец, резко свернуть с ведущей в ГУЛАГ дороги тоталитаризма. Всем миром мы должны отправиться по дороге, ведущей к новой российской цивилизации.

Прежде всего, необходимо сформировать гражданское общество. Многие из нас до сих пор не в состоянии провести границу между гражданским обществом и государством. Гражданское общество это сфера свободной, творческой жизнедеятельности личности, коллективов и общностей людей. В гражданском обществе просто необходимо разнообразие взглядов и подходов, мотивов и интересов. Лишь полное и разумное самовыражение каждого из нас рождает в обществе тот заряд, который обеспечивает динамичное его развитие. В обществе должны действовать разнообразные политические силы. Эти силы должны достигать своих целей не с помощью ракет или пулеметов, а путем контактов, соглашений, терпимости, взаимопонимания и компромиссов. Плюрализм, о котором сейчас так любят говорить, осуществляется в границах гражданского общества способами, присущими цивилизованным отношениям между людьми. А что мы видим у нас? В нынешней атмосфере вражды и неприязни становление гражданского общества в нашей стране ох как затруднено.

Не секрет, что при определенных условиях политические силы могли бы договориться о совместном магистральном пути. Для этого необходимо свести к общему знаменателю главные общественные ценности. Каковы они? Права и свободы человека. Народоуправство. Социально-рыночная экономика, способная стимулировать и защищать труд человека. Социальная защищенность членов общества. И, разумеется, правовое государство.

Правовое государство выделяется нами особо, так как без него ни одна общественная ценность, на которой основывается жизнь людей, недостижима. В закрепленных законами рамках и процедурах должны происходить борения политических идей, выясняться политические позиции и программы различных партий. Только правовое государство предоставляет партиям простор для привлечения избирателей на свою сторону.

И в этом соревновании бо́льшую возможность будут иметь те партии, которые максимально учтут факт общего интереса большинства жителей страны.

Теория солидаризма

Солидарность и борьба - спутники человека. Если солидарность - естественное человеческое чувство, то обострение в обществе борьбы враждующих групп - скорее дефект общественного сознания. Солидарность конструктивна. Преобладание солидарности в обществе ведет к прогрессу, а классовая борьба приводит к распаду. Путь развития общественного сознания ведет от инстинктивной солидарности к солидарности сознательной. Классики учения о солидаризме Конт, Дюркгейм, Гиддинс, Кропоткин, Ковалевский, Левицкий и другие доказали, что солидаризм есть идея общественного и государственного строя, основанного на осознанной солидарности.

Идея солидарности была основой русского народничества, исходившего из сознания долга высших классов по отношению к низшим, за счет которых создано благополучие высших. Кропоткин объяснил простую мысль: в жизни живых существ солидарность играет более значительную роль, чем антагонизм, а Ковалевский в своих работах привязал теорию к практике: развитие социальной жизни состоит в расширении замиренной среды, групп людей, сознающих солидарные интересы и умеющих их согласовать в конкретных жизненных обстоятельствах.

Солидаризм - мировоззренческая база одной из старейших российских политических организаций, Народно-Тру-

дового Союза российских солидаристов. В ее программе сказано, что солидаризм есть система согласования свободных устремлений людей и постоянного преодоления неизбежных общественных противоречий путем соподчинения противоположных интересов в процессе солидарного сотрудничества во имя общего блага и прогресса.

Солидаризм покоится на органическом, идеал-реалистическом мировоззрении, на утверждении духовного начала и морально-этических принципов. Он вытекает из персоналистического понимания ценности человеческой личности, свободно устремленной к творческому служению надличным ценностям. Солидаризм есть идея сплочения в свободном служении высшим духовным ценностям. Он утверждает свободу, но устраняет анархию и эксплуатацию человека человеком, утверждает общность, но устраняет насилие и поглощение человека коллективом. Идея России, говорится в программе НТС, есть идея справедливой общественной жизни, идея осуществления правды на земле, в этом - самобытность и историческое призвание России.

Большой вклад в идею реализации солидаризма на практике внес проф. Г. К. Гинс. Он понимал, что как бы ни были глубоки теоретические постулаты, этого явно недостаточно для того, чтобы сформулировать принципиальную идею, на которой должны строиться как гражданское общество, так и правовое государство. Солидарность, оказывающая свое благотворное влияние на отдельных людей и на группы людей, должна связать общество. Он вывел два основных положения солидаризма. Первое касается организации самого государства. Оно должно строиться на взаимозависимых, руководимых центральной властью групповых союзах. Второе связано с надзором государства за частным хозяйством.

Гинсу принадлежит также идея координационного права. Юристы различают два вида права: частное право и публичное право. Однако признание иного порядка, кроме основанного на индивидуализме или коллективизме, ведет

к осознанию третьего вида права. Гинс назвал этот вид права координационным и заявил, что психологии солидаризма соответствует право координации, согласительное или регулятивное право, поскольку оно требует согласования действий и интересов. При этом право координации не только определяет границы свободы, как это принято в частном праве, но и подчиняет частные интересы общим. Право координации не подавляет личность, не растворяет ее в массе, не подчиняет навязанному порядку. Оно согласовывает, а не подчиняет, регулирует, а не регламентирует. В качестве примера такого рода норм права Гинс обычно указывал на правила, регулирующие уличное движение. Они не устраняют свободы передвижения, они только согласовывают движение таким образом, чтобы один автомобиль не препятствовал бы другому.

Главная идея координационного права - согласовывать разнообразные частные и групповые интересы. Государство не может навязать частному хозяйству те цели, которые ему чужды, и приносить индивидуальные или групповые интересы в жертву общему благу иначе, как в порядке исключительных законов, оправдываемыми чрезвычайными обстоятельствами. Солидаризированное государство вправе допускать только такие ограничения, которые приносят одновременно выгоду тем, кто подвергается ограничениям. Координационное право поддерживает уважение к личным правам и становится защитой против вредных тенденций централизации и социализации народного хозяйства. Применение этого вида права в системе народного хозяйства придает ему организованность. Эта организованность достигается не путем подчинения единому принудительному праву, а путем согласования интересов отдельных участников хозяйства. Такая система хозяйства была названа солидаризированным хозяйством. (Г. К. Гинс. "Новые идеи в праве", т. 1, с. 260)

Но солидаризация хозяйства зависит от степени участия, поддержки и давления со стороны государства. В своей талантливой книге "Предприниматель", которая,

надеемся, скоро выйдет в московском филиале издательства "Посев", Гинс предупреждал, что не следует упускать из вида, что возникновение одной сильной группы вызовет появление другой. Объединение предпринимателей усилит рост профсоюзного движения среди рабочих. Создание союза промышленников будет способствовать возникновению союзов торговцев или производителей сырья, а союзы предпринимателей и коммерсантов станут катализаторами для создания союзов потребителей. Иными словами, среди населения создадутся группы, борющиеся за свои интересы. При этих условиях государство не сможет выполнять роль "ночного сторожа", ведь опасности станут подкарауливать общество и "днем". Следует учесть, что группировки экономических интересов все более будут приближаться к партийным группировкам, поскольку экономика всегда ищет опоры в политике, а высшее политическое руководство остается за государственными структурами.

В подобном столкновении интересов экономические интересы объединяют однородные группы. Солидаризация здесь происходит под влиянием общей выгоды. Но возможна и солидаризация в стане враждующих между собою групп. Появляется осознание: мир предпочтительнее ненависти. Исторический опыт подсказывает, что независимые друг от друга группы внутри общества могут солидаризироваться на основе интересов для совместной борьбы с враждебными группами. Государство не должно препятствовать соперничеству групп, отстаиванию ими своих интересов. Но государство не должно оставаться безучастным. Оно обязано не допускать таких форм борьбы, которые вредны как для самого государства, так и для этих враждующих групп населения. Следовательно, в подобных случаях вмешательство государства просто необходимо. Таким образом, отмечает проф. Гинс, возникает необходимость в специальных государственных органах по регулированию хозяйственной жизни, взаимоотношений предпринимателей и рабочих, кооперативных союзов и союзов потребителей. В этих государственных органах должны

принимать участие как эксперты, так и представители заинтересованных групп. Эта структура экономических и социальных взаимоотношений должна найти отражение и в организации государственного аппарата.

Практический солидаризм

В жизни людей не должно быть догм, поскольку темп обновления современного российского общества резко меняется. Изменения в образе жизни, на которые, казалось бы, требовались десятилетия, происходят буквально на глазах. Получают ощутимое распространение новые социальные процессы, ранее столь четко не проявлявшиеся. И поскольку речь идет об исторически неизбежной нормализации социально-экономического развития нашего общества, в центре нашего внимания должны находиться социальные процессы.

Социальные процессы - как благоприятные, так и не благоприятные для развития России - по своему характеру разнообразны. Эти процессы различаются прежде всего содержанием, зависящим от сферы общественной жизни, в которой они происходят. Например, в сфере производства, распределительных отношений, образования, культуры, науки и так далее. Каждый такой процесс регулируется социальным механизмом, который формируется в обществе и зависит как от общих структурных, так и от конкретно-исторических особенностей: специфики политического строя, уровня экономического развития, особенностей населения. Установлено, что воздействовать на социальные процессы возможно только косвенным путем, влияя на их социальные регуляторы. Вот примеры дисфункциональности некоторых социальных процессов, носящих нежелательный для нашего общества характер: ослабление действенности стимулов научно-технического процесса, ухудшение отношения многих групп работников к труду, неоправданный рост доходов номенклатуры и групп, вовлеченных в коррупцию.

Где же выход? Социологи вычислили, что надежный

путь своевременного разрешения такого рода противоречий в жизни людей - в подключении здоровых политических сил к анализу функционирования и совершенствования социальных механизмов, регулирующих социальные процессы в сфере политических институтов общества, производства, распределительных отношений, культуры, науки, образования, здравоохранения и т. д. Такое подключение в конкретных сферах жизнедеятельности человека способствовало бы нахождению оптимального решения для развития этих процессов в направлении, нужном гражданскому обществу, а не посткоммунистической номенклатуре. Это позволило бы здоровым политическим союзам идти впереди общественного развития, работая на ключевых участках духовного, политического, экономического и социального развития России.

Социологические исследования показали, что изменения в жизни населения зависят от четырех групп элементов:

1. От того или иного набора социальных институтов общества: политика, право, идеология, хозяйственное управление и др.

2. От тех или иных условий жизнедеятельности различных групп населения, как производственных, так и непроизводственных.

3. От тех или иных сторон сознания групп людей - их целей, интересов, потребностей.

4. От тех или иных форм активности, деятельности, поведения групп людей.

Таким образом, если мы хотим влиять на жизнь и поведение людей, мы должны постоянно заниматься следующими проблемами: совершенствовать социальные институты общества; улучшать производственные и бытовые условия людей; влиять на их сознание, на их цели и интересы. В конечном итоге, эта деятельность приведет к тому, что под нашим влиянием изменится поведение людей, а значит, и само общество, и государство. Задача эта гигантская, но выполнимая, если за нее возьмутся все конструктивные силы страны.

Мы уже сказали, что практический солидаризм есть не что иное, как стремление ухода от тоталитаризма к культуре свободы, демократии и солидаризма, к новой российской цивилизации. А если сказать проще, то это и есть те самые четыре группы элементов, которые мы перечислили выше.

Поговорим об этих составляющих чуть подробнее. Начнем с социальных институтов. Главная их функция - выработка социальных норм, регулирующих поведение членов общества. В зависимости от сфер общественной жизни можно назвать следующие институты: а) экономические (собственность, разделение труда, заработной платы и др.); б) политические (государство, армия, суд, партии); в) институты родства, брака и семьи; г) воспитательные институты; д) институты в сфере культуры.

КПСС уже нет, но номенклатура и сегодня продолжает выполнять свою основную функцию - обеспечивать незыблемость основ устоявшейся политической системы и созданных ею уродливых социалистических отношений. Следовательно, задача здоровых сил общества состоит в изменении самой политической системы в нашей стране.

Прежде всего, это касается государства, являющегося лишь подсистемой гражданского общества, но подсистемой особого рода. Обладая даром предвидения, проф. Гинс говорил об особой роли в обществе "солидаризированного государства". Он считал, что министерства промышленности и торговли, сельского хозяйства, труда, транспорта обязаны входить в непосредственную связь с производителями в народном хозяйстве. Другие же министерства: финансов, здравоохранения, внутренних дел и пр. должны иметь хотя и косвенную, но все же существенную связь с производительными силами народного хозяйства. Обеспечение порядка и правовых гарантий, неприкосновенности собственности, независимого суда, нерушимости прав изобретателя, охрана права на фирму и т. д. - все это обязанность государства, и все это необходимо для обеспечения развития хозяйственной инициативы и предприимчивости.

Но государство такого рода должно принять на себя и заботы о социально слабой стороне. Оно должно внести уравнивающее начало, чтобы не было перевеса на стороне экономически сильных структур, к примеру таких, как фирмы, акционерные общества, монопольные предприятия. На данном факторе и должно быть создано социальное законодательство, в частности, защита труда и страхование от безработицы.

Государство также обязано содействовать хозяйству. Поощрение отдельных видов промышленности и сельского хозяйства должно строиться с помощью торговых договоров с другими государствами, субсидий, транспортных тарифов и таможенных пошлин. Более того, государство обязано создать органы по содействию научно-техническому прогрессу. Поощрять современные технологические разработки. Составлять планы общественных работ в целях борьбы с безработицей. Влиять на развитие отдельных отраслей хозяйства с помощью системы кредитования. Одним словом, солидаризированное государство должно превратиться в орган активного содействия хозяйственному благополучию страны. При этом оно не должно покушаться на независимость частных лиц. Оно не должно сохранять пороков прежнего Госплана или Госснаба, но обязано дать направление хозяйственной деятельности как частным лицам, так и фирмам и трудовым коллективам. Не покушаясь на договорную свободу и свободу собственности, власти в солидаризированном государстве лишь ограничивают их в целях сохранения интересов трудящихся, не приписывая себе роли руководителя народного хозяйства, как это было в СССР. Но государство ни в коем случае не должно уходить от контроля над народным хозяйством: это крайне необходимо для согласования частных и общественных интересов.

Мы не случайно подробно остановились на роли политических институтов, к которым относится государство. Стремление к согласованию интересов или солидаризации их и составляют новое, солидаристическое государство. К формированию в России подобного типа государства и зовет философия солидаризма.

Очень важно, чтобы цели социальной политики отражали реальные интересы всего народа. С этой проблемой связан второй элемент ядра социального механизма - условия жизнедеятельности различных социальных групп населения. Среду, в которой живут люди, традиционно подразделяют на две сферы: непродушительную и производственную. Непродушительная - это условия жизни: жилищные, бытовые, транспортные. В нашей стране ученые насчитывают свыше 70 социальных групп населения. Жизнь каждой из них, особенно в наши дни, резко отличается одна от другой. Специфика производственных и бытовых условий определяет как экономическое, так и служебное положение, а в конечном счете - социально-экономическое положение разных групп населения, от номенклатуры до заключенных.

Иными словами, конструктивные силы страны просто обязаны заниматься социальными проблемами наших граждан. С одной стороны, вместе с населением мы должны вести борьбу против тех привилегий, которые создала для себя номенклатура, а также примкнувшая к ней старая и новая хозяйственная бюрократия, основывающая свое благополучие на коррупции, взяточничестве, поборках и хищении общественной собственности. С другой стороны, мы должны бороться за социальную справедливость, создание новых возможностей для населения, так как солидаризм противопоставляет классовой борьбе социальный мир. Это значит: обеспечить трудящимся возможность защищать их интересы, не прибегая к вредным для всего общества способам; улучшать материальные и культурные условия жизни людей, установить новые принципы повышения заработной платы и пенсионного обеспечения в соответствии с ростом цен и увеличения прибылей со стороны предпринимателей; поставить рабочих и предпринимателей в равное положение перед законом как с точки зрения защиты их интересов, так и в смысле подчинения авторитету закона и власти.

Практическая политика солидаризма покоится на конкретной программе улучшения культурных, материальных и жилищных условий жизни людей, на содейст-

вии их образованию, на удовлетворении духовных нужд, улучшении санитарных условий жизни и медицинской помощи. Конструктивные общественные силы как сами, так и при содействии государства, должны максимально стремиться к реальному улучшению жизни людей. А условия жизни людей сейчас находится на грани катастрофы.

Третья проблема, стоящая перед всеми нами - социально-экономическое сознание различных групп населения: их цели, интересы, ориентиры. Социально-экономическое сознание характеризует отношение людей к окружающему миру, включая социальные институты общества, а также к собственному социальному положению. Сознание здесь выполняет регулирующую роль, оно определяет конкретные линии поведения людей.

31 июля 1992 года "Известия" в рубрике "Социологический анализ и прогноз" опубликовали статью В. Когана и Н. Вавилиной "У каждого третьего сибиряка настроение "в основном" плохое". Сибирские социологи провели широкое многоцелевое исследование, смысл которого передан фразами, вынесенными на обложку анкеты: "Как нами управляют? Как нами надо управлять? Что и как надо делать, чтобы мы начали жить нормально?" Сибирякам было предложено выразить свое настроение с помощью набора вариантов: "в основном хорошее", "всякое бывает", "в основном плохое", "совсем плохое". Первый вариант выбрали немногие - 10 процентов. Все остальные находятся в плохом настроении. Мрачные предчувствия охватили почти 90 процентов опрошенных. Хуже всего настроение у промышленных рабочих, представителей высшей школы, здравоохранения, культуры, агропрома. Получше настроение у работников акционерных обществ, кооперативов, частных фирм. Больше всего, пишут авторы статьи, в сегодняшней предкатастрофе людей волнует рост цен, растущая преступность, угроза массовой безработицы, коррумпированность госаппарата, слабая социальная защищенность малообеспеченных.

Подобная реакция естественна, но в чем же люди

видят спасение? Подавляющее большинство, а это 38 процентов, видит выход в отказе от метания и спешки, требует "постепенности и осторожности в осуществлении сегодняшних реформ, разумного сочетания рыночных механизмов и госпланирования". Эти суждения не вызывают опасений: люди согласны с реформами, понимают трудности на этом пути. Тревогу исследователей, да и нас тоже, вызвало иное: слишком велик процент разуверившихся и готовых бежать назад, в "развитой социализм". Почти каждый третий, то есть 28 процентов опрошенных, проголосовали за возврат к административно-командной системе, к полному контролю над ценами и зарплатой, за жесткое планирование, за ликвидацию коммерческих банков и бирж, за ориентацию только на государственные формы собственности. Этот печальный факт свидетельствует о том, что сознание значительных групп населения не подготовлено к условиям рынка и к демократии.

И четвертый, финальный элемент ядра социального механизма - деятельность и поведение различных групп людей. Это и есть главное звено социального механизма. Именно благодаря деятельности и поведению людей, в обществе развиваются его социальные институты, создаются и меняются условия жизни народа. Отсюда вывод: деятельность и поведение людей должны стать наиболее важным объектом внимания со стороны конструктивных политических сил России. Помогая различным группам людей понять, что им выгодно, а что нет, мы могли бы участвовать в процессе формирования гражданского общества.

Пусковым механизмом поведения людей служит появление определенной функциональной потребности как общественной, так и групповой. Эта общественная потребность оказывает влияние на деятельность социальных механизмов. В свою очередь, изменение в деятельности социальных институтов приводит к существенным изменениям в условиях жизни населения. И если нам не безразличны интересы людей и гражданского общества в целом, нам следует вникать в деятельность социальных процессов, протекающих в российском обществе, поняв основную мысль: существует прямая связь между указанными че-

тырьмя социальными механизмами общества и улучшением жизни людей. Отсюда следует важность влияния политических сил на социальные институты общества. И в комплексе социальных институтов, регулирующих общественные интересы и, в конечном итоге, активность населения, имеется основное стабильное ядро. Это - экономические, политические и правовые институты. На этом "стабильном ядре" нам и следует в первую очередь сосредоточить свое внимание.

Что бы мы предложили в этом плане? В экономике следует обеспечить населению частную собственность на землю. Необходимо провести земельную реформу. Она должна безвозмездно превратить трудящихся колхозов и совхозов в собственников своей земли. Лишь крестьянин должен решать: обрабатывать ли ему землю единолично или совместно с другими. На селе надо дать крестьянам возможность не только владеть собственной землей, но и получать банковский кредит, технику и агрономическую помощь. Необходимо создать институт "земельных комитетов", подчинив их центральной власти. Они и должны следить за справедливым ходом реформ.

В городах следует безвозмездно передать жилой фонд в собственность жильцов, предоставив им возможность менять место жительства и продавать и покупать жилье. Приватизация же в целом должна обеспечить всему населению участие во владении имущества, дать каждому возможность стать собственником. При этом не следует забывать, что номенклатура стремится сменить свою политическую власть на экономическую, превратив государственную собственность в свою личную. Подобный номенклатурный капитализм грозит сорвать кардинальные реформы, разделив население на богатых и обездоленных. Чтобы не допустить подобного следует создать специальный общественный комитет, который бы, проведя расследование источника богатств, передавал дела о незаконно приобретенных средствах в суд.

Чтобы создать новую демократическую структуру власти, необходимо как можно скорее принять новую демократическую Конституцию России. Отсутствие четкой по-

литической и правовой основы затрудняет возникновение демократических государственных учреждений, развитие свободного хозяйства и созревание в народе правосознания. В нынешних условиях следует разработать Конституцию с помощью экспертов, назначенных президентом страны. Узловые же вопросы Конституции необходимо вынести на референдум.

В правовом отношении необходимо четкое деление властей на исполнительную, законодательную и судебную. Суд должен быть независим от политической власти, так как споры между гражданами, между гражданами и государством, между законодательной и исполнительной властями должны решаться в судебном порядке.

Г. Гинс назвал солидаризм "руководящей идеей нашего века". Пожалуй, добавим мы, не только двадцатого, но и двадцать первого. Гинс писал, что после советской системы, убивающей самодеятельность и инициативу отдельных лиц, в России создадутся наиболее благоприятные условия для согласования интересов в духе солидаризма, что большевизм не оставит после себя значительных и независимых организаций, как равно и независимых обеспеченных лиц, что возрождение национальной жизни будет возможно только в условиях оживления общественной самодеятельности, а мирная общественная жизнь и хозяйственное восстановление страны не будут возможны без согласования разнообразных интересов, в этом смысле будущее в России принадлежит солидаризму.

В своих прогнозах Георгий Константинович Гинс был удивительно прав. Новая российская цивилизация: преобразование нашей страны применительно к условиям мирового хозяйства, с повышением уровня материальных и духовных условий жизни, этики и социальной культуры населения - может произойти только на путях практического солидаризма.

Возвращение*

Сам жанр серии предполагает некоторое введение и единственно возможным представляется просто сказать краткое предварительное слово, которое вывело бы тех, кто не знаком со всем объемным корпусом творений создателя вот уже двадцати с лишним совершенно различных томов, с замечательных каждый по своему путей рассказа "Один день Ивана Денисовича" и повести "Раковый корпус" на столбовую дорогу всего обширнейшего творчества Солженицына.

Один из известных переводчиков книг Александра Исаевича Солженицына, швейцарский профессор Жорж Нива, приводит в своем исследовании о нем любопытные сведения про то, что 1 января 1971 года в нью-йоркской русскоязычной газете "Новое русское слово" появилась статья историка-эмигранта Николая Ульянова "Загадка Солженицына": "Перечислив все области "действительной жизни", в которых Солженицын обнаруживает удивительную осведомленность, Ульянов заключает: "Произведения Солженицына не написаны одним пером. Они носят на себе следы трудов многих лиц разного писательского вкуса и склада, разных интеллектуальных уровней и разных специальностей..." (При этом Н. Ульянов еще, по несчастной склонности наших земляков везде подозревать что-то неладное, доходит до вздорного вывода о том, что писатель "сфабрикован" литературной мастерской на Лубянке "в целях выкачивания валюты".) И то, что известный ученый в итоге вездливости изучения мог прийти к подобному нелепому заключению два года спустя после получения Солженицыным Нобелевской премии, лучше всего доказывает "от обратного": в случае с Солженицыным мы имеем перед собою явление настолько незаурядное, что его можно назвать **чудом**.

Вряд ли о ком из здравствующих авторов было столько написано. В самом деле, уже в 1973 году в США появилась составленная Дональдом Фаеном международная библиография, содержащая 2465 описаний. Мало того, с весны 1980-го

* Так называется книжная серия, в которой в России отдельным изданием скоро выйдут "Раковый корпус" и "Один день Ивана Денисовича".

по-английски стали выходить ежеквартальники, целиком посвященные изучению работ писателя. Нынче со времени напечатания первой библиографии прошло уже два десятка лет. Можно добавить еще, что не так давно в Москве был издан сделанный Н. Г. Левитской библиографический указатель работ о Солженицыне, обозревающий лишь отечественную печать, начиная с возобновления публикаций в августе 1988 года; и хотя оканчивается он 1990-м, то есть охватывает всего лишь более двух лет, в нем названо около тысячи разного рода книг и статей.

Впрочем, ежели взглянуться попристальнее, далеко не все из них созданы не то что с любовью, но хотя бы лишь с доброй совестью. Однако в этой смене отношения некоторой части авторов к "великому писателю Земли Русской" прослеживается своего рода закономерность, позволяющая опять-таки методом "от обратного" лучше понять самого Солженицына.

Так, образно говоря, спервоначала на родине присяжные литературные и прочие оценщики при появлении в свет "Одного дня Ивана Денисовича" охнули, но затем быстро опомнились и в довольно короткий срок добились права кусать, затем лаять, хаять и, наконец, попытались его замолчать. После почти двадцатилетнего перерыва те из них, кто сохранился на плаву, с подозрительно жарким рвением, словно позабыв свое прошлое, кинулись теперь уже облизывать. Но ведь всё это, собственно говоря, – единство разбора действия, пусть и с обратным до поры знаком.

Покуда идейные умы в Отечестве, кто поневоле, а кто и с радостью, молчали, в русскоязычном Зарубежье появилось десятка два книжек на ту же тему, не говоря уже о статьях. Среди них можно выделить внушительную волну "попирателей былого кумира" – сочинения Ильи Зильберберга "Необходимый разговор с Солженицыным", Жореса Медведева "Десять лет после "Одного дня Ивана Денисовича" (он уже и нынче, еще двадцать лет спустя, всё никак не может успокоиться – хотя эти записки представляют собою лишь исполненную самолюбования бледную тень знаменитых "очерков литературной жизни" самого Александра Исаевича "Бодался теленок с дубом"), воспоминания Льва Копелева и Владимира Лакшина, памфлет Эмиля Когана "Соляной столб" с подзаголовком "Политическая психология Солженицына", похабную пародию В. Войновича "Москва 2042", критики домогренного литературоведа А. Э. Краснова-Левитина и многое прочее.

Спор, затеянный последним с писателем (Солженицын предпочел не отвечать), рассудила на наших глазах история.

Александр Эммануилович, именовавший себя "христианским социалистом", писал в заключение своего очерка в 1983 году, что России настоятельно необходима "**революция**". Нужен новый Февраль, которого так боится и так не хочет Александр Исаевич. А только таким путем может восторжествовать на Руси право... Он против революции, против немедленного перехода к демократии. Он против Февраля. А я за Февраль! Стремлюсь всем сердцем к тому чудесному полувесеннему Февралю, который идет, приближается. И до которого мне не суждено дожить". Что касается до основной части сего суждения, его "правду наоборот" мы имеем счастье наблюдать вокруг себя уже не первый день. Но вот в последнем бывший обновленческий диакон оказался прав, ибо, будучи уже эмигрантом, он не дожил до августовского "недоворота" чуть более года...

Корни дара и мировоззрения Солженицына большинство из этих авторов ищут не на большой глубине: в лучшем случае среди российской и европейской словесности прошлого-позапрошлого столетий. Это, конечно, простительно иностранным критикам, но уже не весьма почетно для пишущих на нашем языке. Поэтому среди них заметно выделяется работа Т. А. Лопухиной-Родзянко "Духовные основы творчества Солженицына", вышедшая еще в 1974 году в издательстве "Посев". Она идет гораздо дальше в отечественное былое и открывает следующее: "Во многих произведениях у Солженицына встречаются по-новому освещенные духовные ценности средневековья. Его привлекают целостность понимания людей тех времен, их устремленность к духовному и пренебрежение земным". Недаром три главы ее работы, первоначально в качестве диссертации принесшей ей степень доктора Нью-Йоркского университета, называются так: "Праведники", "Совість", "Зачем переносить испытания?"

Это углубление в сердцевину русской истории приводит к несомненностью к истоку, средоточию истории мировой. Исследовательница делает на первый взгляд неожиданный, но весьма точный вывод о том, что два оппонента героя "Ракетного корпуса" Костоглотова – сталинский бюрократ Русанов и простонародный негодяй Поддуб – напоминают собою двух разбойников, распятых вместе со Христом, "из которых один опомнился перед смертью, а другой нет. Перед смертью Поддубу открылась истина, что душа есть нечто отделимое от смертного тела, есть нечто имеющее свою отдельную непрерывную жизнь".

Один из немногих западных критиков, названный выше Жорж Нива, кто уделил вслед за этой исследовательницей

особое внимание роли средневекового сказания о Китоврасе в "Раковом корпусе", приводит в качестве образца солженицынского владения стилем описание болезни "благоразумного разбойника" Поддубова. И здесь нам хотелось бы обратить внимание на то, что казнь, постигшая его, вполне соответствует именно меркам высокого средневековья: "А заболел у Ефрема – язык, поворотливый, ладный, незаметный, в глаза никогда не видный и такой полезный в жизни язык. За полста лет много он этим языком поупражнялся. Этим языком он себе выговаривал плату там, где не заработал. Клялся в том, чего не делал. Распинался, чему не верил. И кричал на начальство. И обкладывал рабочих. И укрючливо матюгался, подцепляя, что там святых да дороже, и наслаждался коленами многими, как соловей... И многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей нет, что вернется через неделю и будет дом строить. "Ах, чтоб твой язык отсох!" – проклинала одна такая временная теща".

...Вот в таком тысячелетнем масштабе и возникает излюбленная нашими предками, некогда создавшими великую державу, вера в чудесное – а сами чудеса, как известно, даются по силе самой этой веры. Оба произведения, включенные в данный сборник, сполна это подтверждают.

Уже К. Чуковский назвал "Один день..." "литературным чудом". Чудом можно считать и написание его всего за три недели, и неожиданное прочтение Твардовским через головы литсотрудников, да и само невероятно по нашим меркам скорое издание по повелению "верховного мужика" Хрущева поверх глаз и рук окружающего нового класса. Впрочем, два последних чуда – уже не литературные, а житейские.

Мало общего с естественным ходом событий имеет и излечение самого писателя, только что отбывшего свой срок, от скоротечного рака в ташкентской больнице. В "Теленке" он впрямую говорит об этом: "Однако, я не умер (при моей безнадежно-запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращенная мне жизнь с тех пор – не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель)". Тут уже уровень чудотворства подымается до небесных высот.

Однако, никаких высших сил без желания человека действовать им для спасения не достанет. Об этом именно рассуждает в последних главах десятитомной эпопеи "Красное колесо" один из заветных героев ее – Варсонофьев по прозвищу Звездочет, когда к нему приходят за советом Саня Лаженицын с подругой, чьими прообразами послужили отец и мать писателя:

– Но может случиться и чудо? – едва не умоляя спросила Ксенья.

– Чудо? – сочувственно к ней. – Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу. Или скудно верит”.

Наглядным доказательством понимания самим Солженицыным необходимости встречного усилия является вся борьба за напечатание “Корпуса”, кратко изложенная в примечаниях к нему, а с яростной силою в том же “Теленке”, где она впрямую именуется “Бородинским сражением”. Да и в самом писательстве стратегия автора заранее точно определена. Он рассказывал о ней в выступлении на обсуждении повести в секции прозы Союза писателей в 1966 году так: “Литература никогда не может охватить всего в жизни. Я приведу математический образ и поясню его: всякое произведение может стать пучком плоскостей. Этот пучок плоскостей проходит через одну точку. Эту точку выбираешь по пристрастию, по биографии, по лучшему знанию и т. д. Мне подсказала эту точку – раковую палату – моя болезнь... описывать территорию республики за пределами ракового корпуса я не чувствую необходимости. Всё отразить нельзя, а та часть целого, которая необходима, – она может быть изображена и через эту точку”.

Так что чудо требует с непеременимостью чьего-то совместного движения. Для творчества Солженицына можно, пожалуй, назвать три сопрягающихся именами силы, согласно влекущих его к верховному Свету.

Первым из этих чудо-коней, несущих вперед птицу-тройку, служит жажда **выздоровления**. Выздоровливает не только Костоглотов в конце “Ракового корпуса”. Рецепт выздоровления предлагается и всей стране – ведь нельзя не видеть, что произведение это высоко символическое. А в беседе с корреспондентом Би-Би-Си в 1979 году по случаю пятилетия изгнания Александр Исаевич называет слово напрямик, причем ставит его в самом завершении текста. Отвечая на последний вопрос: “И какой же Вы видите будущую Россию, он кратко определяет: “Я вижу ее – в вы-здо-ров-ле-нии. Отказаться от всех захватных международных бредней – и начать мирное, долгое, долгое, долгое – выздоровление”.

Второе коренное понятие – **воскресение**. Тот же “Раковый корпус”, пусть это и не лежит на поверхности, оканчивается в ночь под воскресенье, когда исцеленный чудесным образом Костоглотов покидает насовсем больницу. И в этот же день выхода в царство здоровых, по словам самого автора, была задумана сама повесть. Тем не менее большую часть времени

своего писательства он посвящает разработке в художественном, историческом и публицистическом планах темы не столько воскресения, сколько предупреждения тех опасностей, которые встречаются за порогом ложно обретенной свободы. И хотя судьба даровала нам вместе с ним видеть начало нового дня – вождельный после стольких лет крах коммунизма, – вскоре русским людям сделалось ясно, что он и тут оказался далеко впереди, ибо путь до подлинного воскресения будет тяжек и извилист. Поэтому не будем покуда гнать без усталости идею-коренника, а обратимся к третьей заветной мысли.

Ее точнее всего можно назвать словом **возвращение**. Возвращением домой живет герой "Корпуса"; вернется, судя по крепости духа, на родной порог и Иван Денисович Шухов. Сложнее дело обстоит, как ни странно, с самим их создателем.

Условием своего возвращения в Отечество он ставил, в первых, прибытие наперед к широкому читателю своих книг. Это произошло буквально на наших глазах, и миллионные тиражи их из месяца в месяц стоят на первых местах по количеству среди русских писателей. Затем он требовал восстановления гражданства и честного имени, то есть полного снятия подлого обвинения в "измене родине". И это было достигнуто в недавнее время.

Однако теперь уже не государство, а взбаламученное общество сгоряча отказалось возвращаться к вере в точность оценок Александра Исаевича. Отмахнулись, почти не глядя, от размышлений про обустройство России – и вскоре же развалился Союз. Помраченный племенной гордыней разум не захотел внять обращению к украинскому референдуму об отделении – и вот уже распадается на глазах скороспелое "Содружество".

Но всё же возможность чуда еще не совсем утрачена – при названном выше условии. А потому, памятуя название данной серии, ответим на вопрос тех многих людей, которые жаждут возвращения самого Солженицына, – дословно приведя его заявление, сделанное в Кавендише, штат Вермонт, где он проживает покамест, 17 сентября 1991 года:

"Решением генерального прокурора СССР теперь снято юридическое препятствие к моему возвращению на родину. Значит, это становится реальностью, я снова вернусь на родную землю. Но прежде я должен окончить на месте мои ранее начатые произведения. По возвращении в Россию сразу обступят другие заботы, которые я и буду делить со всеми".

Петр Паламарчук

Письмо в 1922 год писателю Борису Зайцеву

Москва. Россия

...Ах, Борис Константинович, Борис Константинович, будь Вы сегодня живы, непременно вспомнили бы тот страшный двадцать второй, с наступлением которого начинает раскручиваться спираль судьбы Вашей.

В ту весну Вы смертельно болели сыпным тифом. Но проравшись сквозь кризис как через сто кругов Ада, - выжили. "Для поправки здоровья", а вернее, от голода и холода уезжаете за границу. Визу Вам поспешно, без излишней волокиты помогает получить Луначарский. Он был среди других "сочувствующих"...

А как все было на самом деле? На страницах "Далекого" Вы, честнейший человек, пишете о том, что все правление московского Союза писателей "выслали за границу вместе с группой профессоров и писателей Петрограда. Высылка эта была делом рук Троцкого. За нее высланные должны быть ему благодарны: это дало им возможность дожить свои жизни в условиях свободы и культуры".

Тогда была хмурая осень и ветер революции все еще гнал по России тиф, голод и холод. Сколько с той поры прошумело над родиной нашей осенних ветров? Сто? Двести? - Всего-то семьдесят. Так что разлука наша длилась сравнительно недолго: здравствуйте, русский писатель Борис Зайцев! Как говорится, с возвращением.

Но тихая радость и тихая грусть при встрече с Вами поднимается из глубины душевной с невесть откуда появившейся болью. Попробуем разобраться вместе, согласны?

Не успели Вы, "последний из могикан" русского зарубежья первой волны эмиграции, подойти к порогу родного дома, как выяснилось - дверь-то приоткрыта лишь наполовину. Признаюсь Вам - живем мы у же не ложью, но еще не правдой. И мучительно осознаем: глоток свободы - это не свобода, как и полуправда - не истина, по которой так истосковалась душа. А уж так называемое "выборочное творчество" из наследия писателя - и вовсе не творчество! Хотя для нашего читателя, жаждущего наполнить для себя светом добра и откровения еще один темный провал в духовном наследии России - наследии, казалось бы, принадлежавшем ему по праву, внешне в последние годы все обстоит более-менее благополучно. Под лозунговый призыв: "будьте смелыми!" столичные издательства, как говорится, наперегонки, стараясь обогнать друг друга, ринулись было печатать написанное

Вами. Но, разумеется, не без выгоды для себя, заламывая на книги коммерческие цены. Прочтут ли их, наконец, действительно те, кто больше всего в этом нуждается? Такое Вам не обещаем...

"Заламывая" – что? – но и оговаривая – "все напечатать невозможно", ведь создали Вы за долгую творческую жизнь немало – почти семьсот повестей, рассказов, мемуаров, эссе и даже пьес. И то правда. И не все в наследие вошло, что уж тут мечтать о полном издании на родине?

И согласилась бы я со всем, о чем говорю сейчас с Вами, даже с коммерческими ценами на то, что было отнято у нас когда-то, – то ли еще грядет в нашей нишей и разоренной властью коммунистов стране! Но вот счастливый случай – привезли мне из Англии друзья Вашу книжку "Мои современники", изданную там три года назад. Небольшая такая, размером с блокнот. На обложке – циферблат, видимо, символизирующий быстротечность земного Времени... Составлена она дочерью Вашей – Наташей, Натальей Борисовной Зайцевой-Соллогуб. В нее вошли очерки из ранее изданных за рубежом книг "Москва" и "Далекое", а также журнальные статьи, опубликованные в свое время в газетах "Возрождение" и "Русская мысль". Все они так или иначе относятся к Вашим воспоминаниям о современниках, писателях и поэтах "серебряного века". И нет для нас им цены...

Но вот какая обида – в лондонском издании по пальцам можно пересчитать, одной руки хватит, с чем познакомило нашего читателя, например, издательство "Художественная литература" в "Улице Святого Николая", а что оставило "про запас". И знаете почему?

Да потому, Борис Константинович, что *антикоммунизм* Ваш был и остается уже навсегда "непререкаем и принципиален". Цензура наша или лито (как тот мед в сказке о Винни Пухе – он есть и одновременно его нет!), поминки по которой мы поспешили справить, сделав очередной "широкий жест" по отношению к "гласности", все же не могла отказать себе в удовольствии за закрытыми дверями, наморщив от натуженности лоб, провести жирную черту между "можно" и "нельзя".

Но официальная цензура являлась (и является?) – увы! – не единственной инстанцией, что осуществляет функцию надзора у нас в стране над печатным словом. К великой трагедии целого народа существует вид "самоцензуры" – монополия власти над человеческим сознанием. Такую не закроешь, не ликвидируешь в одночасье. Ей и "руководствовались" составители первых Ваших сборников на родине. Вот почему дверь для возвращения остается для Вас полуоткрытой...

И больно, и стыдно писать об этом, сознавая цельность натуры Вашей – ведь не простили бы.

...Помните, после окончания Второй мировой войны, Вы писали о человеке, дружба с которым продолжалась до этого десятилетия – дружили с Иваном Буниным Вы, дружили Ваши жены.

"В эмиграции начался разброд. Большие надежды на восток, церковные колебания, колебания в литературном, даже в военном слое. Все это привело к расколу... Странным образом, мы оказались с Иваном в разных лагерях – хотя он был гораздо бешенее меня в этом, да таким, в сущности, и остался. Теперь он сделал некоторые неосторожные шаги. Это вызвало резкие статьи в издании, к которому близко стоял я.

Прямых объяснений не произошло, но он понял, что я *против*. Тут уже ничего нельзя было поделать. Темпераменты разные, но я не уступал ни пяди. Он более и более раздражался. Озлобленность его росла. Мы перестали встречаться".

И хотя через некоторое время наступило и некоторое примирение, но еще 10 января 1952 года Вы пишете архиепископу Иоанну (Шаховскому): "...А с Буниным, к сожалению, все оборвалось. Владыко, помолитесь о них. Они оба старые, больные, на все и всех раздражены. Мы не встречаемся. Жизнь их ужасна".

Ваше тихое, не желчное, но принципиальное осуждение. И не человека – нет! – а лишь "неосторожных шагов" его – сравнительно случайного сотрудничества Бунина в печатном органе большевиков в Париже.

Помните, Бунин тогда оправдывался и ругал осуждавших его. Надо, мол, было знать их, Буниных, нищету в то время... Но вот запись Веры Николаевны 11 августа 1946 года о посещении их, Буниных, "советским генералом от литературы Константином Симоновым", который "похвалялся" своим положением в советском обществе и литературе, своими секретаршами, машинистками, своим благосостоянием":

"Симоновское благополучие меня пугает... Когда он рассказывал, что он имеет, какие возможности, то я думала о наших писателях (эмигрантах. – Т. Ж.) и старших, и младших. У Зайцева нет машины".

Так что бедность перешагнула порог и Вашего дома, Борис Константинович, но не заставила хотя бы на миг задуматься о "большевистской Каноссе". Не крикливая, но стойкая непримиримость. Достоин и спокойно приняли Вы судьбу писателя-эмигранта с ее "неизбежной ущербностью и даже с известной безотзывностью", как пишет в предисловии к лондонскому изданию Борис Филиппов.

Но, Боже мой! – судьбу к а к о г о русского писателя! Читаю строки Ваши и повторяю их, как молитву: "...кому назначено судьбой делать что-то свое, да, делает, кто как умел, в меру данному ему, делал, а теперь большинство успокоились навеки. А оставшиеся могут лишь вздохнуть, но также ждать часа своего, не выпуская из рук своих вожжей, коими править тебе дано в краткой жизни до последнего издыхания..."

Кровавая история Советского Союза с ее ликвидацией целых социальных слоев. Что осталось от русской интеллигенции, вынужденной выбирать между эмиграцией и истреблением? Теперь уже действительно успокоились на веки те, кого Вы считали своими современниками – Чехов, Блок, Андрей Белый, Бальмонт, Вячеслав Иванов, Бердяев, Леонид Андреев, Анна Ахматова, Алданов, Осоргин, Ремизов, Марина Цветаева, Александр Бенуа и многие другие. Но в "портретах" Ваших, что поселились уже навсегда на моем письменном столе, чувствуется не только их дыхание, такое разное, но от этого не менее прекрасное, а, кажется, и д ы х а н и е самой Ф р а н ц и и, где в семьдесят втором оборвался и Ваш последний вздох...

Спрашиваю себя, а что было в жизни каждого из нас, в духовной жизни России в это время? Годы застоя, как принято говорить, отрезвления, страха, затворничества, новой волны эмиграции? У каждого – свое, но под знаком веры в исключительную общемировую цель – социализм, прошли десятилетия величайшего насилия, не замеченные западными либералами – одними по наивности, другими – по равнодушию, третьими – по цинизму. То же самое можно сказать почти о каждом из нас. Но важнее и большее другое – оставалась н е у з н а н н о й наша к у л ь т у р а.

Среди творчества других русских писателей и Ваше было "запрещено", как будто вообще есть такое право на земле – решать человеку за другого, ч т о ему думать, чувствовать, читать, делать и т. д. Вы не успели узнать на родине при своей жизни, что такое "чуждая идеология"? Так вот Вы и были прошедшие десятилетия на родной земле, которой поклонялись, этой самой "чуждой идеологией" и простите нас... Как будто в ней, так страшно выдуманной человеком у власти и для власти над другим, панацея от всех бед и счастье живущих в мире этом, а не в той жизни, такой соборной и праведной по-христиански, какой Вы жили последние годы на тихой, спокойной парижской улочке. Она, кажется, даже загоразживалась решетчатым чугунным забором от остального Парижа и чем-то неуловимым напоминала старозаветные

старомосковские улочки и переулки – все эти Спасопесковские, Малотолстовские, где еще до конца двадцатых годов сохранялись и некоторые особнячки с обширными садами...

В них и царила та тишина, которая разлита во всем, что написано Вами. Такая легкая, прозрачная тишина, как на пейзажах Монэ. И такая близкая сердцу.

Тишину шагами меря,
Ты, как в будущность, войдешь.

А "будущность", в которую Вы вошли, пусть пока и робко, не тихая и не спокойная вовсе. Время почти такое же, если не ужаснее, о котором Вы пишете в эссе "Андрей Белый":

"...Снег в саду синел, скоро спустится зимняя московская ночь. Граждане выйдут воровать заборы. Иногда слышны будут выстрелы. Глаза Белого сияют, он откидывается назад, взор соколиный, в горле радостное клокотание "м-м-м..." На слушателя это хорошо действует.

– Видите? Нижняя точка спирали? Это мы с вами сейчас. Это нынешний момент революции. Ниже не спустится. Спираль идет кверху и вширь, нас выносит уже из ада на простор.

Спираль долго еще выносила Россию на простор – море детских и юношеских гробов, море концлагерей, сотни тысяч погибших, раскулаченных... но мы с Белым в тот вечер искренне думали, что всё уже кончается Голгофа, наверное, потому, что х о т е л и этого. Спираль же украшала желание".

"Завет свободы, человечности и творчества" оставили Вы нам в наследство. Но кончается ли наша с Вами общая Голгофа?

Прорвемся ли?

Зима 1991–1992 гг.

Татьяна Жилкина

Путь к прозрению*

В книге Доры Штурман "моя школа" под одной обложкой собраны автобиографические очерки, которые ранее (в 1978–1980 гг.) были опубликованы в русскоязычном журнале "Время и мы". Новое их издание, переработанное и дополнен-

* Дора Штурман. Моя школа. Изд. Overseas Publication Interchange, Ltd., London. 1990.

ное, вышло с посвящением матери автора – Эстер-Рейзл Штурман, в замужестве Шток, и эпитафией из Бориса Пастернака:

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их школе...

В предисловии к этому изданию Дора Штурман объясняет, что "эти воспоминания (фрагменты, а не исчерпывающее повествование) представляют собой очередную из бесчисленных повестей об ученичестве человека у событий, у книг, у встреченных на пути людей".

Ныне автор живет в Иерусалиме, куда она эмигрировала из СССР в 1977 году, пройдя через те круги ада, на которые, увы, были обречены многие честные и мыслящие люди, имевшие несчастье родиться в стране "великого эксперимента", начатого большевиками в 1917 году и длившегося более семидесяти лет. И неисчислимы жертвы и мученические стоны людей, на крови и костях которых было замешано чудовищное "тесто" этого бредового эксперимента. Одной из его многочисленных жертв стала и Дора Штурман. Покидая в то время СССР, она уже не испытывала никаких иллюзий относительно возможной трансформации "тоталитарного монстра" и превращения его в "нормальное, здоровое, достойное государство или федерацию..." На своем горьком жизненном опыте она убедилась, что "в рамках социалистической однопартийной системы такое превращение невозможно". А ведь такие иллюзии в молодости у нее, как и у многих ее сверстников, конечно, были. И путь ее к прозрению шел через утрату этих иллюзий.

За пытливость мысли, попытки уразуметь, понять и оценить происходящие в стране события и процессы, люди платили жизнью, лишением свободы, пребыванием в психушках... Прошла через свою "голгофу" и Дора Штурман: арест, тюрьма, допросы, пять лет лагерей (по печально знаменитой 58-й статье), ссылка в украинскую деревню и т. д. То есть, она прошла через те жернова людоедской системы, которые обычно или ломают людей физически, разрушают их психику (ее отец, врач по профессии, в сорок два года вынужден был покончить с собой, чтобы не стать сексотом, чтобы остаться честным человеком), либо приводят к убежденному неприятию человеконенавистнического, полуидиотского-полускотского режима лагерной содействительности.

"Мы впитывали советскую коммунистическую фразеологию в детском саду, – пишет Дора Штурман. – Мы марксизма не знали, мы в него верили, – признается она, повествуя о студенческом периоде своей жизни в Алма-Ате. – Мы ощущали ложь, пронизывающую всю советскую жизнь, но отно-

сили ее на счет банальности, истертости, неуместности слов, а не на счет сути самих идей. Ложь воспринималась как порок стиля и языка, на худой конец – как симптом неискренности лиц, произносящих ее, а не как свойство самих понятий...”

Юности свойственна жажда всё объять, понять и объяснить хотя бы самому себе, а потом уже и другим – иначе, как жить, если не отдаешь себе отчет в происходящем, если не понимаешь сути явлений и процессов? Если, наконец, теряешь веру в гуманный смысл происходящего и грядущего? Дору и ее друзей (впоследствии однодельцев) не мог не мучить вопрос: “Почему всё не так, как надо?” “И возникал в нас этот рефрен не горестно-безнадежным утверждением, как в песне Высоцкого, – он возникал в виде задачи, которую мы должны были и, по глубокому своему убеждению, в состоянии были решить”.

И автор убедительно, без пережима, без эмоционального перехлеста, без злобы и затаенной обиды, поведала читателям о том, к чему может привести решение подобной задачи. Она рассказывает о том, к чему приводило в то время искреннее стремление юных граждан страны Советов понять и осмыслить пропитанную лживой фразеологией сущность большевистского социализма и природу тоталитарного государства.

Такой огонь с детсада в нас горел,
в такие нас запеленали латы,
что подвести под эти постулаты
могли бы мы и собственный расстрел.

Но сердце бунтовало против книг
и клало постулаты на лопатки.
Нас мучили греховные догадки,
и Красный Рим под их напором ник.

И чувствуя, что вера отомрет,
как только сердце доводы добудет,
смотрели мы вперед, вперед, вперед –
в грядущее, которого не будет...

Этими поэтическими строчками юной Доры Шток, которые, на мой взгляд, достаточно ёмко отражают путь прозрения молодежи сороковых годов, мне и хотелось бы завершить этот краткий отзыв на ее мудрую и добрую книгу, которая, конечно же, заслуживает более детального и вдумчивого анализа, более серьезного исследования. В этих очерках, как в горьких капельках слез, отражены не только перепетии личной жизни автора, попавшей в мясорубку сталинских лагерей, но и трагические судьбы окружавших ее близких родственников и друзей. Более того, автору удалось, на мой

взгляд, умелыми штрихами создать портрет целого поколения, обреченного верить "в грядущее, которого не будет..."

Теперь, после развала СССР, после того, как "империя зла" рухнула, ситуация в мире и в бывшем Союзе, конечно же, иная. С неожиданной, невиданной силой вспыхнула на руинах тоталитарного государства национальная междоусобица, которая с каждым днем разгорается и приносит новые беды и страдания народам провозглашенного Содружества. Но это уже другой разговор. И неутомимая Дора Штурман, которой, конечно же, не безразличны происходящие в СНГ события, ведет сегодня этот разговор уже в качестве политического обозревателя – как на страницах парижской газеты "Русская мысль", так и в другой "тамиздатовской" прессе. И к ее голосу, право же, стоит прислушаться.

г. Ногинск, Московская обл.

Виталий Попов

Нить Майи*

Память услужлива, если она в здравии и порядке.

Память выискивает единственную встречу с этой необыкновенной женщиной.

Летом 1982 года в дождь и парной вечер Лариса Богданова затащила меня в гости на последний этаж известного писательского дома в Лаврушинском.

В доме начиналась вечеринка, затем перешедшая в ночные посиделки, где встретилась масса литературного народа – Евгений Рейн, Наташа Пастернак, еще какие-то приличные люди, Владимир Соколов зашел и исчез, художники с тортами и шампанским, женщины с растерянными глазами...

Но над всем возвышалась хозяйка, которую звали воздушно и загадочно – Майя.

Женщина без возраста, в том прекрасном состоянии, между 30 и 50, когда и не хочется загадывать: сколько же ей лет, а хочется просто смотреть, как она ходит, улыбается, говорит, пьет водку или чай, читает стихи.

Вот-вот!

Десять лет назад меня поразило ее умение свободно обращаться со стихотворными размерами: она вроде бы произвольно ломала размер строки, изменяя темпоритм, переходя

* Майя Луговская "Нить". Стихотворения. М., "Сов. писатель", 1991.

дила в одной строфе с ямба на анапест, простые рифмы соседствовали с составными и ассонансами.

У многих женщин-поэтов неумелое владение формой превращается в своеобразную форму выражения интимных мыслей. У Майи Луговской наоборот – владение формой выдает не только одну-две мысли (что обычно рождает любое стихотворение), а целый поток ассоциаций.

На одном из портретов, висящих в гостиной, Майя была изображена в некой дымке – то ли розовой, то ли оранжевой. Не помню автора портрета – кажется, Олег Целков. И сквозь дымку, сквозь иллюзию реального проступал четкий контур лица.

Майя – значит "иллюзия".

Иллюзия чего?

Перепелечка, перепела!
Я песни перепела,
Отмеренное допила,
Всё простирала до бела,
Всё набело перестрадать успела.

И сквозь иллюзию земного Бытия, сквозь страдания, при-
сущие любой женщине, которые поэт собирает в себе и вы-
плескивает комком боли, нитью проходит надежда на доброе
и лучшее.

Но почему же так страшно ей, так боязно, всё время хо-
чется куда-то спрятаться, убежать, исчезнуть?

Всё пронизано пылью распада.
Как нетленную жизнь удержать?
Я бежала из майского сада,
Как из ада, из сада бежать!

И это бегство из того сада, который просила Цветаева "за
этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет".

Значит, не всё хорошо в саду души, раз из сада бежит поэт,
как из ада.

Личный мир М. Луговской замкнут, как закрытая книга.
Переплет ее внешне тяжел, так что, смотря на него, боязно
книгу открывать. Трудно открыть страницы. А открыв, по-
нять за рядами букв и строк, что же поэт прячет в себе.

Ей хочется забыть прошлое. Не помнить его. Нельзя вспо-
минать – больно.

Ни себя, ни тебя не виню.
Принимаю все в жизни скитанья.
И любовь в своем сердце храню,
Не надеясь уже на свиданье.

Муза Майи – любовь, разлука, воспоминание.

Когда поэт ей изменяет – под влиянием момента обращается к гражданским темам, пытается говорить не своим голосом, чуждым ей – то сразу же терпит поражение.

Десяток неудачных стихотворений ("Лорелея") – не так уж много на книгу, но тем показательнее, что когда поэт изменяет себе, "становится на горло собственной песне", то фальшь проступает мгновенно – как пятно на скатерти.

Большинство стихотворений носит литературный оттенок. Что я имею в виду? Отталкиваясь от тем литературы и искусства ("Читая Библию", "Гойя – офорты"), М. Луговская перемалывает свое внутреннее "Я" на жерновах известного сюжета или темы, таким образом, что "Я" автора сливается с первоосновой и рождается новое литературное произведение – в основе которого уже не литературный сюжет, а новое литературное произведение.

Не отсюда ли афористичность Майи Луговской? –

Птиц и женщин кольцуют,
Поспешно наденут кольцо.
Женщин при этом целуют,
Птицам не смотрят в лицо.

Ведь афоризм – суть литературно-завершенной фразы, то есть самого факта нового произведения. И, когда поэт становится афористичным, не в этом ли его победа не только над формой и содержанием, но победа поэзии над реальностью.

Ведь сегодня, как никогда раньше, хочется именно Поэзии, а не идеологизированных схем или зарифмованных прописей. Хочется нормальных чувств, спокойствия (хотя бы в литературе!) и теплоты, которых не хватает в безумном мире митингов, красно-коричневых демонстраций и ублюдочной экономики, которую зачем-то называют "рыночной".

Хочется стихов.

Потому Майя ткет свою нить и ткет паутину словес, и паутина накрывает меня, тебя, нас, и мы – хоть не надолго! – забываем, что на дворе конец века и что на улицу страшно выходить.

Владимир Батшев

СОДЕРЖАНИЕ С № 163 ПО № 166 ЗА 1992 ГОД

ПРОЗА

БАРАНСКАЯ Наталья

Автобус с черной полосой. *Повесть*, 166

Птица. *Рассказ*, 166

БОГОСЛОВСКИЙ Андрей

Перекасти-поле. *Глава из романа*, 164

ГАЛКИН Владимир

Вот моя деревня. *Повесть*, 163

НОВОДВОРСКАЯ Ирина

Кариатида. *Рассказы*, 166

ОБРАЗЦОВ Сергей

Горькие ягоды. *Рассказы*, 165

ПАВЛОВСКАЯ Евгения

Поганый садик. *Два рассказа*, 164

ПРИХОДЬКО Олег

Вольный Петр. *Повесть*, 165

СМИРНОВ Алексей

Перо. *Рассказ*, 164

СОЛОВЬЕВА Мария

Черная радуга. *Рассказ*, 164

СОЛОУХИН Владимир

Камешки на ладони. *Главы из книги*, 163

ПОЭЗИЯ

БЕСЕДИН Виталий

Стихи, 164

БОГОЛЮБСКИЙ Константин

Праздник одиночества. *8 стихотворений*, 163

ЗАРАЙСКИЙ Михаил

Последнее алло на свете, 165

ЕРЕМЕНКО Владимир

Круг жизни розовый и черный, 166

КОЛКЕР Юрий

"Возлюбленную к жизни не вернешь...", 166

КУЗНЕЦОВ Леонид

В тихий час осеннего заката..., 164

ПУХАНОВ Виталий

"Я родился от двух некрасивых людей...".

8 стихотворений, 163

СОЛОВЬЕВА Мария

Стихи, 164

ТУРБИНА Любовь

Кто обживал свои теплом..., 164

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БЕЛОБРОВЦЕВА Ирина

Бунтарь и цензор, 165

ЕФИМОВ Игорь

Выбранные места из переписки с персонажами

"Театрального подъезда", 163

КОЛОДЯЖНАЯ Людмила

Первый псалом Давида в переложениях
русских поэтов, 163

КОРОТКИХ Евгений

Акакий Акакиевич и Ц. Цинциннат в кругу
друзей, в кругу кошмаров, 165

ЛИННИК Юрий

Его судьба - песочные часы. *Поэзия*

Игоря Чиннова, 164

РУССКИЙ Геннадий

Откровение автора "Вельского", 166

СТЕПАНЯН Карен

О художественности русской литературы, 163

ТЕМКИНА Марина

Поэзии транзитный пассажир, 166

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ПИСЬМА

Гражданская война и семья Клокачевых

(публ. и предисл. А. Окулова), 166

Адм. А. В. КОЛЧАК

Автобиография.

(Публ. и прим. проф. В. Шишкина), 165

ПАЛАМАРЧУК Петр

Крестный путь русской армии

ген. Врангеля, 165

САПОВ Вадим

За строкой приговора. Документальная
повесть, 164

Р. ХИН-ГОЛЬДОВСКАЯ

Очарование старины. Дневники.

(публ. и предисл. М. Ситковецкой), 163

ИСТОРИЯ

Н. Е. Андреев

Переяславский договор, 165

ПУБЛИЦИСТИКА

ГАБЕ Борис

Письмо многоуважаемым коллегам, 164

ПЕТРО Николай

Александр Руцкой: правый либерал?, 166

РАДЗИХОВСКИЙ Леонид

Две оппозиции, 166

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

ЛАРИОНОВ Сергей

Разбудите спящих, 164

МУРАВЬЕВА Ирина

Колдун из Загорска, 163

ПАВЛОВСКАЯ Евгения

Дом, 163

ОЧЕРКИ

СМИРНОВ Алексей

Чертольская пядь, 165

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

АРДОВ Михаил, свящ.

Мелочи архи... прото... и просто
иерейской жизни. *Главы из книги*, 166

ОРЛОВ Андрей

Люди игры, 163

Прот. В. ПОТАПОВ

"...молчанием предается Бог". *Начало*, 166

СЕНДЕРОВ Валерий

"Суд начинается с дома Божия", 164

СОФРОНОВ В. Ю.

Когда наследство не в радость, 164

РЕДЛИХ Роман

По поводу нового издания булгаковской

"Философии хозяйства", 163

ЭКОНОМИКА

ЕГОРОВ Юрий

Будущее принадлежит им, 165

ПУТЬ К БУДУЩЕЙ РОССИИ

НЕЗНАНСКИЙ Фридрих

Мы узнали врага - и это мы сами, 166

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

БАТШЕВ Владимир

Нить Майи (*Майя Луговская. Нить. Стихотворения. М., 1992*), 166

ЖИЛКИНА Татьяна

Письмо в 1922 год писателю Борису Зайцеву
(*Борис Зайцев. Воспоминания. ОРІ. 1991*), 166

КРЕЙД Вадим

Лучшая книга о Шукшине
(*Е. Вертлиб. Василий Шукшин и русское
возрождение. N. Y., 1990*), 163

КУЛЛЭ Виктор

Пушкин в лесах (*Латинский квартал. Альманах.
М., 1991*), 165

МАРТЫНОВА Ольга

В ожившем зеркале Горнона (*Лабиринт/Эксцентр.
Литературно художественный журнал, № 1, 1991*), 163
"Время в драгоценное вино превращает сок
воспоминаний..." (Мария Волкова. Стихотворения), 163
Восход? - Закат? (*Сумерки. Самиздатовский
журнал. С.-Пб.*), 165

ПАЛАМАРЧУК Петр

Возвращение (*К началу издания книжной серии,
открывающейся книгами А. И. Солженицына*), 166

ПЕТРОЧЕНКОВ Валерий

Имеющий быть одиноким (*Григорий Марк. Гравер.
США, 1991*), 164

ПОПОВ Виталий

Путь к прозрению (*Дора Штурман. Моя школа.
ОРІ. 1991*), 166

СИНКЕВИЧ Валентина

Повесть о дружбе (*Т. Фесенко. Книга об Иване Елагине. США. 1990*), 165

ЧИСТЯКОВА Галина

Авось и повезет (*Юлий Ким. Летучий ковер. М., 1990*), 164

Изнутри и снаружи (*А. Караулов. Вокруг Кремля. М., 1991*), 164

ШНЕЕРСОН Мария

”Право писать правду” (*А. Бочаров. Василий Гроссман. Жизнь. Творчество. Судьба. М., 1990*), 163

ЮРЬЕВ Олег

Книга, родившаяся из оглавления (*Петрополь-3, альманах*), 163

Выходящий (*Олег Григорьев. Стихи. М., 1991*), 165

"РУССКАЯ МЫСЛЬ". Еженедельная газета
Париж - Москва

Подписка за рубежом (включая рассылку):

	6 мес.	1 год
<u>Обычной почтой</u>		
Франция - франки:	200	350
Др. страны - франки:	300	500
Вся Америка - доллары:	65	100

Авиапочтой

Вся Америка, Южная Африка		
- доллары:	75	130
- франки:	400	660
Европа, Северная Африка		
- франки:	330	570
Австралия, Япония - франки:	500	720
Израиль, Иран - франки:	350	600

Адрес: "La Pensée Russe"
217, rue du Faubourg St. Honoré,
F-75008 Paris

Тел.: 4225-5681, -5794

Почтовый счет: ССР 5883-44 К. Paris

Подписка в Москве (для всех стран СНГ):

на 1 месяц - 40 рублей, на 2 месяца - 80 рублей.

Адрес: 125171 Москва,

Ленинградское шоссе, 18, ком. 1607.

Товарищество "Пром. брокеры",

Александру Шустеру (с указанием на бланке
перевода: "Русская мысль").

Доставка - по обратному адресу на бланке перевода.

Подписано к печати 14.10. 92. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 16,9. Уч.-изд. л. 15,14.
Тираж 10 000 экз. Заказ.1150

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и
организаций.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано на Ярославском полиграфкомбинате Министерства печати
и информации Российской Федерации. 150049, Ярославль,
ул. Свободы, 97.

ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"

"Посев" - общественно-политический журнал, выходит за рубежом с 1945 года.

"Посев" участвует во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях;

стоит на позициях национально-государственных интересов России;

участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);

стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

С 1976 года журнал "Посев" выходил также в виде ежеквартального издания, предназначенного специально для переправки в страну и распространения среди советских граждан за рубежом. С 1990 года сливаются два издания - ежемесячный "Посев" и его квартальное издание. "Посев" в новой форме будет выходить каждый второй месяц на 160 страницах.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Журнал выходит 4 раза в год.
320 страниц в номере.

Цена отдельного номера:	17,50 нм
Годовая подписка: в издательстве	60 нм
через магазины	70 нм
в СССР	30 руб.
организации:	35 руб.

ПОСЕВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

(6 выпусков в год)

В розничной продаже:	10 нм
Годовая подписка:	50 нм
В Москве:	3 руб.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15